

НОВЫЙ Журнал

129

*THE NEW
REVIEW*

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review.

2. Date of Filing — [Sept. 30. 77.]

3. Frequency of issue — Quarterly.

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor—
Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor,
Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Broadway, New York, N. Y. 10026; Alexis Goldenweiser — president, 523 West 112-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yurieff — secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroe Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Actual number copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1500	1500
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	56	56
2. Mail Subscriptions	1209	1201
C. Total paid circulation	1265	1257
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	30	36
E. Total distribution (Sum of C and D)	1295	1293
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing		
2. Returns from news agents	205	207
G. Total (Sum of E & F 1 and 2— should equal net press run shown in A)	1500	1500

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Roman Goul, Editor

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский*

Тридцать шестой год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Помощник редактора: ВИКТОР ЕНЮТИН
Секретарь редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, *December 1977*

Quarterly No. 129

2700 Broadway, New York, N. Y. 100025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

*Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>В. Вейдле</i> — Белое платье	5
<i>И. Елагин</i> — Стихи	84
<i>И. Ильин</i> — Праведный народ	86
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	92
<i>Е. Эткинд</i> — Два памятника	94
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	109
<i>М. Волин</i> — Выхожу один я на дорогу	111
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	114
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	116
<i>Р. Плетнев</i> — О некоторых мыслях у Достоевского и Толстого	117
<i>Р. Мандельштам</i> — Стихи	138
<i>М. Архангельский</i> — И символике ранних христианских и православных храмов	140
<i>В. Тетерятников</i> — Медные кресты и иконы в народной жизни	155

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Из дневника С. П. Бартенева (публ. <i>Т. Закидальского</i>)	172
<i>И. Новосильцев</i> — А. А. Власов	183
<i>Н. Крамова</i> — Расправа с М. Зошенко	191
<i>А. Гурвич</i> — Артистическая Москва в 1917-20 гг.	200
Из воспоминаний С. А. Танеева	211

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>С. Левицкий</i> — Воскрешаемость Ренессанса	219
<i>А. Федосеев</i> — Наука, техника, общество, социализм	231
<i>Ф. Силицкий</i> — К шестилетию Октября	245
<i>В. Зубов</i> — Технократы и власть в СССР	252

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>И. Гапанович</i> — <i>А. С. Лаппо-Данилевский. В. Вейдле</i> — Исчезновение Набокова	267
--	-----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>А. Солженицын</i> — Всероссийская мемуарная библиотека.	
<i>А. Николаев</i> — О пресловутом Аполлоне-77. <i>Д. Бровкина</i> — Письмо в редакцию. <i>Сотрудники Нового Журнала</i> ...	275

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>С. Левицкий</i> — Ю. Иваск. Константин Леонтьев. <i>Ю. Иваск</i> — В. Ерофеев. Москва-Петушки. <i>Б. Нарциссов</i> — М. Каратеев. Белогвардейцы на Балканах. <i>Б. Нарциссов</i> — А. Раннит. <i>Donum Estonicum. М. Ледковская И. Гарднер.</i> Система и сущность богослужебного пения. С. Смоленский. Палеографический атлас древнерусских певчих рукописей <i>Книги для отзыва</i>	287
--	-----

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

В тот давно минувший день — весной, между двух войн — вернувшись часам к шести в свою гостиницу Латинского квартала, я нашел внизу письмо с финляндскою маркой, взял его, поднялся к себе на пятый этаж, положил на стол перед собой и долго глядел, без движения, на его узкий голубой конверт. Распечатал наконец; прочел. Так и есть. То самое. Да разве я и ждал другого?

”Милый мой Николенька! Ты сам знаешь. Лучше нам друг другу не писать. Прошедшего не вернешь, — нашего, здесь, больше трех лет назад. Вот я гляжу в окно и вижу речку, нас, дорожки сада... А за полтора года, в Париже, хоть и не отказала я тебе ни в чем, хоть и виделись мы почти каждый день, не могла я тебе дать того одного, что тебе нужно, и чего, при всем желаньи, всем стараньи, я и сейчас в себе не нахожу.

У нас тут все по-старому, как той осенью, когда мы вместе отсюда уезжали. Мама и Тася шлют тебе привет. Думают, что я приехала погостить на весну и лето, а потом к тебе вернусь и стану твоей женой, как только ты получишь из России развод (хотя никто не знает, и ты меньше всех, каким образом ты его оттуда получишь). Подозревают, что какая-то у нас с тобой размолвка, но значения ей не придают.

Живется им трудно, как и всем в этой нашей экс ”дачной местности”. Несмеловым лучше, чем другим. Коку своего они ждут на каникулы из Цюриха, где он Политехникум окончит через год. Но придет он еще не скоро: тут едва снег растаял, хоть и Пасха на носу. Ты о нем не думай. Я ведь и сама не знаю, как с ним встречусь, каким его найду после двух лет. Писать ему не стану. И тебе не буду. Дадим времени пройти.

И понадобилось же тебе возвращаться в Россию и пропадать там девятнадцать месяцев, — я отсчитывала каждое первое число, даже и подконец, когда Кока бывал у нас ежедневно... Или ты сам не поверил, что меня любишь, не понял, что и я тебя неповторимой первой любовью полюбила, хоть и совсем почти девочкой была. Целовал и недоцеловал. Про запас оставил...Знаю, знаю, думал через полгода вернуться разведенным. Паспорта тебе не дали...Сколько раз мы об этом говорили... А когда приехал, было не то, я была не та...

Только и здесь, сейчас, ты мой самый родной, как в Париже. Видишь, не могу тебе "ты" с большой буквы писать, а маме и Тасе пишу. Без тебя скучаю. Ты мне маленькой был мил, когда подростком на руки меня брал.

Ну попробуем. Побудем друг без друга. Напиши погодя словечко, чтобы мама не удивлялась. Если осенью вернусь, предупрежу. И что бы ни случилось, Люленькой твоей останусь. Люленькой себя называть не позволю никому."

Мансардная комната моя была узкая, но шагов восьми в длину. Прочитав письмо, я и стал отмеривать эти шаги, от умывальника к двери и обратно, вдвинув стул в стол, да и кресло поставив так, чтоб оно не мешало ходьбе. Кресло это, с высокой спинкой, наполовину умещалось возле стола во второй оконной впадине. Первую занимал сундук, против которого у двери стояла книжная полка; рядом с ней, вдоль стены — кровать и позади ее изголовья ночной стол, который сбоку занял бы слишком много места. Замедляя шаг глядел я в окно над сундуком. Внизу, по ту сторону улицы, на углу, было кафе и рядом с ним кинематограф, вечером излучавший вдоль фасада мертвенное неоновое сияние. Еще, однако, не стемнело. Остановившись у стола, я начал было вновь вынимать письмо из конверта, но сунул его назад и опять зашагал по комнате, повторяя про себя: отвечать не надо, отвечать не надо...

Тут ко мне кто-то постучал.

Я никого не ждал. Никто ко мне не ходил. Не говоря "войдите", я подошел к двери и приоткрыл ее. У порога стояла девица, весьма определенной, судя по насурмленным ресницам и пуновым губам, профессии, но еще очень молоденькая и —

вероятно поэтому — робкая. Увидев меня, она удивленно отступила назад и неуверенно спросила:

— Вы его не видели, мсье? Черномазый, тощий, с угреватым лицом, студент должно быть. Он сказал — 56. Не мог же он ошибиться?

— Вероятно это вы ослышались. Пройдитесь по коридору, каблучками постучите. Он вам откроет.

— Вы думаете, — сказала она тоскливо и не двигаясь с места.

Я поглядел еще немного на нее и неожиданно для себя, сказал:

— Да и зачем вам непременно угреватого? Входите. Побудьте со мной, если вам все равно.

Она подняла на меня глаза, не улыбаясь; сделала шаг вперед, вошла в комнату, велела запереть дверь, которую я, однако, всего лишь затворил. Увидев полку, сказала вполголоса:

— Ишь их сколько. И большие! По искусству? Богатенький вы.

— Только ими. Да не так уж их и много. Будьте гостьей. Садитесь в кресло. А я — на стул. Погляжу на вас.

Она расправила юбку своего темно-синего в узкую белую полоску костюма, села, подняла на меня снова глаза, улыbnувшись на этот раз, хоть и очень невесело, и сказала так же тихо:

— Нечего и глядеть. Хорошенькая. Или нет?

— Пожалуй и больше, чем хорошенькая. Но прячетесь под косметикой, чтобы нас краса не отпугнула. Одеты зато премило: мишуры никакой; и кофточка — белоснежная. А руки — дайте поглядеть — нежнейшие, прелестнейшие руки. Как я рад, что вы не красите ногтей!

А вам-то что, крашу я их или нет?

— Если б руки были другие... А то... Вот возьму с полки книгу, где много хороших воспроизведений, да и залью вишневым вареньем — ну, скажем, луврскую Мадонну Ван Эйка с канцлером Ролленом...

— Ай! — вскрикнула она и переменялась в лице. — Что это вы? — Она спрятала руки и нахмурилась.

— Ничего, — сказал я, — не бойтесь. Мы с вами в раму войдем, побежим вниз, к реке, и на мосту спасемся от липкого потопа.

— Домики там. Сквозь весь город придется бежать... Но какой вы... Какой вы... Не знаю как и сказать. О чем со мной говорите! Не поняли, что ли? Ведь я продаюсь. Тридцать минут — десять франков. Два часа — двадцать. Весь вечер и ночь — пятьдесят.

И давно вы так живете?

Полгода.

А как вас зовут?

Агiane.

Улыбнувшись, я произнес: *Агiane, ma soeur, de quel amour blessée.* Она тотчас подхватила: *Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée!*

— Так что вы стихи эти знаете?

— Если б не знала, научили бы студенты. Я всего чаще студентам продаюсь. Один уж меня поддразнил: *mademoiselle Racine.*

— Но вы знали и раньше. Как хорошо голосом подчеркнули знаменитые глагольные окончания.

— В классе, сперва, меня одни сирконфлексы и забавляли. Но когда наш мсье Дюфур стихи эти вслух прочел, глаголы запели; я строчки эти и всю "Федру" полюбила. Но вы-то что в нем нашли? Для студента вы стары, для профессора — молоды...

Я между, или вроде того.

— И бельгиец? Или нет. Из Женевы?

— Это насчет выговора? Ну так вы из Лозанны. Скажите: Пари-Суар.

— Пари-Суар.

— Вот видите. А газетчик рядом на бульваре выкрикивает Пари-Суэр.

— Но я тем не менее француженка. Из Савойи.

— А я москвит. Из Петербурга. И все-таки вы — моя землячка.

— Какой же это земли?

— Той, где любят стихи и картины. Где все Лозанны от всех Женев недалеко.

Она меня окинула быстрым взглядом.

— Я бы, кажется, с вами ни в Лозанне, ни в Женеве не соскучилась. Но зачем все это? То есть вся эта болтовня? Я же вам сказала: тридцать минут — десять франков; время идет.

Она встала и оказалась между мною и кроватью.

— Раздеваться?

— Нет. Садитесь. Я хотел бы ближе вас узнать.

— В постели и узнаете. Чего уж ближе!

Она распахнула жакетку, чтобы скинуть ее с себя. Под тоненькой кофтой нежно обозначилась левая грудь. Но я, оставаясь сидеть, положил ей руки на плечи и посадил ее обратно в кресло.

— В чем дело? Я вам противна? Или боитесь заразиться? Утром была на осмотре. Врач нашел меня здоровой.

— Ни о каких заразах я не думал. И с каждой минутой вы мне нравитесь все больше. Но именно поэтому... Послушайте. Сговоримся так: вот пятьдесят франков. Вы со мной останетесь весь вечер. Сперва пойдем пообедать, а потом, если ничего не имеете против, в кинематограф.

Она посмотрела на меня чуть-чуть испуганно, а вместе с тем и дружелюбно.

— Согласна. Водят меня изредка. Но раз вы меня и обедом кормите, денег не возьму. По воскресеньям всегда отдыхаю, а тут и в понедельник отдохну. То есть раз вы... — Тут она вспыхнула, запнулась и чуть ли не слеза у нее блеснула между крашенных ресниц. — Отдохну, скажем, если вы на ночь не... Ну если... Трудно мне с вами. Церемонитесь со мной. А я же заметила, что вы заметили, — ах ты Боже мой! Ну хоть засмейтесь, что вы смотрите так серьезно? Заметили, вот сейчас, когда я вставала, что лифчика на мне нет, ну и понравилось вам, что его нет. Так почему? — Тут она совсем смутилась, схватила меня за рукав и сказала гневно: — Не верю, что вы — импотент, или там изверг какой-нибудь с вывертом. Рослый, ладный, лицо открытое. И волосы... Потрепать их хочется...

— Трепите, — сказал я и нагнул голову, но она лишь совсем слегка коснулась ладонью моих волнистых, густых, шапкой стоявших надо лбом волос.

— Нет, — сказала, — боюсь. Вас боюсь. Давайте руку,

увидите, как сердце бьется. Нет, не надо руки! Сейчас уйду. Отчего вы смотрите на меня так нежно? Мы — чужие.

— Не бойтесь, — сказал я тихо, и взял ее руки в свои. — Не знаю, кто мне вас послал, но я рад, что вы пришли. Мне было тяжело. Видите письмо на столе? Оно грусть на меня нагнало. С вами стало мне легче. Если мы чужие, то зачем же оставаться нам чужими? Вот поглядите на конверт, узнаете, как меня зовут. Видите: Градовский. Так что звали бы меня Ски...

— В салоне госпожи Вердюрен.

Не отнимая у меня рук, она нагнула голову к письму, и вдруг вырвала руки, схватила ими мои.

— Как? Ваше имя — Николай? — Она отпустила мои руки. — А мое — Николь. Нет! Ухожу! Кто все это устроил? И Расина, и Пруста, и картину? Это не Бог. И тот прыщавый был скорей похож на чорта.

Николь, будьте благоразумны, — Я ее погладил по голове, как ребенка, ощутив при этом всю мягкую пушистость черных ее волос, причесанных на прямой пробор. Я ведь так и подумал, что Ариадна — ваш *pot de fleur*, а что вы — мой тезка и забавляет меня и радует.

— Еще бы, — сказала она, сжав губы и прищурясь, — это для вас большая честь. Узнают — даром будут вас принимать во всех борделях.

— Перестаньте, Николетт, будьте милостивей к нам обоим. Мы просто кораблекрушение потерпели, вот и спасаемся теперь вдвоем на этом чердаке.

— Значит письмо — кораблекрушение? Какой почерк трогательный, полудетский. Несовершеннолетнюю совратил! Сознаться! Сколько ей лет?

Тут она, однако, закрыла руками лицо и прошептала:

— Дрянь я, что так с вами говорю. — И взглянув на меня, прибавила: — Это все из-за ваших церемоний. На кончике шпаги меня держите. Те, в чьи комнаты я хожу, никогда мне "вы" не говорят.

— И вы им "ты"? Тогда я ценю, что вы не приравниваете меня к ним. Нуда ведь я и старше. Мне 28, родился за два года до века. Той, что письмо писала — 20. А вам, я думаю, на год или

два меньше. Разглядел я, кажется, сквозь обманную раскраску, и подлинную дату и подпись мастера.

— Мне еще восемнадцати не исполнилось, вы правы. Но чью же вы подпись обнаружили?

— Божью.

— Ту же, что на любом человеческом лице? Ох, какие тупые они бывают, какие мерзкие!

— Он подписывает лишь те, которыми доволен.

— На все у него ответ! Да еще и веселится, при всех своих горестях!

— Это я, на вас глядя, веселею.

— Разве я веселая?

— Нет. Милая.

— Ах вы обольститель! Тех, кого вовсе нет и нужды обольщать... Грех это! Воздержитесь! Будьте грубым и гадким! Сжальтесь надо мной... Боже мой! Что вы делаете? Ну что вы теперь делаете? Кто же таким, как я, целует руки?

В голосе ее были слезы. Мы оба встали. Еще немножко, и она бросилась бы мне на шею, а я так бы ее обнял, что и не ронял бы нас никто.

— Николь, идемте обедать. Я голоден.

Она все еще вздрагивала и пугливо смотрела на меня. Едва слышно сказала:

— Я тут у вас и получаса не пробыла. А теперь — *мы*. *Мы* теперь идем обедать.

— Как старые друзья. Оттого что проголодались. Вам чего хотелось бы поесть?

— Une blanquette de veau. Все равно. Нет. Шукрут.

— Разве тушеную капусту так же любят в Савойе, как в Эльзасе?

— Мама умела заправлять. После ее смерти, я ни разу...

— Тогда идем к Бальзару. Это — два шага. Только вот если б можно было снять немножко мази у вас с лица?

— Всю сниму. Подождите минутку! — И бросилась к двери.

— Куда? Не отпускай!

— Постучите через пять минут в комнату 24. Клянусь! Не убегу!

Заметив брызги на оконном стекле, я подхватил непромо-

кашку и понесся вниз по лестнице. Настиг Николь у ее двери. Она меняпустила, палец приложив к губам:

— *Que vous êtes intempestif!* Хорошо, что никого не было в коридоре. Мне принимать у себя нельзя. Хозяйка не знает, что я такое. Она меня выгонит. Я здесь всего пятый день. Но и там, где раньше жила, в *chambre de bonne* на шестом этаже, я их к себе не приводила. Мне было бы гадко ложиться спать в ту же постель. Я всегда к ним хожу; туда, куда они ведут. Тот долговязый подцепил меня на бульваре, завернул со мной в эту улицу и — чего я никак не ожидала — подвел к этой самой гостинице, и в ее дверях исчез. Назвав мне номер. Ваш номер.

Комната 24 была меньше, но уютней и как-то свежее, чем моя. Белыми с кружевом салфетками были покрыты стол и комод, а кровать — чистым белым одеялом. Умывальник отгораживала ширма. Николь скрылась за ней, а я подошел к комоду, на котором лежала тщательно обвернутая цветной бумагой большая книга и стоял, в кожаной рамке, фотографический портрет средних лет женщины с удивительно живыми и добрыми — карими, решил я, как у Николь — глазами. Я держал его в руках, когда она неслышно подошла и положила мне руку на плечо:

— *Volage adorateur de mille objets divers*, знайте, по крайней мере, что женщина эта, которую вы мне предпочитаете, моя мать.

Я поднял глаза и в зеркале над комодом увидел ангельски чистое, словно росой умытое лицо Николь. Рядом с ним — мое. Мы вдвоем гляделись в зеркало и думали, казалось мне, одно и то же. Улыбнулись, повернулись друг к другу; обнялись и поцеловались, как жених и невеста после обручения. На фотографию вместе поглядели.

— Какие глаза у твоей мамы! Душу согревают. Как твою согрели, когда ты в первый раз по-настоящему на меня взглянула. Как ты хороша, Николь! Как ты на нее похожа!

— Значит мы теперь на "ты"? Тебе скажу, чтобы ты знал. Я еще никого не любила; я не целовала никого. Поцелуй наш, только что — мой первый поцелуй. И мое "ты" тебе — первое мое "ты". Им, конечно, говорила, в ответ на их "ты", но

как их, так и мое, было пустое, никакое. А твое ... Все бы его слушала, и тебе мое говорила.

— Оба — взаправду. Но идем. Моросит на дворе. Накинь что-нибудь.

Она облеклась во что-то широкое, длинное, с разрезами вместо рукавов, бархатистое, но легкое, сине-черное, очень ей к лицу, унаследованное, по ее словам, "от мамы".

На улице мы сперва шли молча. Потом она тихенько взмолилась:

— Не иди так быстро. Запыхалась. Опомниться не могу. Ты меня так нежно поцеловал. Так нежно... Мне от этого и хорошо, и больно. Ведь не только я не целовала, но и меня с тех пор, как родителей нет, никто не целовал. Ну да, те, покупатели. Их поцелуи еще гаже, чем их "ты". А твое ... Что я тебе? Чужая. Океаны, океаны... И вот мы вдвоем на островке, и нет никого и ничего. Как это случилось? Не понимаю. Мне хочется глядеть на тебя, глядеть...

Мы шли по улице Сорбонны, а теперь стояли на площади возле церкви. Моросить перестало. Стемнело. Прохожих почти не было. Я обхватил ее плечи рукой. Она прижалась ко мне, потом отодвинулась немножко и с воздушной легкостью пальцами левой руки коснулась моего лба и виска. Прикосновение это и взгляд... Никогда, никто...

Я поцеловал ее и шепнул:

— Видишь, ты была одна. Я тоже. А теперь нас двое, мы вдвоем. Ведь так?

Она кивнула головой. Мы спустились по той же улице еще немного. Повернули налево. Вот и Бальзар.

Полно не было. Мы нашли столик без соседей.

— Сажусь не рядом, а напротив, — сказал я, — чтоб налюбоваться вдоволь подлинным твоим лицом. Угадал ведь я его, угадал прежде даже, чем ты ко мне вошла. И какое французское оно! Покажу тебе в Лувре только что туда поступивший женский портрет Коро. Это могла бы быть старшая твоя сестра, — или младшая твоей мамы. Не француз я, ты знаешь, но потому, должно быть, так и влюбляюсь во многое французское.

Она глядела на меня с улыбкой.

— Какой ты молодой! Я — старше. И пожалуйста во

многих не влюбляйся. А мне все странно, так странно, что и твои слова доносятся ко мне словно откуда-то издалека. Заказывай скорей. Только все тут пиво пьют. Я не умею. И кружки такие большие...

— Я спрошу вина. Длинногорлую бутылку, вон такую, видишь, белого. Для освеженья. Капусту здесь с можжевельником готовят. Получается довольно едко. Мама твоя этих ягод не прибавляла? Нет? А знаешь, что она сейчас думает?... "Только бы моя Николетт была счастлива с ним".

Нам принесли преизрядную порцию капустной снеди, гарнированной сосисками. Николь ела с аппетитом, каждые две минуты кругло открывая маленький рот и по-детски пыхтя, когда чересчур становилось ей жарко от можжевельника. Запивала вином. Вспомнила, как девочкой, впервые отведав шампанского, сказала: "глоток искр". Так, мол, из-за можжевельника, и с этим вином выходит. Я предложил ей полushутя шампанского и получил ответ не только серьезный, но и строгий, услышав который я умиленно ей сказал:

— Когда такое мы слышим на земле, ангелы завидуют нам на небе.

— Да ведь я только побранила тебя, сказав "что ты, мы — бедные". Разве это неправда?

— Но сказав эту правду ты со мной так нежно обнялась, что нежней и обняться нельзя.

— А я и не заметила, что тебя обнимала. Готова и обнять, и плакать, и смеяться, и счастливой быть с тобой. Чего не могу, так это ощутить, что не снишься ты мне и я сама себе не снюсь. Ну теперь сладкого чего-нибудь спроси.

— Тут у них бывает замечательный яблочный пирог, а к нему, если позволишь, я спрошу две большие чашки кофе с сырыми сливками, как будто мы и впрямь обедаем с тобой в Страсбурге, или, скажем, в Кольмаре. Ты согласна?

Она задумалась слегка.

— Кольмар... Ах да, знаю. Там алтарь... Изенгеймский. Боже, какой страшный!

— Теперь его распилили, а прежде, в церкви того монастыря, по всем будним дням, только Распятие — самое страшное на свете — и было видно, а как праздник, раскрывали наружные

створки, исчезала Голгофа, и четыре самых радостных дня — Благовещение, Рождество, Воскресение, Вознесение предстояли молящимся, сияя всей радугой красок и всей небесной синевой. Скажи, ведь это может случиться и в жизни. Как ты думаешь, Николь?

Она взглянула на меня, но сразу же потупилась.

— Готова поверить, — с твоих слов. Да страх берет... А всему, что ты знаешь, ты меня научишь?

— Ты сама — многознайка. Только ты ко мне вошла, я это увидел.

— К хитрецу вошла. На экзамен к такому попасть — беда. Сразу спросит, сколько детей было у леди Макбет, выведет сразу на чистую воду относительно Расина или Пруста.

— Вот и вывел. Только давеча, лицом твоей мамы залюбавшись, забыл тебя спросить, всю ли ты "Федру" знаешь наизусть.

— Не всю. Но моей любимицей *она* осталась. Вместе с "Береникой".

— Где, в предисловии, так чудно сказано о той "величавой печали"...

Которая и есть "все наслаждение, даруемое трагедией".

— Умница моя!

— Не обольщай. Я уже говорила. Ты это и есть: "ветренный Тезей, непостоянный обожатель тысячи"...чего? Стихов, женщин, картин...

— Женщин? Нет. Вот к примеру и Николь. Ведь не то важно, что она — женщина. Важно, что она — Николь. А теперь гляди: подают. Яблочки-то наши, на пироге, сахаром, как снежком посыпаны, а из широких чашек самый упоительный восточный аромат.

Но Николь не улыбнулась. Она с каким-то ужасом, но и нежно-нежно на меня глядела.

— Это правда? Ты *меня*? И пальцами, через стол, она вновь коснулась моего лица.

— Тебя.

Она молчала. Совсем бледненькая сидела. Но выпив полчашки кофе, заулыбалась, порозовела, стала с удовольствием есть пирог и весело его похваливать.

— Тает во рту! Ничего вкусней не ела. Тесто — легчайшее; яблоки — воздушные. И какое кофе! Крепчайшее! Мысли в голове у меня так и зачирикали.

Когда мы вышли на улицу, она, как большой мальчик, прижалась ко мне сбоку.

— Славно мы покушали! С тех пор, как в Париже, ни разу я так не ела. Нет и охоты. Да и с кем бы я? Чем с ними, лучше одной. А теперь... Милый, тут никто не увидит. Поцелуй меня.

Неможно сахару осталось на углышках ее рта. Я крепко ее обнял, широко положив ей ладони на спину.

— Вот так, — сказала она, — *me voici dans tes bras*. Я была одна, совсем одна. Теперь ты объятием твоим сказал, что ты со мной, что мы — двое. Верю. Это свято. Святей ничего и нет.

Мы быстро зашагали вверх по той же улице, вдоль университета. Она тихонько спросила, куда же я ее веду.

— Смотреть "Зеленый фрак", фильм по веселой пьесе двух нынешних или верней вчерашних авторов, которую я видел некогда еще в России. Если не испортили ее, она и тебя повеселит. Это против наших с тобой окон, на том самом тротуаре, по которому идем.

Мы попали как раз к началу главного фильма и нашли два кресла в задних рядах. Озябнув чуть-чуть, она не сняла своего широкого плаща, а я непромокашку положил себе на колени. Когда свет потух, она подсунула под нее левую руку, но я взял эту руку, нежно поцеловал, положил на ручку кресла и покрыл своей. В этот миг экран оказался столь резко освещен, что осветил и нас. Я взглянул: краска залила ей лицо и слезы брызнули из глаз. Выдернув руку из-под моей, она сжала ее в кулак, подняла ко рту и сильно укусила палец. Света больше не было на ее лице, но я и не видя ощущал, что она вся вздрагивает, горько плача. Жаль мне ее сделалось ужасно. Правой рукой пробравшись в боковой разрез плаща, я стал гладить ей плечи и спину, приговаривая:

— Не плачь, Николетт, не плачь. Ты же знаешь: мы любим друг друга.

Она всхлипывала, как малое дитя, но понемногу — тише и реже. Взяла другую мою руку, хотела поднести к губам, но уронила на полпути. Принялась вслушиваться всем существом в

то, как я глажу ей спину. Смотрела уже внимательней и на экран, следя за тем, смотрю ли на него и я.

Пьеса становилась все занятней и смешней. Офигментирована была без претензий, а потому и без глупостей. Играли ее те же превосходные актеры, что незадолго до того на сцене. Мы начали вместе улыбаться, смеяться. Когда я снял руку у нее со спины, она взяла ее и до конца держала в своей. Нам стало хорошо. То есть я полностью ощутил, что ей хорошо, и что мне, поэтому, так же хорошо, как и ей.

— Как прекрасно ты выбрал, — сказала она, — и Бальзара и вот это. Если б на небе за нас выбирали, не могли бы выбрать лучше. Я вечер провожу как в сказке, которую ты сочинил для меня. И как они все играют! Охрипшая эта Эльвира, как хорош ее румынский выговор!

— Не Расин это, конечно, и не Пруст, но сладко дремать душе, убаюканной хоть и всего лишь этим скромным совершенством.

— Вот бы не просыпаться! А то кончится, глянь, а меня и нет. "Где ж она, скажешь, эта незнакомка?"

Мы вышли на улицу, обнявшись.

— *Comme deux amoureux* — сказала она, — *sauf que tu ne me...*

— Неправда! И люблю, и хочу. Всю — в нераздельности тела и души. Но подумай: одно то, как нам хорошо вдвоем, ведь это же чудо! Вечер промелькнул, — и весь мир для нас другой. Надо к этому привыкнуть, надо нам вот это наше "вместе" обдумать порознь. Ночь поспим каждый у себя, как жених и невеста накануне свадьбы. А завтра неразлучны будем с утра, и рассудим, как нам устроить, чтобы и вообще не расставаться. Утром — как ты думаешь? — пойдем в Лувр, где ты меня представишь канцлеру Роллену, внушившему тебе что-то уж очень горячие чувства, а я тебе покажу тебя, какой ты была в 1837 году. Потом мы позавтракаем — знаешь где? — у Вефура в Пале-Рояле. Он теперь скромненький стал, но изразцами и зеркалами память хранит — рыжей нищенки — помнишь? — из "Цветов зла".

Но тут я заметил, что вновь она вздрагивает мелкой дрожью.

— Милый, это я к чуду привыкаю. Могу и заплакать. Не

брани. Как это ты удивительное такое говоришь, сам тому совсем не удивляясь? Ты мне жемчуг сыплешь в ладонь, словно это корм для мелких пташек. Я бы и конопли поела, раз мне *ты* ее даешь. Что ты порешил, тем я и довольна. Поцелуй меня. Спокойной ночи. Постучи ко мне завтра — но тихонько! — в половине девятого.

Мы стояли у самого входа в гостиницу. Только что была со мной Николь, и вот ее уже не было со мной.

Я прошел немного дальше по улице. Постаял на углу бульвара, шумного еще и блиставшего огнями всех кафе. Вернулся, вошел в ту же застекленную вертушку, что и она, взял ключ, поднялся к себе по лестнице (лифта в гостинице не было), отворил дверь, не зажигая света. Неоновые трубки кинематографа еще горели, освещая комнату погребальными своими вспышками. Она мне показалась чужой и нежилой.

Минуту спустя, неон потух. Я включил лампочку над столом, при которой можно было читать и в постели. Письмо лежало на прежнем месте. Я взял его, подержал в руке, выдвинул ящик стола, положил туда, задвинул ящик. Ни о чем не мог думать, кроме как о бедной моей Николь. До чего она чиста, невинна, непорочна. Чувствую это, знаю как то, что я живу, как то, кто я такой. Захватана торопливыми самцами; всем их вожделениям обучена: вот вам, получайте. И едва ли не девственной всех девственниц. Бедненькая! Милая! Как могло это случиться? Как случилось это именно с ней?

Я приготавливал себе на ночь постель, но такая волна сострадания поднялась во мне, что я соскользнул на колени у кровати, уткнул голову в одеяло, стал молиться, что случалось со мной редко, и притом укорять себя. Какое имел я право поступать с ней, как я поступил? Обольщать ее, — в чем ведь она меня и сама упрекнула. Склонять не к тому, на что и без того была она готова, а к любви, которую ей еще и не довелось узнать. Ее — беззащитную, поруганную, одну-одинешеньку. Теперь я перед совестью своей отвечаю за нее. Душу ее на руках держу перед Богом, как спеленутое дитя. Дай мне Бог полюбить ее самой цельной и сильной любовью, на какую я способен, и радость ей дать, которой у нее нет.

Не помню, молился ли я еще когда-нибудь так горячо, было

ли мне кого-нибудь жаль так нестерпимо... Наконец я лег, потушил свет, успокоился немного, даже и задремал, но уснуть настоящему не мог. Как закрою глаза, вижу ее. Не в том наряде, в каком только что видел, а в чем-то белом. Не в подвенечном как будто, но отнюдь и не в монашеском, теплого белого тона одеяньи, — вся она в нем теплится восковою тающей свечей. Боже мой, как непорочно хороша! И вот уже нет ее. Лежу с открытыми глазами и шепчу на ее языке: *si pure, si belle...*

Нет, мне решительно не спалось. Я зажег свет и взглянул на часы. Без четверти два. И вдруг тихонечко поцарапался кто-то — она конечно — в мою дверь, которую я, ложась, на ключ не запер. "Николь", сказал я вполголоса. Она впорхнула бесшумно, сбросила накинутый поверх сорочки черносиний плащ, потушила свет, скинула туфельки, забралась ко мне под одеяло, обняла меня по-детски за шею и задыхаясь стала шептать:

— Не могла больше. Не могла без тебя. Стыла, зябла, леденела. Видишь — дрожу. Обними меня. Согрей. Ладонями прижми. Крепче! Вот так. Теперь я жива. Теперь я живее живой. Теперь я больше не дрожу. Не двигайся, но и не разжимай объятия. Оно — любовь, оно — Бог. Рядом с ним все — прах. Даже то, что будет сейчас.

Обнимая ее, я лежал на боку, как и она. Широко прижимая ладони к ее спине и пояснице, я всем собой осязал ее всю, включая, казалось мне, и то, что не поддается земному осязанию. Полон был весь до краев, как она — я и это осязал — счастьем любви, осязаемым бездумным счастьем. Желал только того, чтоб оно никогда не кончилось. Другого, с неизбежным концом, не желал. Ничего не желал. И без того дышал с ней одним дыханьем, не отделял ничуть ее жизни от своей. Сколько времени это длилось, не знаю. Постыдился бы в те минуты об этом знать.

Она согревалась моим теплом. Я ощущал как тептели ее ладони, ступни, колени... Она вся становилась горячей... Вот уже горячей меня. И менее тесным становилось мое объятие. Слегка отстранилась. Выпросталась из одеяла. Приподнялась. Стала на колени. Зажгла свет. Стянула с себя через голову сорочку.

— Гляди. Вот Николь. Твоя. Для тебя. Ты меня согрел. Мне жарко. Я — жаркая. Я тебя хочу. Коснись, — увидишь. Погляди

на мою грудь. Никогда не хотела никого. Ты — первый. Не целовала никого. Тебя первого.

Она распахнула на мне пижаму и стала целовать мои плечи и грудь.

— Скинь все это. Обними меня. Но теперь как Еву Адам после изгнания из рая. Обними и возьми. Твою Николь. Как если бы никто, никогда... Те не в счет. Тех не было. Их нет. Они и есть никто. Ты! Ты! Ты один! Ты, ты ты. О как ты в ярости — ты! Ты. Ты. Ты. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Она затихла. Глаза ее были закрыты. Дыхание чуть слышно. Я тихонько целовал ее волосы. Мне казалось за минуту до того, что в моем объятии она вот-вот исчезнет, улетучится, сойдет на нет. Я лег рядом и она мне погладила плечо. Нагнувшись над ней, я целовал ее сомкнутые веки, — и вдруг ощутил соленую каплю на губах. Тут она перевернулась всем телом, прижалась к подушке лицом и горестно зарыдала.

— Что ты, счастьеце мое, что с тобой?

Она только покачала головой, не отрывая лица от подушки, сжала рукой мою руку и зарыдала еще сильнее. Я покрыл нас обоим одеялом, стал целовать ее плечи, вдоль хребтика гладить шелковистую ее спину, шептать ей в ушко о том, как она мне мила и дорога. Она плакала все так же безутешно, хоть и затихая понемногу. Сказала:

— Ты мне счастье даешь, а я всю радость тебе порчу. Потуши свет. Не хочу, чтобы ты заплаканной меня видел. Полежим в темноте. Успокоюсь — все скажу. О себе, чтоб ты знал. И об этих слезах. Ты поймешь; ты меня лучше поймешь, чем я сама. Вот ты слышал я шептала "Боже мой! Боже мой!". Кошунство это было. О тебе одном я думала.

— Голубка моя, в этом нет зла. Я и сам так чувствую — о тебе. Где же Богу и являться людям, как не в любви? То есть в образе тех, кого мы любим. Я твое плечико целую: это Божье плечико. Но в то же время и Богу за тебя молюсь. Оттого, что хоть ты и Бог, а Бог все таки — не ты.

— Помолись Ему, чтоб Он в рай нас вернул. Зачем Он выгнал нас из рая?

— Затем, чтоб *мы* выбирали, а не Он за нас. Но ты о другом. Объяснись.

— А вот скажи мне, скажи. — Она приподнялась и села в постели, надев куртку моей пижамы в рукава. — Адам и Ева, в раю, они ведь друг друга любили? Значит и любовались друг другом, наглядеться друг на друга не могли, целовались, обнимались, вот как мы, покуда ты меня согревал. Ну а что потом у нас было, этого у них не было? Значит это грехопадение и есть? Ослушались Бога, и Он послал им — людям послал — вместо любви, острейшее из всех упоений плоти, дабы мы бредили о нем, что оно любовь и есть, или ее венец, ее "цель". А ведь оно вполне способно не только обходиться без любви, но и вступать в союз против нее с жесточайшей пыткой и бесчеловечнейшим убийством.

— Но ведь и с любовью, самой нежной. Разве нет, любовь моя?

— Да, любимый мой, да, да, но ведь оттого-то я и плачу. Ты — мой первый, ты — единственный, в объятии любви, в нашем, только что, которое и есть любовь. Но объятий у меня и с другими было много, не помню и сколько, и все это были объятия без любви; но ведь сами по себе, — подумай, подумай — объятия эти были все те же, — подумай! — и тело мое, оно все то же у меня. Сжечь бы я его хотела, разорвать на куски, за то что оно все то же, а не новое, другое, — или не прежнее, девичье мое, чтобы тебе первому его отдать. Тебе одному, и навсегда.

Она обняла меня, прижалась лицом к моей груди и заплакала снова. Для утешения ее ничего у меня не было, кроме поцелуев. Но она плакала недолго. Приподнялась и села опять. Стала говорить горько и сурово. — Притчу тебе скажу. Змий-Совратитель снабдил Еву, когда она плод сорванный им со Древа у него взяла, хитроумным из живой ткани приспособлением, которое, если его должным образом сомкнуть с приспособлением, дарованным Адаму, автоматически выполняет две задачи: доставлять наибольшую чувственную сласть и производить потомство. Первое служит приманкой для второго, а любовь может и отсутствовать. С того мига, когда женщина отдалась мужчине, цепная передача пущена в ход; можно этот ее ход пресечь, оборвать, но другого ничего сделать с ним невозможно. Даже степень наслаждения, получаемого Евой, уже не зависит от Евы, хоть еще и зависит — в известных пределах

— от Адама: от того, как его оценивает Ева, и от того, ищет ли он только своей улады, или также и Евиной, — да и умеет ли ее давать. Любовь тут непричем. Она этому не учит; она неуменье простит; удовлетвориться способна и меньшею услугой, а самую большую можно дать и получить и без любви. Такова истина. Если бы самоуничтоженьем можно было сделать ее ложью, я бы выбросилась тотчас вот в это твоё окно. Милый, прости! Ты не повинен ни в чем. Ты любишь, знаешь, умеешь. Но ведь это тебя, *тебя* полюбив, я в уславе, я *в счастья* любви, от лютой ненависти плачу. Машинку, в нас вложенную, ненавижу, которой любовь не нужна, но без которой, на земле, не может обойтись любовь.

Она заплакала вновь, упала лицом в подушку. Я не знал чем ее утешить. Но вскоре она сладила с собой:

— Так нельзя. Сойду с ума и тебя сведу. Ведь не прибудешь, не прогонишь. Не знаю отчего, но знаю, вижу, что не мерзка я тебе и во всей мерзости моей. Бога хую и гневлю, а мне бы его благодарить за каждый миг, что ты со мною. Дай мне мою сорочку. Завернусь в одеяло. А ты надень пижаму и что-нибудь теплое поверх. Садись в кресло, дай мне руку, чтоб я ее целовала, когда заплачу. Я расскажу. Я тебе все расскажу.

Мы не зажгли света, но совсем темно в комнате не было. Когда она мне сжимала руку, я ощущал ее взгляд на моем лице. Она говорила взволнованно, сбивчиво, но без слез. Чем дальше, тем суше и жестче. Я вкратце перескажу ее рассказ.

Она родилась и выросла в Шамбери. Отец ее был сын аптекаря и аптекарь. Трехлетний братец умер за год до ее рождения. Родители жили дружно и любили дочь, которая очень хорошо училась, сперва дома, потом в лицее. Шестнадцати без малого лет побывала с матерью в Италии. Видела Турин, Милан, Парму, Болонью, Флоренцию. Поездка пробудила в ней любовь к живописи и к прошлому всех искусств. К шестнадцатилетию ее, в июне 24-го года, было решено, что получив аттестат зрелости, она поедет в Париж, поступит на литературный факультет и будет заниматься историей искусства. В этот день мать ей подарила золотой браслетик с часами, который я только что целовал на узком ее запястьи, а отец книгу ("завтра ее тебе покажу") и

дорогое, с двумя брильянтами, кольцо ("его у меня больше нет").

Два месяца спустя отец ее умер от болезни сердца. Мать эту смерть отнюдь не легко перенесла. Но ей было всего 38 лет, и вскоре за ней начал усердно волочиться провизор, работавший у ее мужа и теперь управлявший аптекой на правах его преемника. Ему было за пятьдесят, он красил волосы, слащаво молодился; Николь издавна питала к нему крайнюю неприязнь. Когда — всего лишь год назад — она готовилась к экзаменам, уже он жил у них в доме, был любовником ее матери, а вскоре стал и ее мужем, после чего здоровье этой молодой еще женщины внезапно пошатнулось и стало быстро ухудшаться. К тому времени как ее дочь сдала экзамены, она слегла, и к концу лета скончалась от мучительной болезни кишечника. Разрешение похоронить покойницу было ее мужем беспрепятственно получено от благоволившего ему, а быть может и подкупленного им врача, но Николь была убеждена, что ее мать умерла от медленного отравления мышьяком или чем-то в этом роде. Ее отчим и прежде смотрел на свою падчерицу масляными глазами; теперь он стал теснить ее в ее же доме, ловить в свои сети, как ловит муху жадный и расчетливый паук.

В последнее воскресенье сентября, когда уже недалек был ее отъезд в Париж, он особенно прилипчиво близ нее вертелся. Вечером кухарка была им отослана, подав обед. Они сидели за круглым столом, друг против друга, Николь молчала, он без умолку болтал, усердно подливая ей вина. Именно из отвращения к его ужимкам и к нему самому она выпила два полных бокала, после чего ощутила головокружение и слабость во всем теле. Встала, хотела пойти к себе, но тот подскочил, обнял ее за талию, повел в свою спальню, бросил на кровать, — силы ему сопротивляться у нее совершенно не было. Этим он и воспользовался, еще и грубейшим образом издеваясь над ее отчаяньем, болью и стыдом, а затем пошел в ванную заняться своим туалетом. Вернулся в пижаме, завалился назад в постель, а ей велел пойти помыться — "хе-хе, это тебе весьма необходимо" — надеть ночную сорочку и вернуться к нему. Я, мол, тебя приручу. Дело еще не конечно.

Она машинально повиновалась, но, вымывшись и освежив

лицо холодной водой, стала приходить в себя и сообразила, что вино, выпитое ею, не могло не быть сдобрено снотворным, а когда вернулась в столовую и увидела недопитую бутылку у своего прибора, мгновенно вспомнила, что он из этой бутылки себе вина не наливал, что в его бокал вино было налито заранее. Заглянув в буфет, увидела там другую начатую бутылку. В это время он окликнул ее из спальни и велел налить ему бокал вина из бутылки в буфете. Принесла она ему этот бокал, налив его из бутылки, стоявшей на столе. Он осушил его, глянул на нее хищными глазами и велел принести второй. Она вылила туда остатки из той же бутылки. Он выпил, голова его упала на подушку и он почти мгновенно захрапел.

Единственной мыслью Николь было — бежать; так от него убежать, чтобы больше никогда его не видеть. Она сунула все, что могла, в два чемодана, стащила их к выходу, нашла такси, поспела к поезду, шедшему в Лион. В Лионе полночи ждала на вокзале скорого из Ниццы, на котором, в девять утра, прибыла в Париж. Оставила чемоданы на хранение, в тот же день подыскала близ Сорбонны комнату под крышей; консьержке, ее сдававшей, настоящего своего вида на жительство не предъявила, и уже через день занялась новой своей профессией.

— Ничего лучшего не придумала? Или думать не могла?

— Ощущала себя оскверненной. Искала дальнейшего осквернения. Бросилась в скверну, как с моста в грязную воду. А кроме того ведь и прятаться мне пришлось. Несовершеннолетняя. Он бы меня разыскал, вернул. Силой, с помощью полиции. Проститутке прятаться легче, чем мидинетке, модистке, телефонистке. Достаточно соблюдать именно ей предписанные правила. Консьержка меня шесть месяцев терпела, с полицией не ссорясь, а здешняя хозяйка под чужим именем прописала, да еще и в добродетель мою верует. Но себе я с самого начала твержу одно: лучше спать с кем попало, чем в руки попасть тому злодею, или просто гадкую рожу его увидеть еще хоть один только раз. Я и плод его вытравила, знай и это. Кольцо мое продала, заплатила хирургу, чтобы он во мне убил дитя убийцы моей матери. Как все это светло и невинно! А ты еще руки мне целуешь! И хирург меня утешал: "Теперь, мадмуазель, вам едва ли предстоит вторая такая же непри-

ятность. О нет! Я вас не оскотил! Удовольствий не лишитесь. Да и бесплодной не сделал. Всего только вероятность зачатия сократил". Чуть ли не ожидал лишнюю тысячу получить за такое сокращенье. Милый, прогони, прокляни! Ведь это я так Рождество встречала. Подумай: Рождество! Младенец лежит голенький на земле. Цыновочка под него подложена. Пастухи, обнажив головы, склоняются к нему. Пречистая дева на коленях молитвенно сложила руки — не вверх, а вниз, к ребеночку тошенькому своему. А я... А я...

Тут я обнял ее, всю дрожащую, хоть и закутанную в одеяло, всю тшедушную и тошенькую, казалось мне, как то Дитя.

Целуя меня и глядя мои волосы, она шептала:

— Сразу же я тогда и подумала: "А что если кого полюблю? Неужели не смогу родить ему ребенка? Порченная буду для него навек? Правда, за все это время, покуда я к тебе не постучала, ни разу не вернулась ко мне мысль, что я кого-нибудь полюблю.

Мы сидели, поджав ноги, на постели, обнявшись. Чтоб ее хоть как-нибудь утешить, я говорил о том, как любил бы ребеночка от нее, и что не вовсе ведь погублена эта надежда, но что и вдвоем нам будет хорошо: вместе будем любить все достойное любви, понимать друг друга будем, как я сейчас уже нижу, во всем, без остатка.

Я целовал ее руки, она — мои. Молчала долго, прижавшись щекой к моей щеке. Собиралась с силами. Потом я лег, и она вполголоса начала:

— О гадком скажу, и говорить буду гадко. Надо чтоб ты всю правду знал обо мне, всю без прикрас. Видишь ли, в двух случаях мне было бы менее тяжко. Если б у меня были до тебя попросту одна или две краткосрочные связи с первенством постели, не исключаящим чего-то похожего даже и на любовь. Или еще, если б я с теми, кому продавалась, никогда не испытала ровно ничего, кроме, скрываемого конечно, отвращения. Сильнейшее вызвал у меня мой отчим, а чувственности моей не затронул он совсем. Я надеялась, что так будет и с другими. С большинством так и было. Многие, ведь, насчет ощущений женщины вовсе и не обеспокоены; другие так мерзки, что ощущения эти прелотвращают с самого начала. Ни один у меня не вызвал никаких сколько-нибудь любовных чувств. Но было несколько...

Милый, я тебе мучаю... Потерпи. Не могу я, чтобы ты не знал всего... Было несколько, умевших пускать в ход Змием вложенную в нас механику. Особенно один, твоих лет, уже получивший право преподавания студентам, физик. Недель шесть назад подозвал он меня и привел в комнатенку при лаборатории, где и "обработал", по его выражению, с хладнокровием чрезвычайным. Милый, прости, изображу его; иначе ты не поймешь. Привел и деловито объяснился: "Ты мне нравишься; иначе я бы тебя не подозвал. Но чем меньше чувства, тем для чувственности лучше. Ну-ка, раздевайся и ложись. Ух, как хороша! Сложена — первый сорт. Бела, нежна. Чмок да чмок. Но целованьем увлекаться не следует: расслабляет. Вот я сейчас секундомер поставлю, и начнем. В плечо уткнуись, а ты молчи. Ну, если хочешь, чуть-чуть поохай. В меру, в меру. Главное, чтоб подольше! Для этого нужно думать о другом. Например, задачу решать. Что я и делаю. Есть такие — "на приведение к логарифмическому виду". Так что начинаю. Вперед! Да здравствует тригонометрия! Триго, триго, триго, триго, триго, триго... Ну что? Неплохо? Погляжу на циферблат. Ага! Рекорд! Попробуй-ка с другим! Нечего лицом каменность изображать. Не в лице дело! Сама увидишь: пообедаешь с аппетитом и спать будешь отлично. Теперь дорогу знаешь, приходи. Хоть через день, в то же время. В нижний звонок звони. До скорого!

— И ты пошла?

— Нет. Сам он, неделю спустя, высмотрел меня там, где мы давеча с тобой стояли, на площади у церкви. Сказал "триго, триго" и пальцем поманил... Милый, что с тобой, что с тобой?

Я лежал, закрыв глаза, слышал ее, но не мог сказать ни слова. Обмер. Оцепенел. Когда она головой упала мне на грудь, я поднял руку к ее плечам, но обнять ее не мог: рука скатилась на одеяло.

— Милый, любимый, — шептала она, плача, — как тебе больно! Это мне больно, мне. Это моя боль. Я тебя моей болью казню. С тех пор его не видела. Два раза издали — убежала. Теперь кончено, кончено. Больше никогда ничьей... Твоя. Легла бы под поезд сию минуту, если б тебе от этого стало легче. Но утаить — нет. Ты все должен знать. Я с тобой, как перед Богом.

Верю, что мы перед Богом. Милый, очнись! Бога ради, милый, очнись.

Я с трудом пошевелился и коснулся рукой ее руки.

— Все тебе сказала. О чем не говорила — само ясно. Что терзало меня всего злей, вырвала с мясом. Не могла ждать. А теперь возьми подлинней полотенце, узлом завяжи мне на шее, и тяни концы. Чего проще! Задуши свою Николь. Я жизни жду от тебя одного. От тебя и смерть приму.

Я открыл глаза; ее лицо склонялось к моему; губы припали к моим. И странно: силы мои ко мне вернулись, а мысли меня покинули. Все. Всякая вообще мысль. Я только глотал большими глотками ее любовь, осязал, нет — душою вкушал ее женскую прелесть; и вот уже вся моя жизнь обнялась и слилась с ее жизнью во всецелом, долгом-долгом, скорбно-радостном, скорбно-блаженном объятии, — снимающем рознь между сладострастием и любовью, жизнью и смертью, телом и душой. Когда наши головы оказались рядом на подушке, я так же твердо знал, что ее люблю, как что я живу; и она — я это непосредственно ощущал — так же твердо, о себе, обо мне, знала то же самое.

И все-таки отчаяние холодной искрой мелькнуло в ее любящих, чудных, в черно-золотых ее глазах, когда отделив от меня сладостную себя, надев сорочку, туфельки, накинув на плечи свой ночного цвета плащ, она еще раз взглянула на меня, прежде чем выскользнуть за дверь в млечной полумгле рассвета.

Я заснул, но проспал всего час. Половина восьмого. Что ж, вставать? Разбудить ее, как условились? Да ведь устала. Бедненькая, надо ей дать выспаться хоть немножко. А мне пойти денег взять со своего почтового счета. На ближайшие две недели хватит, слава Богу; а потом мне пришлют из Гарварда, за уже полученную ими работу. Да и с мыслями соберусь. Приду к ней в одиннадцать. Записку напишу. Подсуну под дверь.

Полежал еще, закрыв глаза, думая только о том, что простыня смята ею, что Николенька, любушка моя, была здесь со мной и будет скоро вновь со мной. Потом встал, умылся, выбрился. Вынул из ящика стола, отодвинув поглубже письмо, толстый конверт с открытками, где сразу нашел ту, что припомнилась мне ночью, когда Николь говорила о Младенце, лежащем

на земле и о Богоматери, молитвенно над ним склоненной. Ведь она была во Флоренции, мелькнула у меня тогда мысль, вот и вспомнился ей триптих Ван дер Гуса; надо ей мою открытку дать. Воспроизведен там, правда, лишь цветочный натюрморт на первом плане, но хорошо воспроизведен, даже и по краскам недурно, а ведь в этом роде ничего милей натюрмортика этого и на свете нет. Уверен, что ирисы эти и фаянсовый чудный горшочек тоже она помнит. Будет рада. А что же, для меня, может быть радостней ее радости?

Написал на обороте несколько слов, положил открытку в конверт и, спустившись на второй этаж, подсунул ей под дверь, стараясь не произвести никакого шума. Спустился затем вниз и вышел на улицу.

День обещал быть прекрасным и совсем теплым. Я не торопясь выпил чашку кофе на террасе большого кафе, просмотрел газету, сходил на почту. Взяв деньги, посмотрел на часы; было всего лишь четверть десятого. Вероятно она уже проснулась; но быть может успела и выйти... Все равно, приду, как написал, а пока что посижу в Люксембургском саду. Не завернул в нашу улицу, прошел прямо в сад, сел, недалеко от входа, на скамейку под каштановым деревом, с довольно крупными уже листьями: тут, мол, и поразмыслию о том, что такое любовь, что такое счастье... И очень быстро, совсем для себя незаметно, задремал.

Когда проснулся, она стояла предо мной и улыбалась, на меня глядя.

— Николь, — сказал я, — знаешь, я только что думал во сне, что счастье — враг жизни: оно счастливцу поминутно предлагает умереть. Вот и сейчас такая минута. Если б я умер, на тебя глядя, я остался бы в раю навек.

Никого, кроме нас под деревом. Я встал и мы поцеловались. На ней была та же белая кофточка, что накануне; но костюм, темнорозовый из шершавого, но не толстого твида, еще нежней был ей к лицу, чем тот, полосатый, хоть и тот уже был мне люб, словно часть ее самой.

— Это мой воскресный, — сказала она. — Бывают и по вторникам воскресенья. И знаешь, я долго не думала: прямо пришла сюда, а ты тут как тут. Кофе еще не пила: решила, ты со мной во второй раз выпьешь. Да? Пойдем! А хорошо, в саду. Я

уж не раз тут была, с тех пор, как потеплело. На этой самой скамейке сидела, с книгой в руках. Знаешь с какой? С той, что лежит у меня на комод. Ты не посмотрел?

Мы шли вдоль фантана Медичи. Она говорила:

Ты прав. Если бояться смерти, надо бояться и счастья. Оно — над жизнью; оно делает ненужной жизнь. Только что, у себя, я прямо-таки задыхалась от него, а теперь — ты со мной. Ну что тут скажешь? Влюблена... А когда проснулась, в постели, был такой ужас! Лежу на боку, смотрю на дверь, и вдруг белый конверт бесшумно выдвинулся из-под нее. Подумала: конечно! После моих рассказов, понял что я такое. Больше его не увижу. Олсенела. Не могла встать. Заставила себя. Схватила конверт. Рванула, палец просунула, разорвала. Полупрочитав, стала твои слова целовать, а потом картинку увидела — совсем ошалела. Кинула сорочку, бросилась назад в постель, как будто ты был там. Открытку чуть не испортила. Целовала, ко груди, к животу прижимала, говорила: "Господи, в Бога влюбилась! Он все знает." Ведь у меня такая же есть: во Флоренции купила. Триптих этот больше всего итальянского, ему современного, полюбила, и книга, что на комод, подарок отца, она ведь об этом чудном мастере...

— Жозефа Дестре, 1914 года? — прервал я ее. — Не гениально. Прилежный, однако, труд, и полней ничего нет.

— Ты читал? Ты меланхолика этого любишь? Вплоть до стареньких его ангелов?

— Тайновидца хрупкости тела и души. Меланхоликом он стал под конец жизни, когда в Красном монастыре, близ Гента, одна лишь музыка утешить его могла. Но непрочность жизни, думаю, всегда он чувствовал. Ты, в Уффици, за боковые створки заглянула? Благовещение, гризалью написанное, видела?

Она кивнула головой, и я так живо себе ее представил, совсем девочку еще, как она сперва левую створку — на пышочках, почему-то мне подумалось — огибает, чтоб на ангела посмотреть, потом правую, чтобы Пресвятую Деву увидеть, — так живо представил, что умилился до немоты, и долго на нее, на Николеньку мою каким-то совсем, должно быть, нездешним, ниш-дер-гусовским взглядом глядел, покуда не справился с собой и не прибавил:

— Вот когда поедem в Брюгге, я тебе "Успение", последнюю вещь его, покажу. Там уж действительно...

— А мы поедem? — сказала она, взяла мою руку и поцеловала. — Я в книге видела. Там все апостолы — сумасшедшие; не просто грустные, скорбные, а знаешь, руль потеряли, себя не помнят, не управляют собой. И только Мария, на смертном ложе, и Сын Ее, в небесах, и ангелы, что при Нем, они — вне безумия, они — люди; образ Божий и человеческий в них — одно.

— Ты это, умница моя, на снимке сумела разглядеть, а я, да и то не сразу, перед оригиналом. Когда мы вместе будем на него глядеть, ты увидишь, что беспокойному распределению фигур соответствуют не только беспокойные, но и злостно дисгармонические краски, чего во флорентийском триптихе вовсе еще нет. Глаз они режут так, как если бы ты, к этому прелестному твоему *vieux rose* костюму, надела бы не белую, а гороховую или горчичного цвета кофточку.

— Ай! Плохо! Но с белой я тебе в нем нравлюсь? Это все мама. Она для меня все заказывала или выбирала. У меня есть еще яблочно-зеленый *tailleur*, очень миленький — завтра надену — и белое платье, перед самой смертью подаренное... Ну с ним подожду...

— На свадьбу наденешь. Знаешь на чью?

Она стала белей своей кофты и зажала мне рот рукой.

Мы сидели на террасе у Понса, против сада. Я заказал ей кофе со взбитыми сливками, до войны называвшийся венским, а нынче льежским, и рогульки, совсем особые, которыми славилось это кафе. Сам же пил крепчайшее мокка, чтобы сонливость окончательно прогнать.

Дворец был от нас наискосок, а сад — за решеткой перед нами, и мне казалось, что он становится все более весенним с каждым нашим взглядом на него. Потому что большей-то частью мы не на сад смотрели, а друг на друга. Я был по уши (ага, вот что это значит!) влюблен в каждую складку ее кофточки и жакета, в каждое ее движение и слово. А она? Не мог я не видеть, что вся она светится любовью, и всем существом в себя вбирал, впивал сладостный этот свет.

Она ложечкой сняла верхушку сливок и откусила кончик

рогульки; потом съела и ее и вторую, выпила глоточками кофе, сливки слизывая с губ, и, улыбнувшись, сказала:

— Ты меня балуешь. Мы в такие дорогие места, как это и как вчера, ходить не будем. Разве мне в других плохо будет с тобой? И потом... Как ты думаешь? — Она робко положила руку на мою. — Если б ты захотел пожить немножко со мной, можно было бы поискать комнату с кухней. Я умею стряпать. Мама научила. Как весело мне было бы стараться накормить тебя повкусней! Тогда я тебе, раз ты в рестораны перестал бы ходить, почти ничего бы и не стоила. Особенно, если бы мы немблированную комнату сняли. А на мебель — ну самую конечно скромную — деньги у меня есть. Ой нет, не те, — она густо покраснела, — ради Бога не подумай. *Другие* — ты веришь? Пять тысяч, оставшиеся от продажи кольца, и еще две из взятых дома, когда убегала. На это мебель и купим. Еще останется. Чтобы в Брюгге съездить... Милый мой, отчего же ты молчишь?

— Оттого что слова твои — любовь, и я, слушая их, в раю. Но все будет, как ты говоришь или скажешь.

— А через три года мне — двадцать один. И аптека-то ведь моя. Бумаги — или их копии — у меня. Отниму ее у изверга и продам. Капитал этот мы с тобой в два года изведем. Все музеи и церкви объездим всей Европы... Ох, не слушай меня, не слушай! Зачем ты будешь три года меня, потаскушку, содержать? Побудь три месяца со мной. Три недели... Я за три дня все, что мне останется жить, отдам.

Она сжала изо всех сил мою руку и прошептала:

— Не отвечай. Не считайся с тем, что я сказала. Это просто значит...

— Что ты меня любишь. А я тебя нет? Вот об этом и сказано — ты знаешь где — "времени больше не будет". Его уже и нет. Не могу не верить, что буду любить тебя и через сто лет. Вечно. Но это "вечно", оно уже в том, как мы глядим друг на друга, здесь, в нашем "сейчас". Лучше всего нам было бы, слившись воедино, исчезнуть, улететь, раствориться в нежном этом небе над нами. Но мы можем, потому что молоды и живы, также и сделать вид, что забыли о нашей любви, — ну не совсем, а только о ее мешающем жить огне — и тогда петь и плясать, веселиться, как дети, а так как мы с тобой адски ученые люди и

любители искусств, то еще и любоваться вдвоем, а это почти то же, что любиться.

Уже к полудню подходило время, и я предложил ей тут же позавтракать, спросив две омлетки с ароматической травкой, а потом каштанового пюре и сметаны, после чего пешком отправиться в Лувр. Николь даже в ладошки захлопала: "Этим я буду тебя кормить и дома", но при слове "дома" переменялась в лице и зашептала: "Нет, нет, нет, не может быть".

— Николь, — сказал я, немножко даже и строго, — имей в виду: я с тобой расставаться не намерен. Так что пожалуйста... Присматривай мебель и все тут.

— Она усмехнулась и взглянула на меня как-то сразу и радостно, и робко, и лукаво. Стала пальцы загигать:

— Обеденный стол, четыре стула, две книжных полки, две...

— Нет, нет, одну, широкую, для двоих.

Тут она вновь взглянула на меня — и мне так захотелось обнять ее, что я совсем глупенько обрадовался омлеткам и, уже разрезая свою, все еще думал, что, обними я Николь в тот миг, и все провалилось бы в тартарары — и сад, и дворец, и наш столик, и мир, просто напросто оттого, что вот мы, две песчинки, любим друг друга.

Николь младенчески развеселилась.

— Как вкусно, — говорила она. — Такая простая вещь, а попробуй, приготовь как следует. Не пересуши, но и жижи не оставляй, а чтоб соченькая была. Ничего, научусь. Говорят, на Мон Сен-Мишель... Мы ведь и туда поедим? Да? — Глаза ее блестели, но и теплились; теплились чем-то, что ко мне относилось, мне принадлежало. — И ведь травку эту тоже не всякий, как нужно, подберет. А каштановое пюре сметаной поливать, это ты сам изобрел? Лакомка! Угодить тебе будет нелегко.

Я расплатился и мы двинулись в путь. Под аркадами Одеона, где тогда продавали книги, она заметила дешевый томик: "Жизнь Марианны" Мариво.

— Ты читал? Нет? Прочти. Неокончено, нелепо скомпановано, и все же прелестно. Свежо. Двести лет, а свежо. И как они говорят! — ну все вообще, вся книга. Так же остро, тонко, как и чувствуют. Именно говорят. Все сплошь не написано, а

сказано. Купи. Мой подарок. Но сейчас сам заплати. Деньги у меня в кошельке — поганые.

Покуда я понес книгу в кассу, а Николь еще стояла у прилавка, к ней, я видел, подошел какой-то вихрастый, в вязаной куртке, юнец, и сказал ей что-то, на что не получил ответа. Она быстро приблизилась ко мне.

Мне обернули мою "Марианну" в обложку с надписью "Фламарион", мы вышли из-под аркад и стали спускаться по улице Одеона, мимо Shakespeare & Co Сильвии Бич, мимо Адриенны Монье; но Николь шла быстро и ни на какие витрины, даже книжные, не глядела. Мы оба молчали, но подходя к Сен-Жерменскому бульвару, который нам предстояло перейти, я не выдержал и спросил:

— Это твой... Я хочу сказать, один из тех...

— Да, да, да, конечно. Неужели нужно было спрашивать? Ведь их много. Надо уезжать из этого квартала. Мерзкий мальчишка! Он меня узнал, хоть я и не накрашена. Именно это и сказал: "Ты помолодела!". Я не раскрыла рта, побежала к тебе...

Тут я подхватил ее за талию, приподнял над мостовой и — невидимую, слава Богу — опустил на тротуар. Шофер грузовика ругнулся.

— Дал бы меня раздавить, — сказала она, и умолкла.

Я тоже сказать ничего не мог. Взял ее левую руку, поднес к губам и все время целовал, покуда мы шли по улице Старинной Комедии и по улице Мазарини. Купольное здание Института мы обошли справа, войдя во двор. Я показал ей здание мазариниевской библиотеки, что ее чуть-чуть от мыслей ее отвлечло. Перейдя набережную, мы поднялись на пешеходный мостик. Дойдя до середины его, остановились, подошли к парапету и стали глядеть направо, в сторону треугольного сада, внизу, по сю сторону Нового Моста, позади которого поднимаются здания Городского Острова. Пароходик прошел по реке. Мы долго стояли и смотрели. Потом она повернулась ко мне лицом, заглянула мне в глаза золотистым своим теплым взглядом:

— Потерпи. Я скоро умру. Но сейчас ты тут со мной, в самом сердце Парижа, и никого на всем свете нет у меня, кроме тебя. Обними меня, скажи, что прощаешь мне эти гнусные пол-

года, скажи, что любишь твою Николь, для которой ты — все, вся жизнь, весь мир, вся любовь.

— Нечего прощать, — сказал я, — прости меня, — и крепко ее обнял, обе ладони, как она всегда того желала, широко положив ей на спину. Но при этом слишком сильно прижал ее боком к перилам моста. Послышался негромкий сухой треск. В кармане ее жакетки разбилось зеркальце ее плоской, кожей обшитой пудреницы. Она ее вынула из кармана и бросила в реку. Побледнела слегка, но сказала, мне в утешенье, что не суеверна. Мы пошли дальше, пересекли двор старого Лувра и вышли на улицу Риволи, где я намеревался купить ей новую пудреницу. Она однако намеренье это решительно отвергла:

— Не нужна она мне вовсе. Я с ее помощью то, что ты мазней назвал, подправляла. Не мажусь теперь. Это я те шесть месяцев в реку бросила, после того, как ты им, ненавистным, шею свернул.

Я подводил ее, обняв слегка за плечи, ко главному входу в музей. При этих словах она посмотрела на меня, и я подумал, что иметь "под рукой" существо, способное так смотреть, совсем даже и неловко, совестно, — почти все равно что в обнимку идти с ангелом Господним.

Войдя, мы пошли не к Самофракийской Победе, а направо, где на верхней площадке лестницы показывали новые приобретения картинной галлерей, а совсем по соседству, в небольшом зале, на мольберте, ждала нас та Мадонна Ван Эйка, что сподобила меня — так я теперь о ней думал — узнать Николь.

Мы к ней первой и подошли. Спутница моя взяла меня под руку и вполголоса заговорила:

— Я здесь часто перед ней стояла, милым ликом ее, багряным нарядом, старичком-младенцем любовалась, а теперь для меня она — святыня; молиться ей буду о тебе и о себе. Горячей молиться, чем канцлер, который мне чем-то неприятен. И старичку голенькому, ручкой благословляющему, помолюсь, чтоб он и впрямь нас туда, на мост городской пустил. Ума не приложу, каким это чудом именно об этой картине ты вспомнил, когда испытывать меня стал, только что я к тебе вошла?

— Сам не знаю. Чудесно-случайно. А все-таки вот сейчас

смотрю: ты на Нее не похожа, но рука твоя на Ее руку похожа. Такая же кроткая, нежная. Я на руки твои смотрел. Не оттого ли мне эта картина и вспомнилась? Помолюсь и я Приснодеве, чтоб Она мне тебя хранила, раз тебя угадать мне помогла. Знаешь, у нас в России, образом благословляют будущих мужа и жену. Пусть бы нас вот этим благословили.

— Молчи! — шепнула она. Потом сказала:

— Как это у него, и здесь, и кажется всегда, чем торжественней, тем интимней, и чем интимней, тем торжественней. Вот и те новобрачные в Лондоне, — лишь по книгам о них сужу. И все это золото, самоцветные камни, драгоценные уборы, ведь это все у него превыше всех земных богатств. Не дворец, не кунсткамера: ризница храма.

— Ты права. Многие умники этого не понимают. Не роскошь все это у него, а священная и святая с большой буквы Красота, как для итальянца свято и священно обнаженное или хотя бы опознаваемое под одеждой тело. А тут, под тяжелой тканью, где колени Богоматери? Нигде. Наготу — красоту наготы — объявить священной северянам трудно. Ван Эйк, в Генте, изобразил Адама и Еву нагими, но не прекрасными (хоть и прекрасно изобразил). Зато "Рождение Венеры" Боттичелли — ты ведь его видела, — тоже своего рода икона, хоть и не христианская. Скажу тебе по секрету, что мне всегда хотелось ее контрабандой в христианство перетащить. Когда я ее впервые семнадцати лет увидел, разве целовать я возжаждал это невинное девичье тело? Нет. Приложиться к образу его, как у нас, верующие, в два последних предпасхальных дня, преклонив колени, прикладываются к Плащанице. Заметь: не к образу трупа, а к образу имеющего воскреснуть нетленного тела Господа нашего Иисуса Христа.

— Что-то мне боязно тебя слушать.

— Как и мне говорить. Это на самой границе. Но если слишком таких мыслей бояться, христианство подменяется монашеством, а наша с тобой любовь приравняется блуду, что я считаю ужаснейшим кошунством. Сердцу моему и твоя нагота, твоя красота, сквозь все вожделения, и поверх их, чиста, прекрасна и священна.

— Афродита все таки ведь девственной родилась из пены вод?

— А быть может лишь, омытой, возрожденной. Ты прекрасна для меня, Николь, чистой и безгрешною красой. И красота, если она подлинна — как твоя — понимаешь, сама Красота — все равно Богу, а не чорту сродни, все равно остается чиста и безгрешна.

Мы сидели на двухместном диване наискосок от Ван Эйка, и Николь на меня глядела боязливо, хоть и ласково.

— Какая-то тут у тебя слишком уж гордая мечта. Я себя ошушаю такой жалкой и ничтожной.

— Пусть все мы ничтожны, но не в любви. Не в Любви, что "движет солнце и другие звезды". Дружок мой, любовь моя, ты не находишь, что последний стих "Божественной Комедии" сверх-чудесен какой-то бухгалтерской своею прозой: "и другие звезды", как если бы "и прочие финтифлюшки". Нет, нет, если мы любим, мы не жалки, мы уже Богу причастны вот в этой нашей простой, моей и твоей любви. Костюмчик этот милый мохнатенький твой разве не для того, чтобы мне понравиться, ты надела? А я пиджак получше... Верю, что радуются этому ангелы на небесах. А когда ты белое свое платье неденешь, то не для того ли, чтобы жениха твоего, через красу твою, такой радостью обрадовать, что сам он, от нее одной, станет тотчас прекрасен, — да еще и добр, потому что *в любви* красота только и может быть излучением добра.

— Ты так веришь? Я научусь. Вера твоя будет моею верой.

Я благодарно сжал ее руку, но так нежно и кротко мне ответила ее рука, что я стал мысленно корить себя: ишь какую бравурную арию пропел, а мысли-то эти мои, разве я их до конца продумал? И опять, как ночью, подумал я с болью, что держу на руках спеленутое дитя, душу Николеньки моей, и что ответ за нее держу перед совестью моей и перед Богом. А те заветные мысли мои требуют стольких оговорок, разъяснений, быть может и поправок, что лучше бы мне подождать излагать их так самонадеянно, — и такими приблизительными все же, как мне завтра может показаться, словами. Хотя ведь именно девушка эта и все, что случилось с тех пор, как она ко мне пришла, эти мысли и подтверждает, — да еще с какою силой...

— Николетт, пойдем. Перенесись теперь в те времена, когда ты была племянницей Коро и парижанкой, а не савояркой. Гляди:

причесывалась ты похоже, как и сейчас, только милый соломенный обруч, каких теперь никто не носит, носила на затылке. Платье на тебе — белое, хоть и не совсем должно быть такое, как мама тебе подарила: уж очень много материи на него пошло. А на руках у тебя, гляди какие забавные треугольные митенки; таких, по-моему, ни раньше, ни позже конца тридцатых годов никто не носил. Одно меня удивляет: она выглядит старше тебя, а в тот год ей было всего шестнадцать. Коро всех четырех своих племянниц, дочерей своей сестры, г-жи Сеннегон, написал, но эта, Клара, была без сомнения самая красивая.

— Она гораздо лучше меня. Ты мне льстишь. Но сходство, пожалуй, и есть. И мне отраднo, что именно с ней ты сходство нашел во мне. Это мне *тебя* открывает, что-то в тебе милое, ко мне дружелюбное. Если я провинюсь и ты будешь меня бранить, я скажу: не сердись, вспомни, я — Клэр Сеннегон.

— А вообще Коро, ты его любишь?

— "Даму в синем"? "Женщину с жемчужиной" (где нет никакой жемчужины)? Как мне их не любить, раз я живопись люблю? Но еще больше люблю "Внутренность Санского собора". Смотрю, бывало, и приплясывать от радости начинаю. Нет, за эти полгода, были у меня все-таки счастливые минуты. По утрам умела не думать о вечерах.

Тут старик-сторож, скучавший у двери, хмуро на нас поглянул, потому что не мог я удержаться: обнял Николь и поцеловал. Если бы меня она спросила о Коро, я ответил бы точно то же самое. И все, что она говорила после этого, столь же мне было близким и родным. Книг по истории искусства прочла она не много, но знаний, какие можно почерпнуть из каталогов и словарей, было у нее вполне достаточно. Я всегда предпочитал с картинами быть наедине, но на этот раз спутница у меня была такая, о какой я и мечтать не смел. Природная восприимчивость ее не была испорчена никакими предвзятостями, — ни давно установившимися, ни новомодными. Она все время меня удивляла суждениями, либо совсем совпадавшими с моими, либо открывавшими мне то, чего я прежде не замечал. Болтлива не была. Часто мы молча стояли перед картиной, и одно и то же о ней думали; что непосредственно нами и ощущалась. С ней,

действительно, восхищаться чем-нибудь вместе, вдвоем что-нибудь любить, то же самое было, что любить друг друга.

Отложив на другой раз соседний зал французских "примитивов", мы прошли в большую галлерею, завернули налево, к ее началу, но Николь, тут же у двери, дернула меня за рукав, и мы остановились перед "Успением Богородицы" Караваджо.

— Расскажи мне, Расскажи, — заговорила она быстро. — Почему он такой великий и такой грубый? Деву Марию убил. Руку ее как откинул, висит беспомощно; босые ступни показал. А три лысых бородача над ней и тот нелысый на коленях — они точно сами в смерти ее повинны, плачут, прошенья просят... Я эту картину дважды во сне видела, когда мне уж очень гадко было до того. Страшной тяжести, вверху, портьера сейчас, казалось мне, упадет на Иоанна, и на всех, и на меня... И смотри, как это жестоко, что поперечная ее плоскость параллельна лежащему телу Марии, а потом еще раз плечам и затылку безутешно плачущей девушки спереди, внизу. Убил, а как ему жаль! И не верует он, и все-таки верит, верит! То и дело пальцы в рану тычет, как Фома. Расскажи мне о нем. Он меня еще во Флоренции жертвоприношением Исаака напугал. Нож какой острый! Ангел, держи крепче руку: непременно зарежет сына Авраам!

— Как ты видеть и чувствовать умеешь, Николь. Ты будешь учить меня, а не я тебя. О Караваджо мы еще поговорим. Я тебе фотографии поздних его вещей покажу. Это великий, ты верно сказала, и трагичнейший художник. Но в молодости написал "Отдых на пути в Египет", в римской галлерее Дориа, — где ангел на скрипке играет, чтоб дремали Мария и Младенец, а Иосиф ноты ему держит, — одну из радостнейших, в мире, картин. Он убил человека. Он умер в отчаянии; вероятно и в диком гневе... А ты о портрете, налево, повыше, ничего не скажешь?

— Не знаю, что сказать. Мне кажется, написан он не им.

— И мне кажется, но я еще никому в этом не сознался...

Она улыбнулась, погладила мой рукав, повела меня не налево, а направо, и быстро, быстро вполголоса заговорила:

— Мне тут с тобой, как в раю. Целуемся по-другому, чем ночью, но так же сладко. Каждый день будем ходить, аккуратно

все смотреть, по школам и временам. Но сейчас чересчур волнуясь: не могу. Посмотрим, если позволишь, только самое мое любимое. Я из знаменитого далеко не всем еще научилась восхищаться, а перед иными вовсе не столь уж прославленными холстами, либо приплясывать начинаю, либо сердце у меня в пятки уходит от мрачного восторга. А то еще бывает восторг этот сразу и мрачный, и плясовой... Только вот я направо повернула, а ведь хотела тебе Бароччи в Квадратном Салоне показать...

— "Обрезание"? Знаю, люблю. Но не во Флоренции ли ты, как в свое время и я, этого чудного художника полюбила? Madonna del popolo? Да? Однажды, в Урбино, глядел он, задумавшись, на какой-то свой неоконченный холст, и когда спросили его, что он делает, ответил: *sto accordando questa musica*. Вот тебя музыка эта и обворожила...

— Милый, как мы вместе, как мы — одно! Ты прав: счастье приглашает умереть. А пока длится, заменяет жизнь, избавляет от жизни. Решаюсь думать, что и Федерико наш это знал. Оттого он такой сладостный — до обморока, до предела. Кажется, его считают сладким...

— Разницы не знают; или пикули — высшее для них, а все сладостное приторно. Но верно: срывается он порой, слишком сладок бывает, и красочно, и эмоционально. Без хорошеньких оборванцев, но не без глаз, поднятых к небу, как в другом веке, у Мурильо, — к "Рождеству Богоматери" его ты меня едва ли случайно подвела. Хочешь наверное сказать, что никакой патоки нет в этой сладостной картине.

— Значит ты ее любишь? Я знала, я знала! Сейчас запрыгаю. Не позволяй. Один этот букет красок в середине, где спиной повернута к нам испаночка, что к роженице склонилась, до чего хорош!

— А кого он тебе, если черное изъять, из живописцев поближе к нам напоминает?

— Ренуара. Но благодати такой, во всем остальном, нет и у него.

— Николь, идем, не то я тебя так поцелую, что нас выгонят из музея. Вон там подальше, в первом рубенсовском зале, сядем и поговорим. Ты мне скажешь, какие твои — ну там две, три —

самые нужные тебе, в Лувре, картины. Или которые тебе захотелось бы унести, украсть...

Она ответила, когда мы уже сидели:

— Любимых куда больше, а чтоб украсть не думала. Ну вот украла бы нашего с тобой любимого Коро, или "Кружевницу" Вермера...

— Ты, я вижу, выбираешь, что подмышку сунуть можно, а мне все "Кану Галилейскую" похитить хочется.

— Веронезе? Ты рехнулся?

— Подмышку, что и говорить, не сунешь, но я не для себя: хочу ее Венеции вернуть, рефекторию монастыря, откуда вывез ее Наполеон. С тех пор, как ту ее стену повидал, так ее и вижу там, в белой мраморной ее раме.

— И мечтать о Венеции боюсь. Всю ее живопись люблю, от начала до конца — вон тут вблизи — Гуарди, Тьеполо. Если б туда с тобой... Как ты меня в гондолу посадишь, тут я от счастья и умру. Прямо на кладбище повезешь. Ведь и оно у них на острове, неправда ли?

— Голубка моя, не смей о кладбищах думать. Хотя и мне с тобой так хорошо, что можно бы и умереть... Но ты мне еще о самых, самых любимых твоих картинах ничего не сказала.

— Есть две. Талисманы мои. Защитницы. К ним сейчас и пойдем. Но сперва поглядим тут на "Ярмарочную пляску" Рубенса. — Она взяла меня за руку и к ней подвела. — Долго смотреть не станем, а то сами в пляс пойдем. Гляди, ведь и земля у него пляшет! Круглится вверх и вдаль, вздымается, круглясь. Милый, ведь дышет! Грудью, глубоко; живет! Я от его двух больших пейзажных холстов оторваться, в палатку Питти, не могла. Там ты видишь, ощущаешь — да вот и тут, в пейзажике налево, с заходом солнца — как деревья из земли растут. Ни у кого этого нет! Растут, тянутся, корнями вытягивают соки из земли, ветви вырастают из ствола, веточки из ветвей...

— Вижу. Ты показала — и вижу. Мне и Вергилия не нужно. Беатриче водит меня осматривать рай. Но веди меня теперь к твоим ангелам-хранителям.

После нескольких ступеней вниз, началась вереница малых зал.

— Они — строгие, — сказала Николь. — Мы пришли, вот —

первый. Это Авиньонская Пьета. Когда в комнатке никого нет, я сажусь напротив и молюсь. Страдальческий это образ, и суровый. Само сострадание, вызываемое им — суровое. Как мучителен, смотри, прямой угол, образуемый боком Спасителя и свисающей его рукой. Сухость высокая во всем; так что горетное на сухом огне сгорает.

— И все-таки сладостно горит...

— Это горькая сладость слез и молитвенных жалостных рук. Престарелой Матери. Гляди, как плотно прижаты они одна к другой. Сломлена Магдалина. Пальцы Иоанна продеты сквозь лучи вокруг лика Христа, и лучи эти — длинные, жесткие иглы.

— А другая рука! Почти ее одной для скорби нашей было бы довольно. Готическая рука. И все вместе — готика, только южная.

— Есть разница?

— Не рвется к небу. Не взлетает, а щетинится, как еж, или мездится, как треснувший хрусталь. Углы в землю врезает. Широко стоит. Я все же скорбный этот плач над телом Христа называю последним собором.

— Как верно! Руки бы мне твои целовать...

— А священник, в белом, на коленях, это ваш галло-римский или провансальский, а также и твой альпийский апостол Петр. На камне этом зиждется храм.

Николь схватила мою руку и долго не отпускала. Я спросил:

— А готические соборы, кроме Нотр Дам, ты какие видела?

— Осенью съездила в Шартр и в Амьен. Но если б с тобой...

— Вместе поедem. Все увидим. Веди меня дальше.

Но прежде, чем уйти, она вполголоса спросила:

— Ты в себе ощущаешь, глядя, как торс над бедрами сломан, как упала рука, и две этих прямых под прямым углом... Ему больно?

— За тебя Ему больно, Николь. И мне. За тебя. За тебя.

— Я сюда приходила одна... Теперь я счастливая. Ты со мной. Пойдем.

Больше мы не задерживались нигде и быстро пришли в тогдашний рембрандтовский зал, где она замедлила шаг, подводя меня к "Вирсавии". Тут она палец приложила к губам, и мы

сели на овальный со срединной спинкой диван, стоявший против картины. Долго молчали. Потом она сказала:

— Заступница моя. Драгоценней сокровища нет. Утешала, хранила; может быть душу во мне спасла... Чем — не знаю. Милый, скажи.

— Грустью. Оттого что тут святая грусть. Христианская в тебе душа, Николь, раз ты такие две святыни себе выбрала. И если эту, значит по ту сторону перегородок, воздвигнутых историей. Рембрандт, впрочем, хоть и был меннонитом или очень свободным кальвинистом, почитал Божию Матерь и католических святых. В зрелых и поздних его картинах, рисунках, офортах — не только на библейские темы, но, например, и в портретах — сказалась такая сила и глубина христианского чувства, что у святых не всегда такое найдешь. Почитать и любить его я начал давно; в лучшие мои часы, он мне всех, кого я чту, дороже. В день моего отъезда — навсегда — из Петербурга и России, я утром пошел с ним проститься в Эрмитаж. Там, где висит его "Возвращение блудного сына", посетителей не было. Я стал на колени перед этим последним вполне законченным творением его и помолился, — а ни в какой церкви в те дни не побывал. "Тяжелый случай разнузданности" — так священник наш православный, да и другой, мог бы обо мне судить; был бы, пожалуй, и прав; но не мог бы меня обвинить в отпадении от Христианства... А ты в церковь ходишь, причащаешься, Николь?

— Перестала с тех пор, как мама умерла. Здесь иногда в церковь Сен-Северен захожу, — не во время служб. Близко. Да я думаю, тянет меня туда, оттого что девки — такие, как я, их много вокруг — туда заходят. Впрочем, я их боюсь... А Христа и Божией Матери стыжусь. Но чтоб их не было — не могу. Если б ты меня о вере спросил, не знала бы я, что сказать. Путаю, кажется, веру и любовь. Того, во что не верю — но ведь и не знаю до конца, что не верю — не хочу и не могу вычеркнуть из любви. Вот, например, что Христос без родителя родился — дважды-два пять, тупик. Но любя Его, я ведь Бога люблю, а Бог человеком как же мог бы стать без чуда. Только вот непорочное зачатие Девы Марии, — тут мысли уже этой я не понимаю. Помоему, раз мои родители любили друг друга, я и сама была непорочно зачата. Другое дело — злодеем, против моей воли, со-

десянное во мне зачатие. Оно — порочно; хоть и не имела я права тот зародыш убивать. Без любви обезьянить любовь — грех и порок. Но кипятите меня в смоле, не могу признать, что вот люблю тебя, все в тебе, всю себя тебе отдаю, и что это дурно и порочно.

Она жала мою руку, чуть слышно прибавив: веря, что и ты — меня. Я ответил ей взглядом, и мы стали вдвоем читать бессловесную грамоту и музыку начертанную для нас великим живописцем и песнопевцем. Печаль из нее исходила, — та же самая, казалось мне, что из слов Николь, которую я все горячий любил с каждым ее словом. Она говорила негромко, но певучим, новым для меня голосом:

— Ведь и Вирсавия об этом: о любви, о поруганной любви. Как ты верно сказал, что она меня грустью утешала! Об этом она и грустит: об осквернении самого святого на земле. И как хороша она, Боже мой! А ведь, в жизни, нашли бы ее *ses messieurs* не такой уж красивой и не очень молодой. Меня бы ей предпочли, а ведь я, рядом с ней, стрекоза, да и только. Но если наделил он ее красотой, то красоту ее — какую грустью! Все ее драгоценное, чудное, любовное тело грустит. Не меньше лица печалится плечи и грудь, живот и бедра, руки, ступни, колени. Каждый вершок ее кожи грустит, оттого что все свое — с душой неразрывное — тело предстоит ей отдать не тому, кого любит душа. Старуха, у ног, что к жертве готовит ее, и та скорбит, и широкий чепец клонит ее голову во тьму. Даже златотканная риза, позади нее, в глубине, точно тяжело ей дышать, в безысходной грусти вздымается и оползает. Сам царь Давид, если он не изверг и не истукан, слезами изойдет, снимая брачный убор с этого царственно тоскующего тела, поцелуями покрывая эту насквозь пронизанную скорбью плоть.

— Ты покаянно-погребальную Песню Песней слагаешь, печальница моя.

— Сложила бы, если б умела, то есть перевела бы сложенную песнопевцем красками на холсте. Ты его любишь? Я рада. Ты ему веришь? Я еще очень мало его знаю. Ты меня научишь. Вот он тут рядом, с кистью в руке и с палитрой в другой. Нос картошкой, а царь. Глядит добродушно, а все же и строго. Чего он не терпит? Что скажешь? Лицемерия, лжи... Ох, знаешь, дикая

мысль: он не любит искусства. Было время, форсил, серьгу в ухе носил, жену на колени себе посадив, пировал; а потом... Да нет, ничего я толком не знаю. От тебя узнаю.

— Через год после смерти жены, он ее написал, как она в его памяти жила: портрет ее души, совсем другой, чем прочие ее портреты. В Берлине эта Саския. А Хендрика тут, подальше на той стене; да и Вирсавия — она. Но самый живой и горячий портрет ее тоже в Берлине. Когда его вспоминаю, кажется мне, что я сам на Хендрике был женат... Пойдем. Ты, я чувствую, устала. Мы с тобой — как я этому рад — любим в искусстве нечто большее, чем искусство; а я осмотры всех галлерей, где есть Рембрандт, всегда оканчиваю Рембрандтом. После него почти все другое "только искусством" именно и кажется.

— Тут слова виноваты: выветриваются, хиреют, да и немощны вообще. Не очень им и веришь, не зная кем они сказаны. Тебе — верю. Под "искусством" не разумеешь ты "только искусства", не назовешь красоту красотой, слова "любовь" все не произнесешь. А у других или в книгах слова эти сплошь и рядом ничуть и не относятся к тому несказанному, что высказывается не ими, а самой любовью, самой музыкой, картиной, самой красотой. То, о чем эти слова, — по ту сторону не только слов, но и самой жизни. Хоть без этого и не стоило бы жить.

В знак согласия, я поцеловал ей руку. Мы спустились по винтовой лестнице и попали в отдел скульптур, но не задержались там, поглядели на одних лишь "узников" Микельанджело. Она сказала:

— Ими мы Рембрандта не обидим. "Только искусством" станут они лишь когда больше никто на свете не будет искусства ни создавать, ни понимать. Те четыре, во Флоренции, тела свои из безликого вещества высвобождают, а эти два силятся сбросить оковы собственных тел. Вон тот, что локоть занес над головой, он уже не с нами, он по ту сторону, там, в нигде.

Или может быть я это сказал... Я так слился с ней, с ее мыслями, словами, что вдруг увидел нас, вдвоем, со стороны. Две сросшиеся песчинки. Счастьем была эта близость, но и

какая-то новая боль рождалась из нее самой. Николь сказала:

— Возьми меня под руку. Попрощаемся с ними.

Голос ее прозвучал устало и грустно, словно издалека...

Мы вышли из музея и пошли в Тюильрийский сад. Было все так же солнечно и стало еще теплее. Мы сели под деревьями на скамейку, в полупрозрачной их тени. Николь молчала. Я сказал, что не раз советовал не-парижанам приезжать в Париж либо в октябре, когда жареные каштаны, продаваемые на всех углах, так вкусно пахнут, либо в апреле, когда над городом такое вот нежное небо, как в стихах Верлена и сейчас. Николь молчала. Я спросил ее, любит ли она Париж.

— Люблю, — сказала она. — Несмотря на то, о чем ты не подумал задавая мне свой вопрос. — Она положила мне руку на колено. — Я ведь здесь мерзкую мою жизнь в октябре и начала. В октябре приучать себя стала по утрам забывать о вечерах. Прошедших и предстоящих. Не легко это. Нет, не легко. Торговлю открывала в пять. Вот, бывало, на углу двух бульваров, фунтик каштанов куплю, и ем на ходу, походку слегка изменив, сумочкой помахивая: теперь пусть *меня* покупают.

Я схватил ее руку:

— Николь, ради Бога, не думай об этом, не вспоминай! Этого нет. Этого не будет больше никогда.

— До сих пор я учила себя по утрам не помнить вечеров; а теперь должна себя учить, что вовсе тех вечеров и не было. Милый, трудно и это. Сейчас — хорошо. Ты со мной, ты слушаешь мне руки. Слишком хорошо! Только что, в Лувре, как была я счастлива — страшно подумать! Утренняя ходила там Николь; но не одна. С тем, кто ей — всё. В кого она верит, как в Бога, любит, как Бога... Но ведь это невозможно. Обман. Этого нет. Это музыка, а не жизнь. Это всё, что в искусстве больше чем искусство. Это по ту сторону всего; меня, — быть может и тебя. Но есть другая Николь. Появлялась на бульваре, в конце дня, как летучая мышь. Я в ней жила. Она тут, раз я живу. Надо ее убить, чтобы жить не в ней. Или в нее вернуться навсегда. Что мои часики говорят? Милый, — пять. Без пяти пять. Прощай! Прощай!

Она вскочила и, не успев я опомниться, бросилась бежать.

Между деревьев к средней аллее; потом по ней, в сторону Площади Согласия. Не оглядывалась. Бежала быстро. Я нагнал ее, когда она уже огибала круглый бассейн с фонтаном, чтобы выбежать на площадь. Схватил ее за руку, повыше локтя. Прохожие на нас глядели. Вероятно я был страшен. Тяжело дышал. Говорить не мог: голос потерял.

Она обернулась ко мне, растерянная, бледная.

— Что я наделала! Рассудка лишилась. Что с тобою?

Не помня себя, схватил я и другую ее руку, повернул ее всю к себе и безголосо захрипел:

— Обо мне забыла? Если ты хочешь смерти, — вместе! Я готов. Сейчас же в метро, а там, крепко обнявшись, под поезд. Вдвоем! Вдвоем! Это куда верней автобуса.

— Милый, успокойся. Умоляю. Будет все, что ты хочешь. Но я не под автобус. Не в смерть бежала, а к черту. К чертям. Я с ними жила, каждый вечер. Твоя Николь! Она чертова. Ей нельзя с тобой.

Тут подвез кого-то такси к воротам сада. Я впихнул ее в машину. Дал адрес шоферу. Сел сам.

Она дрожала и беззвучно плакала. Я кричал едва слышно:

— Ах ты не хочешь жить со мной! По физику соскучилась? Или по другому воплощению сатаны? Нет, по нему! Нет, нет, ты мне скажи. Он и во второй раз секундомер ставил? Собственный рекорд побивал?... Ты кивнула головой! Была довольна? Скажи! Скажи!

Повернувшись всем туловищем к ней, я взял ее за плечи, и вдруг — точно был слеп и прозрел — увидел ее лицо. Николенька. Сиротка моя. Мне стало стыдно, как еще никогда в жизни. Я сполз со своего сиденья к ее ногам, стал колени ее целовать, шептать "прости, прости". Понял, что от этого ей горше прежнего. Сел, как раньше. Умолк. Она повернулась ко мне лицом, коснулась легко-легко ладонью моего виска и лба, потом взяла мою руку в свою и, сделав над собой страшное усилие, — которое я совершенно так же почувствовал, как если бы оно было моим, — слабым, но ровным голосом заговорила:

— Nicolas, мне — ад тебя мучить. Я вижу, что натворила. Но Бог, тут он, с нами. Раз ты заблуждаешься, я должна тебя разубедить. Клянусь тебе памятью матери, памятью брата —

его звали, как тебя, оттого и меня зовут Николь — что я к физику этому не то что никакой любви, а и ничего кроме отталкивания и страха не ощущаю. Но совсем он не таков, как ты представляешь его себе. Он и собой совсем недурен, и человек он добродушный, умный, скажу даже симпатичный. Если б ты встретил его где-нибудь среди студентов или профессоров, он бы тебе, я уверена, понравился. Это-то как раз, по-моему, и ужасно. Теперь будь, что будет. Ты мне свят. Я тебе неправды не скажу, правды от тебя не утаю. Но любить такую как я, ты не можешь. Мы уже на левом берегу. Останови машину. Я сойду.

И пойдешь к нему. Нажмешь нижнюю кнопку. Нет. Я этого не сказал, хотя дьявол, засевший во мне, орал мне в ухо эту гнусность. И шофера не остановил. Держал ее руку в руке и умоляющим шепотом хрипел:

— Ради Бога! Прости! Не покидай меня, Николь...

Когда мы подъехали ко входу, точно проснулась она, взглянула горячим своим взглядом и, покуда я расплачивался, шепнула:

— Пройдись немного, чтоб хозяйка нас не видела вместе. Потом постучи. Буду ждать.

Я, как накануне, дошел до бульвара. Постоял на углу, ничего не видя и не слыша. Сообразил зайти в кафе, выпить сырое яйцо, в помощь моей гортани. Заторопился. Большими шагами пошел назад. Через ступеньку шагая, поднялся на второй этаж. Побарабанил кончиками пальцев. Услышал из глубины комнаты ее голос:

— Входи. Запри дверь.

Запер, войдя — и совершенно обезумел.

Она лежала обнаженная на постели. Приподнялась. Протянула ко мне руки. Грудь ее... Я сорвал с себя все, что на мне было. Ринулся. Обнял. Стиснул ее изо всех сил и прижал к себе. Она радостно заплакала. Залепетала "ты лю? ты меня лю?" И вот слился я с нею — в любви, в любви — как слился бы со смертью, если б сунул себе в рот дуло пистолета.

Никогда, ни раньше, ни позже, столь к смерти готового бешенства плоти не испытал. Все другое было лишь слабой его тенью. Потому, очевидно, что ни раньше, ни позже, *таким* огнем не горел. Но конечно и потому, что никто никогда так

меня не любил, как Николь, — всей жизнью своей, до последней кровинки, и всей своей женскою, детскою, мудрой и беспомощной душой.

— Ты меня лю... Ты меня лю... — Лепет ее услышав, тут бы мне и умереть. В урагане, в забвеньи всего, в ответе любви на любовь... И в самом зачине объятья, — которое длилось не миг, а долго-предолго, мучительно-сладостно долго, так долго, что опустевшая мысль пустоту успела осознать, одобрить ее, уснуть, но и вспомнить во сне чужой возглас "главное, чтоб подольше", и в тот же миг услышать, понять несчастненький сдавленный стон Николь.

Объятие кончилось, но она меня не отпустила. Обвила руками, прижала к себя так же крепко, как только что я ее, и прерывисто зашептала:

— Не думай! Не смей о чужом! Нет его! Не было! Нет ничего. Мы вдвоем. Мы одни. Никто не разнимет. Никто не отнимет. Вся хочу тебя всего! Не сыта! Еще! Еще! Милый, еще! Ты. Ты. Ты. Мы — одни. Мы — одно.

Объятие возобновилось и кончилось. Она лежала рядом, близко-близко; как будто сейчас родилась из моего ребра. Ерошила нежно мои волосы, ласково шептала:

— Теперь мы совсем слабенькие, глупенькие, маленькие, миленькие... Поспим. Без снов. Друг подле друга. Закутавшись — мягко-мягко-тепло. Поспим. Тихонько поспим. Вместе. Вдвоем.

И я, действительно, заснул. Когда проснулся, дневного света не было. Горела лампочка над умывальником. Николь была там, за ширмой. Прежде, чем это понять, я ощутил отсутствие шелковости ее тут, со мной, почти во мне; ее благоухания, тепла; тшету моей наготы без ее наготы. Как это так — дышу вне ее дыхания; рукой шевелю, а ее рука далека...

— Николетт, подойди, чтобы я тебя коснулся.

Нежный голос ее из-за ширмы отвечал:

— Сейчас. Чуть-чуть погоди. Я тут занята. Мылась, и знаешь что? Оказывается началось. А я считала, что лишь завтра начнется. Теперь мы с тобой — пять дней — брат и сестра. У меня это идет легко: без большой боли, без лежания. Ну разве что завтра в Лувр не пойдем.

Тут она вышла из-за ширмы и подошла ко мне вовсе без ничего, кроме белой тряпочки на тесемках, и я поцеловал бочок **сс**, над бедром, совсем как целуют ребенка в щечку, а потом глядел и глядел на нее, любовался ее стройною красой, уже не осязая ее плоти, а как таким же лицом ее души, как ее лицо, как чудесные ее золоточерные глаза, тонкие и строгие очертания ее лба, носа, подбородка.

Мы не стеснялись больше друг друга. Я вскочил, стал мыться, одеваться. Одновременно оделась и она. Был уже девятый час.

— Ты проголодалась, Николь? Я — очень!

И мы пошли обедать в греческий ресторан "Акрополь", по ту сторону бульвара, в том же расстоянии от нас, что и Бальзар.

Неоновый свет погас. За пять минут до того, я выключил лампочку. Лежу в постели, собираюсь хорошо поспать. Думаю о Николь. Там, у себя, внизу, может быть она уже и заснула. Ведь я уложил ее, одеяло подоткнул, стал на колени, целовал ее всю сквозь одеяло. Потом сел на постель, целовал ее руки, на ночь приготовленные волосы, и перекрестил ее, предварительно пояснив, что по нашим русским понятиям любовнее этого нет ничего на свете. Она закрыла глаза, потом вся затеплилась радостной улыбкой, сказала: "И я тебя; завтра научишь, а теперь..." и таким детски любящим поцелуем меня поцеловала, что я продолжал ощущать его на губах, и хотелось мне от него не то уснуть-умереть, не то в счастье, не выразимом больше ничем, разрыдаться.

Нет, не оставит она меня. Сейчас спокойно усну. Боже, как мила она была в этой греческой кухмистерской! Первый раз в жизни ела шашлык. Чуть я ей второго не заказал, так он ей понравился. Самосское вино больше нюхала, чем пила. Говорила, что и другие вина — вполне возможно — из винограда сделаны, но уж это наверняка. "Из мускатного, знаешь, пахнет им, прямо с ума сойти". Отведав, сказала: "Ой, сладко! Верно они лозу медом поливали". И о пирожном, назвав его "вермишелью в сиропе", столь же критически отозвалась: "Где-ли они такими сластенами были, когда Парфенон на Акрополе воздвигали!"; но упледа его, тем не менее, без остатка, и сироп с блюдца ложечкой подобрала. Я тоже ел с аппетитом,

но: яства плохо распознавал, до того радовала меня неподдельная ее радость. В начале, оглянувшись она боязливо раз или два: как бы не оказалось знакомым одно из окружающих нас, студенческих, большей частью, лиц; но не найдя ни одного, успокоилась, погладила мою руку и всецело отдалась счастью сидеть со мной рядом, быть любимой мною и меня любить. Ведь я же это чувствовал; со стыдом, но и каким счастьем! А вот теперь, вспоминая об этом в постели, плачу, безудержно плачу. Отчего? От счастья? От никогда не испытанного в такой полноте, ее любовью дарованного мне счастья? Или еще от чего-то, о чем думать нельзя, о чем думать боюсь...

Но усталость победила мои слезы. Я уснул и спокойно спал до восьми. Глаза протер, и возымел мысль, от которой сразу же развеселился. Немедленно встал, в быстрейшем темпе совершил свой туалет, спустился вниз, забежал в угловое кафе, распорядился, чтобы мне налили две больших чашки кофе с молоком, прихватил рогулек, и на деревянном подносе все это понес в гостиницу (при которой не было ни кафе, ни ресторана). На лестнице встретил удивленно на меня взглянувшую хозяйку, но с несвойственным мне апломбом тут же смастерил и объяснение. Несу, мол, в 24-ый номер, где живет недавно приехавшая в Париж моя невеста, с которой, в ближайшем будущем, намерен сочетаться законным браком. Тут хозяйкино лицо расцвело любезною улыбкой, она помогла мне донести поднос до двери, поздравила меня, сказав, что нашла с самого начала мою невесту очаровательной, и деликатно исчезла, когда мы подошли к двери и я осторожно постучал. Николь еще лежала в постели. Увидев чашки и меня, она рассмеялась таким младенчески счастливым смехом, что я, от умиления, чуть не уронил поднос. Она мгновенно освободила для него стол, умыла руки и лицо, накинула свою широкую бархатистую безрукавку, мы придвинули стулья к двум сторонам стола и принялись пить кофе, как счастливые молодожены.

Николь рассказала мне, что спала прекрасно и что видела под утро во сне своего брата, Николая, в возрасте, однако, до которого он не дожил, лет двенадцати.

— И был он очень похож на тебя, особенно волосы его были совсем твои и глаза — темно-темно синие. Он ужасно за что-то

сердился на меня, ударил меня ладонью по руке, кричал и плакал, а потом прошенья стал просить, подошел, посмотрел на меня синими своими глазами. Тут я и проснулась, — в недоумении, но счастливая-счастливая, потому что в глазах его была любовь, и это были твои глаза.

Мы сговорились далеко никуда не ходить; посидеть сперва в Люксембургском саду, а потом подняться ко мне, где мы будем рассматривать книги, из тех, что она заметила, впервые войдя ко мне, и я ей расскажу кое-что о том, что живе́й всего занимает меня в истории искусства, а она мне прочтет первые страницы романа Мариво, проторчавшего накануне весь день в моем кармане, чтобы милый голос ее продолжал для меня звучать, когда я без нее буду книгу читать, на ночь, в постели.

Николь надела свой яблочно-зеленый шершавенький шерстяной костюм, придававший, с ее легкими белыми кофточками (под которыми отныне всегда был лифчик) всему ее облику какую-то весеннюю прохладу, и мы уже совсем собрались уходить, когда к ней постучали, что немножко ее встревожило. Но была это дочь хозяйки, Женевьева Марешаль, тщедушная четырнадцатилетняя девочка, с черными глазами и чрезмерно длинными, как и до странности тощими, руками и ногами. Она послана была матерью показать нам, наискосок, в глубине того же коридора, комнату, при которой, в виде исключения, была своя кухонька и своя ванная с уборной. Жильцы ее, молодые супруги и двое детей, доживали там последнюю неделю. Если мы ее одобрим, она с понедельника будет нашей.

Комната была не убрана и загромождена, кроме двух сдвинутых вместе еще двумя детскими кроватями и двумя сундуками, не поместившимися в чулан; была однако просторна, и два высоких ее окна выходили на довольно светлый и опрятный двор, где даже росла старая с едва лишь распускавшимися листочками липа. Никольенька взволновалась, не хотела при Женевьеве говорить, но без слов дала мне понять, что комната ей нравится, и я сказал, что мы сейчас придем поговорить с г-жей Марешаль.

В коридоре Николь мне шепнула, что хоть и хотелось бы ей поскорей уехать из Латинского квартала, но что велик и соблазн

уже с понедельника жить здесь со мной. Она хотела сказать "как жена и муж", но не сказала; прибавила только:

— Придется заплатить за месяц вперед, но за месяц как раз мы себе что-нибудь другое и найдем, ну а этот — и ведь не какой-нибудь, а май — будет наш медовый.

Хозяйка посадила нас рядом на диван в своей гостиной, по нашим лицам увидев, что мы комнату возьмем. Поглядела на нас чуть насмешливо, но только потому, что иначе было бы уж слишком по-матерински, и объяснила, что хотя комната эта и дороже каждой из наших, в отдельности, но намного дешевле обеих вместе. А затем прибавила, совсем дружелюбно улыбнувшись нам:

— Вы мне кажетесь очень подходящей парой. Вот увидите, я вам комнату приведу в наилучший вид. Ну и свидетельства о бракосочетании ждать не буду, хоть и очень вам советую им рано или поздно обзавестись.

Я поцеловал ручку г-же Марешаль и рассказал Николь, по дороге в сад, что, поселившись у нее в гостинице, я ее сперва очень боялся. Страшными находил иссиня-черные ее лохмы, густые брови, узкий нос и сжатый рот. Но перед Рождеством такое случилось у меня безденежье, что я не мог ей внести месячную плату, которую вношу каждое двадцатое число. Спустившись утром с моего чердака, не без запинок объявил, что придется ей подождать две-три недели. "Подожду и месяц" сказала она своим обычным грубоватым голосом, а потом поглядела на меня вовсе не зло и спросила "Что ж это вы на праздниках поститься будете? Хотите я вам денег одолжу"? Денег я не взял, плату через две недели внес, но мнение о г-же Марешаль переменил, да и к дочке ее возымел симпатию. Она присутствовала при разговоре, и в конце его благодарными глазами взглянула на мать. Николь мне напомнила, что и с ней эта мнимая мегера до странности мило обошлась:

— Я ей понравилась, ты ей понравился, и мы вместе ей понравились; это уж совсем редкость. После новоселья мы за нее Богу помолимся в церкви Сен-Северен.

Мы вошли в сад, сели на ту же скамейку, где сидели накануне. Так начался первый из предстоявших нам четырех

самых счастливых и в ее жизни, — почти совсем безоблачно счастливых дней.

Два предыдущих во всех подробностях остались у меня в памяти, а эти слились в одно сплошное, мягкое, неугасимое сияние. Как будто они сотканы были из улыбки, из любви и нежности Николь, из моего все возрастающего восхищения ею, ее "манерой быть", как говорят французы, ее восприимчивостью, чуткостью, тонким умом, самой любовью ее ко мне. Благодатной ангельской — нет у меня других слов для нее — любовью.

Нам теперь каждое утро из углового кафе приносили кофе в ее комнату. Но долго мы там не задерживались: шли в сад, гуляли, обходили весь сад кругом, сидели на той же "нашей" скамейке и на других. Именно тут рассказал я ей о своем прошлом, о женитьбе, о разводе, через пять лет все еще неоформленном относительно меня, хотя жена моя и вступила во второй брак. В общих чертах и о той, чье письмо она видела на моем столе. Имя очень ей понравилось. *Lud-mil-la* задумчиво повторила она несколько раз. Сказала:

— Прелестно звучит, ах, как хорошо! Хотела бы я, чтобы меня так звали. Она блондинка? Да? Гоненькая? Неужели она в самом деле могла полюбить другого? Знаю, как ты ее звал: *Lu-li-la*.

— Почти, — сказал я, — почти. Она мне написала, что не позволит так себя звать другому.

Николь немножко побледнела и умолкла на минуту. Было это — теперь вспоминаю — в четверг. Мы в то утро побывали затем в Музее Ключни, шпалерами любовались, эмалями, резьбой на слоновой кости. Вообще же в оба эти первых дня, сидели больше у меня наверху, куда, однако, Николь, боясь долговязого повстречать, всегда поднималась со мной вместе и покуда я отпирали дверь, пугливо заглядывала в коридор: "Ведь должен и он, если не съехал, жить в такой же мансарде, как твоя".

По вечерам никогда мы не расставались без того, чтобы я, прежде, чем подняться к себе не зашел в ее комнату. И уходил я оттуда только уложив ее в постель, поцеловав, перекрестив. Она

говорила, что долго после этого не засыпала, но не от какого-либо беспокойства, а как раз от счастья и покоя.

— Думаю о тебе, как ты "Жизнь Марианны" читаешь в той постели, куда я к тебе пришла. Вижу тебя. Долго лежу в темноте: радуюсь. Потом тихо засыпаю.

Завтракать и обедать водил я ее в различные недорогие рестораны, в том числе и в наш "Золотой Петушок". Ей там понравилось, и русскую кухню она похвалила. Призналась, однако, что итальянская ей больше по душе — и сама по себе, и по воспоминаниям об Италии. У Поккарди, где мы с ней обедали на следующий день, она мне показала, как ловко умеет наворачивать спегетти на вилку, а ножиком извлекать костный мозг из "оссо буко", пила Вальполичеллу и выбрала на десерт "английский суп". Это было в пятницу — теперь я, кажется, всю хронологию восстановил — после Лувра, где мы провели вторую половину дня, до пяти, после чего пили чай у Кардомá, с тостами и апельсинным вареньем, совсем по-английски.

В субботу мы опять были в Лувре, но утром, после чего завтракали у Вефура, куда с первого дня собирался я ее свести. Уютную ветхость и заштатность этого ресторана она очень оценила, смотрелась в потускневшие зеркала и сказала, когда мы сели за стол, что не прочь была бы здесь превратиться в зрелых лет кокетку, подцепившую где-то молодого кавалера; но тут же шепнула "чушь несу, не слушай" и прочла мне строфу из стихотворения, обращенного к рыжей нишенке, где говорится о некоем нарицательном "Вефуре на перекрестке", а после еды попросила, чтобы я, кроме кофе, заказал бы и две рюмки коньяку. Я удивленно на нее взглянул. Она сказала: "Для храбрости". Я спросил: "Ты боишься меня?" Она кивнула головой.

Осушив свою рюмку, она маленькими глотками выпила кофе, потом откинулась на спинку кресла и стала медленно произносить столь любимые мною стихи второй "Осенней песни";

*J'aime de tes longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté...*

Прочла чудесно — и певуче, и строго, и горячо; я думал, откуда только у юного этого существа такая зрелость чувства, такое

понимание отчаянья; потом, не глядя на меня, взяла мою руку и спросила:

— У нее зеленые глаза?

— Да.

— Ты ее сюда водил?

Нет.

— А стихи к ней применял?

— Нет...

Тут она взяла мою голову обеими руками, повернула лицом к себе, и впервые за все эти дни посмотрела на меня немножко жестко.

— Прости, Николь. Лгу. Не вслух, но применял.

— То-то же. Значит я не зря решила, что это — одно из любимейших твоих стихотворений. *Douce beauté!* Тебе первые три строчки всего дороже, а мне — другая:

Courte tâche. La tombe attend; elle est avide!

— Николетт, что ты! Ради Бога! Как ты можешь?

Подожди. Для чего ж я коньяк пила? Скажи: фотография не при тебе?

— Нет. То есть да. Прости: забыл. Три года, как в бумажнике ношу любительский снимок пятилетней девочки с косичками. В этом ее возрасте я и познакомился с ней; сам был мальчик, но намного старше.

— Если это не слишком тебе больно, покажи.

— Это и тебе не должно быть больно. Вот.

Я вынул из под карточки Национальной библиотеки маленький пожелтевший снимок. Она взяла его у меня. Долго смотрела. Отдавая, поцеловала.

— Раз ты ее любишь, и я ее люблю. Да и нельзя ее не любить. *Elle est mignonne. Elle est adorable.* И осталась на себя похожа?

Я кивнул головой, но горестно взглянул на Николь.

— Я ее пятилетней полюбил; она всегда мне будет дорога; но любви у нас не вышло. Я *тебя* люблю, Николь. Тебя, одну тебя. В полчаса полюбил, в двадцать четыре узнал, что никого родней нет у меня на свете. И не будет. Не мучай себя, Николетт. Не мучай меня. С понедельника мы — жена и муж. И бумажку о разводе я непременно раздобуду.

— Быть с тобой — мое всё. Никаких бумажек не нужно. Но ты? Будет ли тебе хорошо со мной. Если б ты был не ты... А то ведь не прогонишь. Знаю, знаю, знаю, — тут глаза ее наполнились слезами — никогда не прогонишь. Этим-то я и мучусь. Следовало бы тебе без меня уйти из Лувра, а мне остаться там, в рамке, превратившись в племянницу Коро.

Расстроилась Николь, черные мысли ее одолели именно в Лувре, где случились с нами в то утро два несчастья, как будто пустяковые, глядя со стороны; но если не "со стороны" — большие.

Мы стояли перед "Антиопой" Корреджо. Я сказал, что это едва ли не самая сладострастная из всех прославленных классических, для западного искусства, картин. Игра светотени, поза Антиопы, ее чисто-привлекательная красота, не внушающая преклонения, благоговения, возвышающего восторга, — чего не скажешь о лежащих Венерах Джорджоне и Тициана...

Тут Николь перебила меня, у нее вырвалось: "Чем меньше чувства, тем для чувственности лучше", после чего она покраснела, побледнела, отшатнулась от меня, убежала бы может быть. Но я крепко ухватил ее за локоть, и спокойно, хоть и не совсем твердым голосом, стал говорить:

— Да. Но сама чувственность здесь все же — не ощущение или цепь ощущений, а чувство. Она стихийна: захватывает всего человека, все его жизненные силы, а не одну сексуальную механику. Счетчика тут не поставишь. Я знаю только одно столь же или еще более интенсивное выражение этого рода стихийности в искусстве: офорт Рембрандта на ту же тему. Чувственность конечно несовместима ни с евангельской, ни с монашеской, совсем исключаящей ее, любовью, но простая человеческая — наша — никак без нее не может обойтись. Стихия способна вытеснить или раздавить любовь, но в принципе ее не отвергает, дает себя укротить, и укрощенная, совмещается с ней, тем самым и сексуальный механизм в нее вмещая. А там, где он наедине с собой, к одним ощущениям сведен, где его действенность измерению доступна, там отсутствуют и стихия и любовь.

Николь соглашалась со мной, хвалила эти мои мысли, но глубоко была уязвлена выскользнувшей из ее уст цитатой, тотчас

напомнившей мне то, о чем всего меньше мне надлежало вспоминать. Она — это было мне ясно — корила себя за нее. Была озабочена, встревожена. А полчаса спустя глядели мы вдвоем на "Олимпию" Мане, и Николь немножко ожила восхищаясь неувядающей свежестью этого холста, неослабевшим его задором. Я рад был случаю отвлечь ее от ее горьких дум.

— Говорят, — начал я, — когда чудесная эта вещь впервые показана была публике, какой-то изувер хотел ее проткнуть шпагой тростью. Я его отчасти понимаю. Отнял бы у него трость, но его бы не казнил, хоть и увидел он кошунство вероятно всего лишь в отступлении от лживых академических красот. Картина эта истребляет миф, а вместе с ним то религиозное чувство, пусть и языческое, которое еще живет в прекрасной, возвышенно прекрасной наготе у Тициана да и после него, немножко театрално еще у Тьеполо, хотя уже у Корреджо, у самого Тициана (в "Похищении Европы") и позже, у многих других, священность и заменяется стихийностью, а то и вовсе исчезает,

как у Гойи, в его "Махе", не просто обнаженной, но раздетой (тем более, что есть ведь и одетая). Но Маха защищена своей выделенностью, глянцевитой фарфоровостью: она по фактуре менее "живописна", чем всё вокруг нее. Тогда как Олимпия ничем не защищена, кроме собственного жеста и полусидячей позы; да еще совершенною трезвостью взгляда и всего своего облика, как и, пожалуй, той победой плоскости над трехмерностью, которую всегда искал Мане. Восхищаюсь, но скорблю. Многовековое прошлое упразднено. Обнаженная женщина, которой мы любимся, ничуть не более богиня, чем негритянка рядом или подальше кошка с выгнутой спиной! Нагота — не пьедестал. И какой свет, какой цвет! День. Ни малейшего золота. Ни малейшей тайны.

— Кто она была, ты знаешь, его модель? Прелестна и совсем бестревожна, умно бездушна. Впрочем, ведь нельзя ее ни хвалить, ни бранить. а то живопись обидится.

— Ах ты сестричка моя, самая родная. Как ты верно говоришь! Вот мы с тобой подумаем потом, отчего мы старых мастеров *такой* обидой обидеть не боялись. А звали ее Victorine Meirend. Мане случайно заметил ее во "Дворце Правосудия", в толпе. Она согласилась позировать ему. Он много раз ее писал.

Она стала профессионально натурщицей. Пробовала и сама писать. Салонное жюри однажды приняло ее картину. Но покупателя картина не нашла, как и другие ее полотна. Для натурщицы стала к тому времени стара. Пришлось на улицу выйти, прода...

Тут за моей спиной кто-то нарочито кашлянул. Я обернулся. Черноволосый, худой и длинный молодой человек, с прыщами на лбу и на щеках, тотчас отвернулся и большими шагами пошел прочь. Но и Николь его видела, — и его узнала. Схватила меня в ужасе за рукав, "уйдем, уйдем". Мы спустились в нижний этаж и для успокоения долго глядели на обломок фриз Парфенона с панафинейскою процессией.

— Музыка, — сказала Николь, — эти девушки слышат музыку, движутся как музыка. Туда бы нам, к ним! "Все преходящее есть только притча" — ведь так кончается "Фауст"? Или становится притчей... Вот как они, в мраморе, или как повесть о тебе и обо мне, если вложить ее в слова. Но смысл притчи — того приношения или нашей любви — он не прейдет?

— Смыслы бессмертны, но чтоб они ожили, надобны души...

Был уже третий час. Мы последними вышли от Вефура, не задержались в Пале-Рояле, но чуть под аркадами пройдя, оказались сразу же на улице Ришельё. Я хотел вместе с нею посмотреть офорты Рембрандта в Кабинете гравюр Национальной библиотеки; но так как у нее не было пропуска туда мне надлежало сперва повидать его директора, с которым я лично был знаком. Я посадил ее на скамейку в сквере Лувра, а сам пошел в Библиотеку. Директор куда-то отлучился, но идя обратно, я заметил в вестибюле небольшую белую афишу, на которой крупными буквами выделялись слова MISSA SOLEMNIS. Прочитав афишу я узнал, что Горжественная Месса Бетховена будет не просто концертно, а богослужебно исполнена в ближайшее воскресенье — завтра! — певцами, хором и оркестром Венской оперы, в 11 часов утра, в соборе города Бове. Билеты у Дюрана, на площади Мадлен. Господи, — подумал я, — да ведь это для нас! Выбежал, как угорелый, из Библиотеки, чуть не попал под машину, перебегая улицу, но у самого входа в садик остановился. В пяти шагах от меня, черноволосая

стройная девушка редкостной красоты. Николенька, прошептал я, и мне захотелось окаменеть, и чтоб все окаменело, и чтоб я печно видел, в пяти шагах от меня, это ожидающее и любящее меня, живое — словно моей жизнью живое — существо, самое живое для меня из всех живых существ на свете.

Она увидела меня, улыбнулась; я к ней полошел, и лицо ее совсем посветлело, стало радостным, счастливым.

— Ты сияешь, — сказала она, — и я радоваться начинаю, еще ничего не зная. Что случилось? Скажи.

— Директора нет. Придется прийти в другой раз или ждать, — может быть, долго.

— Так что ж тут хорошего?

— Мы сейчас пойдем на площадь Мадлен, покупать билеты. Я не знал. Если б не зашел в Библиотеку, так бы и не узнал. Это — завтра!

— Милый, да тебя прямо в жар бросает, красный стал, и руки, какие горячие! Не знаю, что ты мне скажешь, но я все горести забыла. Чувствую, что радуешься ты за меня и для меня. Милый, мы в любви, мы совсем, совсем в любви...

— Ты слышала когда-нибудь Горжественную Мессу Бетховена?

— Нет. Это кажется в духе Девятой — ее я слышала — и тех же лет?

— Она — чудная; страшная и чудная; небесно-земная. Исполнители из Вены — чего ж еще желать, и знаешь где они ее исполняют? В соборе Бове. Ты о нем имеешь понятие?

— Слабое. Он кажется не достроен?

— Один хор и трансепт, кораблей нет. Епископ хотел всё превзойти прежде всего, по соседству, собор в Амьене. Воздвигли хор — невиданный. Он рухнул. Другой вознесли, покрепче. Вышли все деньги. Продолжать постройку было не на что. Два века — два века! — собирали, копили. В шестнадцатом построили трансепт. Дальше дело не пошло. Но хора выше этого нет. Хор Нотр Дам, вместе с крышей, мог бы приютиться под его сводом. Выразительность готического зодчества першины достигла здесь, как и техника, отвечающая ей. Я в Бове не был. Увидеть это чудо вместе с тобой, вдвойне чудесно будет для меня.

— А не предпочел бы ты в первый раз — один? Значит ты меня и правда...

— А ты этого не знала? И какая странная мысль: "один". Да ведь главное вовсе не в том, что мы, хотя бы и вместе, собор увидим. Главное, это что мы обвенчаемся там. Да! Перед Богом. Он поймет. Он своеволие наше простит. Мы будем молиться. Ты наденешь свое белое платье, станешь ангелом, и ангелы будут петь для нас.

— Милый, Боже мой! Как ты горячо это сказал! Я вся насквозь счастлива этим одним. Только боязно мне. Я нечистая, слабая... И любовь, что ты мне даришь, я от нее совсем схожу с ума. Голову теряю... Пусть все будет по-твоему, раз ты этого хочешь, *ты*.

Мы пошли к Дюрану и купили билеты, — предпоследние оставшиеся у него. В Библиотеку после этого не вернулись, предпочли пойти в другую: Музея декоративных искусств в павильоне Марсан Лувра, где сравнивали снимки и чертежи главных готических соборов, чтобы в точности установить отличия их от Бове. Обедали затем снова у Поккарди, где ей так понравилось в первый раз. Посыпали пармезаном минестроне, как и шафранное ризотто, на сладкое взяли заправленный мараскином фруктовый салат. Николь была не то чтобы весела, скажу скорей: благочестиво радостна. А я подумал, когда "мачедонию" нам заказывал, что ведь и в голову мне прийти не могло спросить для себя что-нибудь другое, чем для нее. На минуту мне стало страшно за нас. Испугался счастья.

До возвращения в гостиницу мы зашли в угловое кафе, смотрели расписание поездов, узнали, что есть поезд, прибывающий в Бове в половине одиннадцатого, и попросили принести нам утренний кофе на полчаса раньше. Как в предыдущие вечера, я зашел к Николь, прежде чем подниматься к себе, но недолго пробыл у нее. Спросил, обнимая: "Сегодня еще нельзя?" и она смущенно шепнула: "Нет еще". Мы долгим поцелуем поцеловались, я сказал: "Так и лучше. Завтра. После свадьбы". Еще раз ее поцеловал и поднялся к себе. Разделся, лег, взял книгу, но читать не мог: ощущал себя не собой, а слегка подросшим братцем Николь, и так сладко заснул, как если б она

сидела возле меня, говорила мне милые слова и гладила мои волосы.

Утром, когда я к ней вошел, кофейный поднос стоял уже на столе, но я тотчас о нем забыл, все на свете забыл, когда она появилась из-за ширмы в белом своем платье. Оно ей доходило почти до пят, в складочку было кое-где и с пояском, очень изящного в своей простоте покроя, из тонкой шерсти вроде кашмира и того же тона — немного теплей слоновой кости — кикого бывают кашмировые шали, но белое сплошь, безо всяких цветных прикрас. В свадебное превратить его было бы очень нетрудно, да и без того была в нем Николь невестой, — не моей или не просто моей, а кого-то, кто будучи мною, был бы чише, умней, добрей, неизмеримо ближе к Богу, чем я. Опустившись перед ней на колени, я целовал ее платье и руки. Спросил, встав на ноги, хорошо ли она спала. Она сказала: "Как дитя в люльке, если б ты ее качал". Прибавила вполголоса: "И сегодня я совсем здорова". Щеки ее быть может поэтому, и в самом деле были розовой, глаза теплились мягче и теплей, чем накануне. Мы пили остывшее кофе, не замечая его вкуса, ели рогульки, не зная, что мы едим.

Потом накинула она свой синечерный плаш "чтоб не запачкать платье в вагоне" и мы вышли, хотели спуститься вниз, но на площадке лестницы встретили г-жу Марешаль, которая воскликнула: "Mais comme vous voici beaux tous les deux!" и спросила, куда мы так рано уходим. Я объяснил. Она сказала: "Понимаю: это вроде свадебного путешествия", и узнав, когда идет поезд, объявила, что времени еще много, что она вызовет нам такси; а пока предложила показать нам комнату, куда мы завтра переедем:

— Можно было бы и сегодня, да главного нет; матрац и пофяк для новой кровати принесут лишь завтра утром.

Она отворила дверь. Комнату было не узнать. Ее успели побелить, на окнах красовались новые светлые занавески. Ванная и кухня блистали чистотой. Почти вся мебель была новая. Прежние сдвинутые кровати были заменены широкою одной, чей остов, светлого дерева, первый бросился нам в глаза при входе. Была полка для моих книг и, кроме обеденного стола, другой, письменный. Была шифоньерка с большим зеркалом

над ней дня — Николь, которая обняла г-жу Марешаль и горячо ее благодарила. Тут появилась в дверях и Женевьева, воскликнувшая, глядя на Николь:

— О, Мадмуазель, снимите на минуту ваш плащ, — и когда Николь его сняла, обратилась к матери, — мама, скажи, блаженные души, что на небесах, они такие?

Мать ничего ей не ответила, только погладила по голове. Был вызван такси, мы сели и поехали, как во сне, ничего не говоря. Ехали добрых полчаса, времени не замечая. Все я только любовался ею, гладил ее руки. Билеты взял первого класса. Вагон был почти пуст. Мы сидели друг против друга, глядели друг на друга, если о чем говорили, то не о Бетховене и не о соборе, а о комнате, куда мы завтра переедем и где будем жить, любя друг друга, любя, всегда любя.

Прибыв через час в Бове, отправились прямо в собор, и тут один уже наружный вид его взбудоражил нас и оторвал от прежних мыслей. Как только увидела Николь эту над двухэтажными домами вздымавшуюся высь, эти кажущиеся хрупкими в узости своей контрфорсы, легко взлетающие худощавые аркбутаны, островерхие окна неимоверной высоты, она в священном ужасе воскликнула:

— Боже мой, как они верили, любили, как они сами себя в небо вознесли! Войдем, хоть мне и страшно: в Бога входим.

Я толкнул тяжелую дверь. Тут уж совсем она не знала, что делать со своим восторгом.

— Чудо, чудо, — шептала держа меня за руку, — стен-то ведь вовсе и нет. Но мир, тот, где мы живем каждый день, все-таки исчез. Стекла, хоть цветных и не много, все равно не прозрачны. Каменной или стеклянной стрелой все улетает ввысь. Мы — в царствии небесном, или мы туда летим. И то и другое одинаково верно. Все преходящее даже не притча, — просто его нет: прошло. Если мы тут с тобой были бы и одни, мы не решились бы обняться, — или только, чтоб к Богу лететь, чтобы в Боге быть вдвоем. Но народу — тьма. И оркестр, хор... Солисты уже стоят у дирижерского пульта. Где наши места? Скажи.

Тут она обернулась, и закрыла себе рот рукой, чтобы не закричать. Схватила меня за локоть:

Стена! Стена! Не могу поверить в эту стену! Огромный тройной корабль кричит в небытии, чтоб мы помогли ему быть! Милый, мне жутко. Не отходи. Уже настраивают инструменты. Сейчас начнут. Где же наши места?

Они оказались у самой стены, в последнем ряду, посредине, против алтаря и среднего апсидного окна. Два соломенных стула; все остальные были уже заняты. Мы сели. Николь оглянулась и попросила меня положить ей руку на спину — "поки не привыкну".

Началась служба. Затем взмахнул палочкой сухошавый подтянутый дирижер, и влилась в литургию звуковая Бетховенская литургия. Николь слушала ее с таким волнением, что через десять минут встала (ведь за нами никого не было) и продолжала потом стоять в белом своем платье — плащ упал на стул — светящаяся, стройная, строгая, словно и взаправду нечеловеческая. Вслед за ней встал и я, стоял рядом, выше ведь был, но чувствовал ее и со мной и надо мною. Когда начался *Benedictus*, она заплакала, шепча: "Милый, мы в раю", на что я шепнул в ответ: "Николь, ты моя жена". Чувствовал: мы срослись в одно, уже не нуждаясь ни в каком прикосновении друг ко другу. Но как только возникла в низах и взвилась рыдательно-скорбная, безутешно-певучая первая тема *Agnus Dei*, Николь села, как и я, и едва сдерживая всхлипыванья, зашептала: "Он обезумел, Бетховен, слышишь? Вернулся на землю. Это обо мне, о нас". И слезы, пока музыка длилась, стояли у нее в глазах.

Когда все умолкло и все ушли, мы остались сидеть на наших местах, глядеть вверх и вперед, впитывать в себя казавшееся нам теперь трагическим безмерное величие собора. Я рассказал ей, что впервые слышал Горжественную Мессу незадолго до отъезда из России, и что уже тогда меня глубже всего поразило это возвращение причастной блаженству души на землю, ко всем горестям земным, ко всей, пусть певучей, но и музыкой мучающей муке.

Ты всегда, — сказал я, — и во всем чувствуешь как я. Мы всегда и смеяться и плакать будем вместе. И теперь мы на земле, Николь, но мы и тут — муж и жена. Помни. Аминь.

Она только взглянула на меня своим душу отворяющим взглядом. Слов у нас больше не было. Мы последними вышли из

собора, чьи двери тяжело сомкнулись, выпустив нас. Не могли решиться сразу пойти завтракать. Молча бродили по быстро опустевшим улицам. Успели зайти в "старый собор"; скромную до-готическую и даже до-романскую церковь, простейшую базилику, с пилястрами вместо колонн. Никого там не было. Я обнял Николь перед алтарем и мы постояли с ней несколько минут обнявшись.

— Хорошо нам тут, — сказала она, — в простоте, в тишине, а все же у Бога. Искусство — страшная вещь. Без него как же и жить? А с ним — не легко. Оно обнажает все тайны.

Затворяли двери и здесь. Мы нашли поблизости скромный, но чистенький ресторанчик. Появление там Николь в ее белом платье, с белым кружевным платком на голове, столь явным образом привлекло к себе внимание, что она сняла с головы платок, а снятый было плащ снова накинула на плечи. Мы, впрочем, скоро перестали замечать взгляды, обращенные на нас, только в глаза друг другу и глядели. Принялись охотно за еду, запиваемую кисловатым винцом, которое мы нашли веселеньким. Не спешили. Когда нам подали десерт, в зале оставались заняты, кроме нашего, лишь три столика. Хозяин, сам принимавший заказы, ко мне подошел и вполголоса спросил, не новобрачные ли мы. Я утвердительно кивнул головой. Тогда он попросил разрешения угостить нас шампанским, сказав, что подаст его и всем присутствующим, чтоб они могли поздравить нас. Николь испуганно на меня взглянула, но я согласился. Всем подали бокалы, куда хозяин налил шипучего вина; налил и себе, первый подошел нас поздравить; после чего все другие — трое женщин, пятеро мужчин — по очереди к нам подходили и нас поздравляли. Последним подошел высокий седокудрый старик, похлопал меня по плечу, а поклонившись Николь, как бы небо призвал в свидетели вымолвив: *elle est bien belle, la jeune mariée!* Допив наши бокалы, учтиво со всеми раскланялись и вышли, думая снова пойти в собор. Но был он все еще заперт, должен был открыться лишь в четыре, когда отходил и наш парижский поезд. Без нетерпенья мы его дождались, заказав себе кофе в вокзальном буфете. Волнение наше улеглось. Мы были бы счастливы, даже сидя целый день в пустом сарае.

Ничем не омрачилось счастье наше и в поезде, где было теперь больше народу, чем утром. Мы сидели рядом, как в соборе, и я, как в соборе, больше в профиль ее видел, любовался четким очертанием ее продолговатого, нежного, но и строгого, без малейшей одутловатости или рыхлости, лица.

Час прошел быстро. В Париже мы скромно сели в автобус и досхали до площади Сен-Мишель, откуда пешком стали подыматься к себе по левой стороне показавшегося мне очень шумным после улиц Бове бульвара.

Возле решетки сада Клюни я немножко отстал от Николь, подавая милостыню нищему, но уже почти совсем ее нагнал и собрался взять ее под руку, когда заметил толстоногого и густоволосого, плотного человека моего роста и моих лет, спускавшегося по тому же тротуару нам навстречу, и во все глаза живые серые глаза — и весело и нагло глядевшего на Николь. Так раз когда я взял ее под руку и понял, кто он, поравнялся он с ними, весьма отчетливо ей подмигнул, столь же отчетливо произнес "триго, триго, триго" и миновал нас, не замедляя шага.

Дернувшись назад, я вырвал руку из-под руки Николь, хотел схватить за ним, схватить его за горло, бросить на землю, убить. Но она обеими руками с такой силой уцепилась за меня и так смертельно при этом побледнела, что я взял ее снова под руку и погнался в прежнем направлении.

Ради Бога, — шептала она, — ради Господа Бога. Я слышу, как бьется твое сердце. Остановимся на углу. Зайдем в быстро. Выпей воды...

Я помотал головой, но остановился. Молчал, держа ее под руку. Не только не мог говорить, но и все мысли во мне были приглушены каким-то внутренним стоном или ревом.

Постояли. Пошли. Пришли. Взяли внизу оба ключа. Дойдя до второго этажа, я начал было подниматься выше; но Николь с любовью взглянула на меня; я завернул в коридор и мы вошли в ее комнату. Я сел на стул. Николь, не снимая плаща, опустилась рядом со мною на табуретик. Заглянула мне в глаза, сказала "это и ты и не ты, боюсь", положила мне голову на колени и умолкла.

Через минуту я начал говорить голосом, который мне самому показался не моим:

Отчего ты мне помешала убить его? Не отвечай, ты

права. Вышла бы глупая драка. И еще неизвестно, кто кого. Ничего не было у меня под рукой; если б нож, в горло ему всадил бы я этот нож. Зверство. И чушь. Он — симпатяга. Ты права. И он прав. Почти. Но зачем, зачем ты меня...

— Нельзя было, милый. Ты бы сам себе не простил. А я! Из-за меня... Что ты? Что ты? Господи, как ты смотришь на меня! Милый, прости! Не сердись, не сердись... Я — Клэр Сеннегон...

Я встал, отошел, прислонился спиной к комоду, на котором все стоял, в кожаной раме, портрет ее матери, и тем же не своим голосом. мертвым гнусным голосом, равнодушным голосом сказал:

— Нет, ты не Клэр Сеннегон.

Николь вскочила и скрылась за ширмой. Послышалось быстрое шуршанье, потом другое, не того звука. За ширмой взвилось что-то светлое, наполовину за нее перекинулось, повисло.

Ее платье.

Гут что-то во мне оборвалось. Я бросился на колени перед ширмой, в пол ударился лбом, и жалобно — уже своим голосом, своим — стал повторять:

— Николь, прости. Я гадок, я сам себе гадок. Николь, прости. Я тебя обидел. Я с ума сошел. Николь, прости.

С минуту — ничего. Ни звука. Ничего. Но вот она со мной, в синем своем плаще. На коленях, как я. Поднимает меня. Прижимает мою голову к груди, гладит, целует... Нежно, любовно, хоть и как-то не совсем по-прежнему. Говорит, сама говорит, но не всею собой.

— За что ты просишь? Всякий на твоём месте, после того, что случилось на бульваре, прогнал бы меня или, по крайней мере, прибил. И какая же я Клэр Сеннегон? Разве я не знаю?

— Ради Бога, вот этого, этого не говори. Язык бы мне вырвать за то, что я эту мерзость сказал. Без смысла. В тупой злобе. Ничего я о ней не знаю. Ее нет, совсем нет ее рядом с тобой. Ты мне Богом дана. В Боге, в соборе дана. Ты — ангел, мне посланный. Моя любовь. Моя жена. Зачем ты сняла белое платье?

— Милый, если ты захочешь, я опять его надену завтра. Не запачкалось, ни единого пятнышка на нем. А сейчас я с ширмы

то сниму, повешу в шкаф; надену тот синенький, в полоску, костюм, в котором пришла к тебе шесть дней назад. Ведь я *в нем* тебе понравилась? Или какой хочешь другой.

Que tu es douce, Nicole! Que tu es douce... Если б я только мог сейчас тебя увезти далеко, в другую страну. В Италию. Не могу. Денег нет. Но переехать мы должны отсюда, и как можно скорей.

А как же комната? Госпожа Марешаль так старалась. Кровать нам новую купила. Почему-то любит нас. И девочка ее...

Но что ж нам делать? Ведь тут, в Латинском квартале...

Слишком многие меня знают? О да! О да! Ничего. Я спрячусь. Буду сидеть дома. Ты придешь из Библиотеки или Музея, а я тут. Жду тебя. Твоя. Так ведь, так? Ну, — не вечно. Месяц проживем, найдем другое...

Я поцеловал ее. Мы сидели рядом на кровати. Я раздвинул черносинее ее одеянье; оно упало на постель. Я стал целовать ее плечи. Расстегнул лифчик... Она тихо сказала:

Лучше не надо. Ну поцелуй другую, чтобы ей обидно не было. А больше не надо. Милый, не надо. А то будет, как тогда, после Гюильри. Возжаждали мы друг друга, обнялись, слились, и ведь в любви, в любви. Но в ней, внутри нее, внутри объятия, ты вспомнил, мы вспомнили оба, то самое, о чем тот посмел сейчас на бульваре... Милый, видишь, ты вздрогнул, ты метельгаешь лифчик. Так лучше. Сегодня не надо. И на ночь ты уйдешь к себе. Отложим до завтра. Там, на брачном ложе, в новом жилье, так я тебя обниму, так мы сольемся в одно, что думать сождем, что исчезнет весь мир, что нас самих, прежних, уже не будет. Прощай, Николь! Прощай, прощай Николетт!

Прощай? Кольнуло меня что-то внутри; глаза мои наполнились слезами. Николь их целовала. Потом сказала:

Я оденусь, а ты пойдй к зеркалу, погляди на мамин портрет.

Взял я его в руки, как в первый вечер, подумал: если б она была жива, полюбил бы я ее больше, чем родную мать. Если бы... Если бы... Вот и Николь в тогдашнем своем темно-синем костюме.

— Ну посмотримся, — сказал я, — и обнял ее за талию.

— Странно, — сказала она, — мы стали похожи друг на друга.

— Потому что оба грустные, любовь моя.

Она улыбнулась, но негрустно улыбнуться не смогла. А нам обоим, осознать эту грусть, значило прийти в отчаяние. Что ж, опять пойти к Бальзару, опять в синемашку... Посмотрим, что там дают.

Мы подошли к окну, выходившему туда же, куда и мое, но здесь мы были почти на уровне афиш, с наклейкой о том, что ввиду успеха старая программа еще на неделю продлена.

— Все равно, — сказала Николь, — не могли бы мы после Бетховенской мессы; хоть и живем не в предпоследней уже ее части, а в последней. Но и последняя, скорбная, Боже мой, как и она недостижимо высока! Одно дело собор, другое — бульвар. Ведь и нас наши души священник в небо возносил. Мы были в небе или небо — в нас. И невеста твоя была в белом платье. И в нем же была на брачном пиру с тобой.

— Николь! Николь!

— Но ты и там, напротив, вон там, дал мне уже такое счастье, за которое вполне подобает и жизнью заплатить. Все понял. Все простил. Повел туда молодую потаскушку, но уже знающую о том, чего иные захотели бы от нее...

Я отошел от окна. — Ради Бога, Николь, разве я потаскушку в тебе увидел, когда ты постучала ко мне наверху? Я узнал тебя, тебя...

— Хоть я к тебе и явилась насурмленной Ариадной. Так. Но вот и представь себе, представь, что было бы, если б я тогда не в 56-ой, а в 57-ой, 53-ий номер постучала. Так бы все и ходила по рукам. Ну там отдохнула бы пять дней; завтра снова бы начала. Нет я не...

Я сел на стул у стола, положил локти на стол, закрыл лицо руками.

Она подошла. Погладила мои волосы.

— Мучаю тебя с горя. Кончено! Нет у нас горя! Завтра все будет по-другому. Платье мое белое надену, сиять буду, и ты со мной. Никто не отнимет, ни тебя у меня, ни меня у тебя. И знаешь, начнем уже сейчас. Никуда не пойдем: тут пообедаем;

идвоем, как муж и жена. Будь такой милый, сходи, купи чего-нибудь в "Эльзасской таверне", против нашей улицы, на той стороне бульвара; а я пойду к мадам Марешаль, попрошу у нее салфеток и посуды.

Она дала мне корзинку, вроде русской, с которыми ходят по грибы, и я пошел; ее мысль мне понравилась.

Когда вернулся, стол был по всем правилам накрыт, даже и с глубокими тарелками, что меня совсем уж удивило.

— Не понимаю, — сказала Николь, — чем мы хозяйке угодили, но души она в нас не чает. Сама все принесла, да еще и объявила: "нельзя же в сухомятку". Сейчас нам ее дочь супу принесет.

И в самом деле, она постучала, застенчиво взглянула на меня, любовно на Николь, поставила на стол небольшую миску, пожелала нам приятного аппетита, и прежде чем уйти, с каким-то робким восхищением взглянула еще раз на Николь, и на меня.

Мы сели обедать. Николь разлила суп. Очень оказались кстати два купленных мною слоеных пирожка. Потом мы ели холодное телячье жаркое с картофельным салатом и яблочный пирог. Николь нашла его не хуже, чем у Бальзара, "только вот сахаром не посыпан, не сцелуешь ты его как тогда, с моих губ". Я принес полбутылки "романей" — *Vosne-Romanée* — есть такое ароматное бургундское. Она пила его маленькими глотками и прежде, чем отпить, нюхала, искоса поглядывая, доволен ли я этим. Как в "Акрополе"... Я был счастлив видеть, как она это делает, как хозяйничает, меня угощает; как играет в счастливую Николь; но и слезы были все время готовы мне навернуться на глаза. Я не знал почему, но я знал, что Николь чувствует точно то же, хоть и не показывает вида.

Когда мы встали из-за стола, она вымыла посуду, положила ее в свою корзину и отнесла вниз к г-же Марешаль. Вернувшись, сказала:

— Женевьева удивительна. Когда я вошла и стала вынимать посуду из корзины, она обратилась к матери: "Скажи, мама, могу я попросить у мадемуазель разрешения ее поцеловать?" — не успела мать ответить или я улыбнуться, как она подошла, взяла мою руку, бережно, благоговейно ее поцеловала, и лишь

потом подняла голову, чтоб я ее поцеловала. Это бедное дитя полно какого-то непонятного мне чувства ко мне, да, кажется, и к тебе.

— И я это замечаю. Немножко страшно от этого становится. Но одно мне ясно: для таких сердец и Христос вочеловечился, вот как у Ван дер Гуса, на подстилочке соломенной лежал. За них и распят был... Мне и мать ее кажется существом незаурядным.

Николь отворила окно, чтобы супом не пахло в комнате. Неоновые трубки напротив вспыхнули и зажглись. — "Какое чудо, — сказала она, — случилось там, в тот вечер, с одной нечистой, но и неопытной все же девочкой"...

— И с одним взрослым олухом, — прибавил я.

Она затворила окно, света не зажигая: неон ее комнату освещал куда светлее, чем мою.

— Ты ко мне завтра пораньше приходи, — усышал я, — до кофе, до восьми. А теперь со мной долго не оставайся. Мы оба устали, ну и — она тепло на меня взглянула, — искушений нужно избегать.

Удобно посидеть было негде. Мы сдвинули два стула, прислонили их спинками к столу и сели рядом. Не смотрели почему-то друг на друга, только руки наши все время соприкасались, то на ее коленях, то на моих.

Она попросила еще раз объяснить ей связь между готической архитектурой и возношением гостии священником; и я ей ответил, что не все относящиеся сюда тексты должным образом изучены, но что к моменту возникновения готики, на королевских землях, вокруг Парижа, стала все чаще высказываться потребность верующих *видеть* гостию в момент возношения ее священником, которое есть ведь и свидетельство о совершившемся пресуществлении даров. В романских храмах, хор бывал нередко плохо освещен; не было, во всяком случае, заботы о его максимальной освещенности. Лишь готическая система форм словно для того и создана была, чтобы ее достигнуть. А кроме того сами стрельчатые арки, своды, завершения окон как бы подражают жесту священника, поднимающего обеими руками гостию к небесам. Греки до-сократовские — сказали бы, что архитектура эта — мимесис,

инценировка того священного акта, в силу которого хлеб и вино становятся телом и кровию Христа.

— Господи, — сказала Николь, — как хорошо! Мы с тобой сегодня причастны были этому чуду.

— Тем более, что совершилось в нас и чудо нашей любви. Когда любящие любят, во всей силе этого слова, они любят в небесах; пресуществляется само слияние их тел. И тела эти могут истлеть, а любовь останется нетленной.

— Могут истлеть, могут истлеть, — горячо зашептала Николь, прижалась ко мне, сжала руками мою руку. Другой я обнял ее за плечи, она щеку приложила к моей щеке, и так мы сидели, молча, не знаю сколько времени. Кажется, очень долго.

Неон, освещавший комнату, еще, однако, не погас, когда она сказала:

— Ну, расстанемся теперь. Иди отдыхать. Завтра придешь рано. Еще только минуту подожди. Сказать тебе что-то хочу. Не знаю, заметил ли ты. Можно было вполне и не заметить. Что я люблю тебя, ты знаешь, но я ведь еще ни разу тебе не сказала этих слов. Мама меня учила: "Влюбишься, — целуй; отдайся, если полюбишь; но не спеши говорить "я тебя люблю". Выше этих слов, если святые молитвы исключить, нет ничего на земле. Говелу отцу, знаешь когда я их сказала? Ни перед свадьбой, ни после, ни когда братца твоего зачала. Через два месяца после его смерти, когда мы с твоим отцом, плача, вновь обнялись. Ты родилась из этих слов. Мы вошли в спальню. Я подошла к нему, скрестив руки на груди: Жером, я тебя люблю. Он понял. Твой отец был очень умен, Николь." Вот и мы теперь. Ты мне ничего не говори: я знаю, что ты меня любишь. А я....

Она соскользнула со стула, стала на колени. Я тотчас сделал то же, стоял на коленях против нее. Она помолчала, потом сказала совсем тихо, но со страшной силой:

— Nicolas, я тебя люблю.

Я онемел. Обнял ее. Мы встали. Еще раз обнялись, поцеловались. Она подтолкнула меня к двери; я вышел, так ничего и не сказав.

Медленно шел я к себе наверх, — тяжелыми шагами. Мелькнула мысль: если б спускался, было бы не так. Хаос был во мне, но и пылало пламя такой чистой, ни о чем не помнящей

любви, что сгорала в нем любая мысль. На площадке третьего этажа остановился, постоял, еще медленнее на четвертый поднялся. Тут шмыгнула мимо какая-то юркая тощая тень, обернулась на секунду. Я опознал того, кто накануне, в Лувре, кашлянул за моей спиной. Что-то в мозгу моем переместилось. Я ускорил шаг. Значит он еще тут; на моем этаже и живет; как бы не насплетничал хозяйке о прошлом Николь. Он ведь с улицы ее привел. С улицы, с улицы... Ведь полгода. Сколько их было... Николенька, радость моя! Нет, нет, нет, нет...

Отпираю дверь. Гот же неон и тут мне светит, только слабей. Что она делает теперь? Умывается, ложится. Осталась со своими мыслями, предоставив меня моим. Так захотела. Но я, зачем я послушался ее? Я. Гот самый, кто ей сказал "ты — не Клэр Сеннегон". Я это сказал, я! Моей самой, самой, самой дорогой, Николеньке нежненькой моей. Шлюхой ее назвал. Чем она виновата? Тем, что правдиво мне рассказала о всего сильней оскорбившем ее, о предельном — потому что рассудочно-холодном — издевательстве над тайной и над таинством любви. Оловянный хлеб, керосиновое вино. Причастие по секундомеру, экспериментом выверенное и обеспеченное блаженство. *Nes plus ultra* физиологического наслаждения. Если, мол, этому сподобились, чего ж вам хотеть? "Грицать минут — десять франков". Даже и куда, куда меньше требуется минут. А мы-то с ней — с той же с ней — дары возносили, Бога друг в друге любили... Боже мой! А она, сейчас, не об этом ли самом думает? И я оставил ее мучиться одну...

Давно уже, вымывшись и раздевшись, я лежал в постели. Давным давно потух неон. Я вскочил, зажег свет, подошел к дверям. Но ведь она устала. Мы расстались в любви. Она знает, что я ее люблю. Она спит. Если разбужу ее, тут-то ее и расстрою. Вернулся в постель. Лег. Завтра, — стал себе для успокоения твердить, — будем устраиваться в новой комнате. Это переменит нам мысли. Куплю цветов. Вазы нет. Куплю вазу. Две вазы. Деньги еще есть и скоро получу. О, если б их было больше. Увез бы ее в Италию. Все было бы забыто. Все спасено. Вообразил ее и себя в Риме. Стоим невдалеке от арки Константина, под одной из тех чудесных римских сосен — о, как она бы их любила! — уличный фотограф нас снимает. Небо над

сосной дивной глубины. Глубже, глубже... Темнеет. Мы в катакомбах. Долго идем под землей одни, каждый со свечой в руке. Колеблется зыбкое пламя. Мы заблудились. Свечи погасли. Но вот светлеет вдали. Крипта св. Цецилии? Ускоряю шаг. Но я один; со мной — никого. Вот она лежит, вся покрытая саваном, как ее нашли, как ее в мраморе изваял Мадерно. Я к ней. Это Николь в ее белом платье, но покрывающем ей и лицо. Я протягиваю руку, чтобы снять его с лица. Оно тяжелое, ледяное... Кричу нечеловечьим голосом. От этого крика просыпаюсь.

Пятый час. Еще совсем темно. Меня всего трясет от безумного страха за Николь. Встаю. Ищу ночные туфли. Накидываю непромокашку на пиджаму; халата у меня нет. Бесшумно отпираю дверь. Спускаюсь по неосвещенной лестнице, держась за перила, на второй этаж. Прохожу мимо комнаты, из которой раздается энергичный мужской храп. Вот дверь Николь. Прикладываю к ней ухо. Тишина. Пробую осторожно отворить. Дверь заперта. Света под ней нет. Сердце колотится. Слушаю. Жду. Ни звука, кроме храпа по соседству. Постучать? Испугаю. Наведу ее на мысли, которых быть может у нее и нет. Постоял еще, напрягая слух. Повернись она в постели, я бы услышал. Отошел от двери. Поднялся к себе. Лег; но и не мечтал заснуть. Волновался все больше. Пять часов. Половина шестого. Стало светать. Шесть. Лежу и жду, как приговоренный перед казнью. Половина седьмого. Стал одеваться, мыться, бриться, стараясь все делать как можно медленней. В семь, однако, был готов. Вышел. Запер дверь. Ключ положил в карман. Спустился. В ее коридоре — тот же храп. Послушал у двери. Ничего. Едва дыша, постучал. Боже мой! Николенькин голос. Но какой-то не тот: слабый, глухой.

— Дверь заперта. Подожди минутку. Сейчас отворю.

Слышу, встала с постели. Отдергивает занавески окна. Перестаю слышать. Наливает воду в стакан. Ставит стакан, — легкий звон о мрамор ночного столика.

— Милый, еще минутку. Сейчас отворю.

Что это? Делает постель? Больше не слушаю. Сейчас подойдет к двери.

— Отпираю. Но погоди, не входи. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Войди. Можно. Входи.

В комнате светло. Постель сделана. Она лежит на белом одеяле в белом своем платье. Ужасно бледная. Цвета наволочки. Белей чем платье.

— Придвинь стул. Садись. Нет. Сперва поцелуй, — в губы. Скажи "люблю".

— Люблю. — Я сказал это в поцелуе, и она в поцелуе мне ответила:

— Люблю. — Взглянула темно-золотым, теплым, горячим своим взглядом. Шепнула: "сядь". Холодной рукой взяла мою руку.

— Теперь слушай. Будь разумен. Удержись. Не двигайся. Я сейчас умру. Десять минут. Яд.

Я вскочил, взял со столика стакан. Залпом выпил. Она посмотрела на меня нежно-нежно. Улыбнулась любовно. Стала совсем прежняя.

— Это — вода. Я запивала капсулю. Она из особого вещества; растворяется не сразу; а то я была бы уже мертва. Я недаром дочь аптекаря. Прихватила две, в Шамбери, перед отъездом.

— Где вторая?

— Полчаса назад выбросила в уборную, спустила воду.

— Бегу за врачом.

— Ты не застанешь меня в живых. Цианистый калий. Противоядия нет.

— Ты хочешь, чтоб я утопился, бросился под поезд?

— Я хочу, чтоб ты жил и чтоб моя любовь жила с тобой. Она тебя сохранит. Ты будешь жить долго. Lu-li-la к тебе вернется. Моя любовь и ее любит, и ее будет хранить. Скажи Женеьеве и ее матери, что я их люблю и благодарю за любовь. Возьми портрет мамы и книгу о Ван дер Гусе. Все остальное отдай Женеьеве. Деньги на погребение — в книге. Похорони меня в этом платье. Аптекаря не извещай.

— Николь, я без тебя не. Николь, остань.

— Моя любовь от тебя не отойдет. Я пришла к тебе, и ты мне дал такое неизмеримое, негаданное, незаслуженное счастье, что больше оно всей жизни, которую мне оставалось бы

прожить. А совместная наша жизнь была бы отравлена шестью месяцами прожитыми мною до тебя, — хоть я им и благодарна за то, что они привели меня к тебе. Если б я скрыла от тебя или затуманила их гнусность, мы вероятно могли бы остаться оба в живых, но тогда любовь моя была бы не полна. А теперь, ни Божия Матерь, ни Спаситель, хоть и самовольно я ушла, не упрекнул меня в том, что я тебя любила и не долюбила.

— Николенька, счастье мое, голубка моя, любовь моя...

— Кончаюсь. Люблю. Твоя.

Я бросился к ней, обнял, приподнял ее всю над постелью, прижал к ее губам мои губы, широко положил ладони ей на спину и прижал ее всю к себе.

— Вот так, — сказала она. — Вот так.

Судорога прошла по ее телу и выгнула ее всю в молниеносной страшной муке. Я выпустил ее из рук. Глаза ее закатились. Голова упала на подушку. Она больше не дышала. Я закрыл ей глаза, стал на колени у постели, взял ее руку, целовал, целовал...

Когда рука совсем похолодела, я поднялся. Еще не было восьми. Через полчаса принесут кофе. Она лежала, как живая. Я поправил складки ее платья. Поцеловал ее холодные веки. Отошел, взглянул. Она была небесно хороша. Если б я в ту минуту подумал о могиле, о тлении, я кажется, умер бы на месте. Должно быть ее любовь и впрямь хранила меня. Не мертвое ее тело: ее душа — в белом платье — лежала на постели.

Я вышел; запер дверь. Спустился, вышел на улицу, зашел в угловое кафе, сказал, чтобы нам не приносили кофе. Вернулся в гостиницу, сказал портье, что хотел бы видеть г-жу Марешаль. Но та уже стояла в дверях своей гостиной. Поглядев на меня, всплеснула руками. Я открыл рот, чтобы сказать "умерла", но из двери спальни выбежала Женевьева, подбежала ко мне, обхватила меня поверх моих рук длинными своими руками, прижалась лицом к моей груди.

— Maman, maman, il est fou de douleur. Ne lui demande rien. Montons. Allons la voir.

Мы поднялись. Я вынул ключ, отворил дверь. Первая вошла Женевьева, подошла к постели, стала на колени. То же сделала ее мать, а за ней и я. Они молились. Я — нет. Не знал, о чем.

Наконец мы все встали и г-жа Марешаль спросила, что случилось. Я сказал, что все расскажу, но если можно, не при девочке. Женевьева, не отрывая глаз от Николь, сказала:

— Я не буду слушать. Скажите только, мсье, она хотела умереть? Да? Я так и думала: она была слишком хороша для нас. Я останусь с ней. Мама, иди вниз, пусть мсье тебе расскажет.

Мы повиновались. Внизу я вкратце рассказал о прошлом Николь, о ее жизни в Париже, передал, ничего не забыв, ее предсмертные распоряжения. Г-жа Марешаль горько плакала, и меня жалея, и Николь. Сказала, что с погребением будут трудности, что она, при помощи знакомого священника и старого друга, врача, попытается их уладить. "Мне на вас больно смотреть, мсье, — сказала она. Не беспокойтесь ни о чем. Я полюбила ее. Я все устрою."

Поблагодарив ее, я снова отправился наверх. Состояние мое было таково, что я миновал дверь в комнату Николь и пошел дальше в глубь коридора. Одна дверь, на другой его стороне, была приоткрыта. Я приближался к ней, как вдруг из нее выскользнула тшедушная фигурка, захлопнула ее спиной и вытянула вперед руки как бы желая оттолкнуть уже совсем подходившего к двери меня.

— Мсье, — сказала она твердо, — вам сюда нельзя.

Секунды не прошло, я понял. Обнял ее, приподнял, хотелось мне прижать ее крепко к себе. Но она не далась, подняла только глаза, огромные черные глаза — когда они глядели вверх, они выпяченными не казались — и посмотрела на меня с такой силой сострадания, как одна только — тут же вспыхнула во мне мысль — душа Николь могла бы на меня смотреть.

И все-таки, минуто спустя, забыл я этот взгляд. Отворил дверь в комнату Николь, подошел к постели, стал глядеть на живую безмятежно прекрасную тень моей перед Богом, жены, — нет, невесты, теперь навсегда беспорочной невесты. Долго глядел, покуда не показалось мне, что ее голова на подушке лежит слишком низко. Я сунул ладонь под подушку, приподнял голову. Но теперь мне показалось, что вся Николенька лежит слишком низко. Я решил положить ее выше. Вспомнил: легкая она, я

легко ее на руки подымал. Подсунул одну руку ей под колени, другую под плечи. Приподнял... Что такое? Свинец. Едва поднял и выронил. Теперь легла она как-то косо. Так нельзя. Опять я подсунул обе руки, но не только поднять, ни на вершок и сдвинуть не мог. "Груп" мелькнуло во мне. Я сделал еще одно усилие. Сам упал на пол. Больше не помню ничего.

"Мой милый Дубльве! Не удивляйся толстому пакету. Ты у меня один остался, старый друг. Странно мне парижскую эту историю посылать именно в Париж, где, пожалуй, и гостиница та цела, и уж конечно Лувр, Люксембургский сад, а быть может и "Акрополь", и Бальзар. Там ведь мы с тобой и дружили, как и наши жены — две Людмилы — добрых двадцать лет подряд, да и с тех пор никогда переписки не прерывали; не так давно и погостил ты у нас недельку, правда без очаровательной твоей жены. Только все это было, хоть и там, где ты сейчас, но до тебя. Ничего ты этого не знаешь. Ну вот, узнай. Эта рукопись — тебе. Копия останется в Америке, в архиве, завешанном моему университету. Дальше видно будет. Пока что мне хочется, чтобы хоть один человек прочел ее, кроме меня. Заметь: жене я ее не читал. В общих чертах, Людмила Александровна (Люленька) историю эту знает наизусть. Но во всех деталях с нею ознакомиться, даже и сейчас, едва ли доставило бы ей большую радость.

Написал я сию меморию в прошлом году, когда ровно полвека прошло со времени той любви и смерти. Год пролежала. Думал прибавить еще немало страниц. Охота прошла. Ведь *о ней* писал, *о ней*. Что ж тут еще размазывать, когда мертвая она лежит на кровати в своем белом платье? Получилось у меня, правда, непонятно. Ведь не умер я тогда. Живу. Чуть ли не еще дольше прожил, чем она предвидела. И поверишь ли — но это между нами — нынче, немощный старик, больше, чем когда-либо, я по ней тоскую, больше, чем когда-либо, живу с ней, с памятью о ней.

Все-таки не загадкой же мне реляцию кончать. Вот тебе краткий отчет о том, что было, после того, как меня нашли у ее постели на полу. Первый месяц, начиная с этого дня, кроме двух,

может быть, минут, лишь по рассказу г-жи Марешаль мне и самому известен”.

Она вошла в комнату вместе с дочерью, которая бросилась ко мне, стала на колени, приподняла мою голову. Глаза мои были закрыты. Я лежал, скрючившись, на боку. Общими усилиями они положили меня на спину. Женестьева расстегнула на мне рубашку, приложила ухо к моей груди, долго слушала и сказала:

— Он дышит и сердце его бьется; только очень слабо. Ему нельзя умирать. Он и не умрет.

Г-жу Марешаль уже не раз удивляла ее дочь. На этот раз она ее удивила сильнее прежнего.

Очнулся я — не по-настоящему и лишь на те две минуты — более суток спустя, в больнице, куда она меня отправила. Был полдень. Яркое солнце. Возле моей постели сидела Женестьева, держа в руках мою руку. Она подняла ко мне свои необыкновенные глаза, которые, однако, вызвали у меня мысль не о ней, а о портрете на комодке, там, в комнате, в совсем особой комнате... Так вот это кто, подумал я, и спросил: “Где же Николь?” Погладив мне руку, Женестьева ответила:

— Она тут, но ее не видно.

Это мгновение я и запомнил. После него — ночь. Помутился мой разум. Меня перевели в психиатрическую лечебницу, где я первое время буйствовал и никого не узнавал. Подслушал позже, как два собеседника, в соседней палате, потешались над тем, что я большой недруг тригонометрии и что рвусь зарезать кого-то, мною же называемого симпатягой. Не узнавал я и Женестьеву, но когда она приходила, тотчас затихал. С разрешения матери и врачей, она стала проводить со мной целые дни; ходить за мной. Она меня и выходила. Принимал я ее то за ее мать, которая иногда ее заменяла, то за мать Николь (но за Николь никогда), то за добрую мою гувернантку, обучавшую меня в детстве французскому языку, а под конец, когда стало постепенно проясняться мое сознание, два раза принял за вовсе уж на нее не похожую Люленьку, — правда, за Люленьку в ее возрасте, в том люленькином возрасте, когда она все так же была мне мила, как в раннем детстве, и мой отец советовал мне подождать лет

пять, покуда она подрастет, а не жениться на той, с которой я как раз пять лет и прожил. Давным давно прошедшие пять лет...

К первым июньским дням я, наконец, совсем "пришел в себя"; но телом и душой был слаб. В совершенно непонятной, ничем не заслуженной, но неусыпной заботе обо мне, г-жа Марешаль поместила меня в премилком загородном пансионе и часто навешала меня там, чередуясь с дочерью. Там я все и узнал. Там решилась моя судьба.

Было седьмое число. Я дочитывал "Жизнь Марианны", сидя в соломенном кресле, на террасе и пытаюсь себе представить, что я слышу голос Николь. Весь сад перед глазами у меня был в розах, в одних розовых розах. Мать и дочь приехали обе в тот день. Из паспорта Николь они узнали, что был это день ее рождения. Ей исполнилось бы восемнадцать лет. Услышав это от них, я беспомощно заплакал, даже их не стеснясь. Грубоватого голоса, резких черт лица г-жи Марешаль больше я не замечал, как и выпученных глаз, тощих рук и ног ее дочки. Они стали для меня родней Николь, а значит и моей. Мне казалось, что ближе их нет у меня никого на свете. Июнь: они принесли мне розы, — словно ей на могилу, подумал я. Мать — таких же розовых, как те, что цвели в саду, дочь — горячих, черно-красных. Положила мне их на колени, подняла на меня тяжелые свои глаза и сказала повзрослевшим, недетским уже голосом:

— Она вас любила всем огнем своей жизни.

Я поцеловал ей руку. Если б не боялся ее смутить, в ноги бы поклонился этой спасшей мне жизнь и разум девочке-недевочке.

Тут же она мне сообщила, что — благодаря мне — нашла свое призвание: сдаст экзамены за четыре класса и поступит осенью на курсы сестер милосердия; серьезные; учиться будет три года.

— Мама согласна. Вы, я думаю, не возражаете. — И совсем неожиданно прибавила: — я буду всегда любить Николь.

— Как ты считаешь, — спросила ее мать, — могу я с нашим больным поговорить о делах?

— Можешь. Он поправился. Если плачет, это хорошо.

То, что я теперь узнал крайне меня тронуло и привело в полное расстройство чувств. Г-же Марешаль удалось, с помощью двух ее друзей, похоронить Николь без вскрытия и на

освященной земле. Возле самой церкви Сен-Северен я смогу поклониться ее праху. Мне был затем вручен портфель, неведомый мне, но принадлежавший Николь. Там находился теперь портрет ее матери в кожаной раме, книга Дестре, со всеми ассигнациями, вложенными в нее, паспорт Николь, со скверненьким ее портретом, и четыре письма из Финляндии от Люленьки: одно мне уже известное, два нераспечатанных, на мое имя, и последнее, распечатанное, на имя г-жи Марешаль.

— Сейчас объяснюсь насчет писем, — сказала она, — а сперва знайте, что у Николь, кроме ее вещей, которыми распорядится в свое время Женевьева, были еще — тут она немножко покраснела — драгоценности, которые я продала, чтобы оплатить расходы по ее погребению, по вашему лечению, ваш маленький долг мне за комнату; да и здесь я заплатила вперед за весь июнь месяц. Вы ведь наверное не захотите жить теперь у меня, а тут вам будет хорошо. Оставайтесь тут на все лето. Ваш сундук с вещами мы вам сегодня привезли, а ящик с книгами я пока оставила у себя. Он в вашем распоряжении.

— Сударыня, — сказал я, — простите, не верится мне насчет драгоценностей Николь.

— Напрасно. Я даже одну из них на память о ней взяла себе, — и она мне показала, вынув из сумки, старомодный золотой браслет, несомненно перешедший к Николь от ее матери.

— Радуюсь, что он у вас, только какая же это драгоценность...

Но тут вмешалась Женевьева.

— Вот видите, и я — вы еще не заметили — браслет ее с часиками взяла. А маму вы не обижайте: она всегда ради правды даже и неправду говорит.

— Покончено с этим делом, — сказала г-жа Марешаль — Теперь о письмах. Первое я нашла в вашем столе, когда укладывала ваше имущество. Два следующих пришли покуда вы были больны. Имя и адрес отправительницы был указан на конвертах. Я написала ей, что вы поправляетесь после тяжелой болезни. Вчера получила ответ. Дайте я вам прочту. Очень короткий: "Спасибо, спасибо, огромное спасибо! Я его невеста. Отплываю на ближайшем пароходе из Гельсингфорса. Буду в Париже десятого июня". Что с вами?

Я встал, но не сказав ничего, упал назад в свое кресло. Г-жа Марешаль схватила обе мои руки, испугалась, кажется, как бы я опять не спятил.

— Оставь его, мама, — сказала Женевьева, — он думает о Николь. Верно, однако, что по части невест, он запаслив.

Я чувствовал страшную слабость, не мог удержать слез, но заставил себя улыбнуться, взял жесткую маленькую руку Женевьевы и сказал:

— Если вы мне велите протелеграфировать Людмиле, чтоб не приезжала, я это сделаю. Николь о ней знала; звала ее Lu-li-la. Умирая, сказала, что эта моя прежняя любовь ко мне вернется, чего сам я, однако, ничуть не предполагал.

— Читайте письма, — сказали одновременно мать и дочь.

Одно было помечено 15-ым, другое 25-ым мая. В первом спокойно было высказано удивление, что не пишу. Второе к удивлению прибавляло беспокойство о моем здоровье, после чего следовало: "Приехал Кока. Он в Цюрихе обзавелся итальянчочкой, судя по фотографии, прелестной. Но и независимо от этого я, как только увидела его, поняла, что все кончено. Не внушает он мне больше никакого чувства". В конце письма приписано было: "Приезжала из России "княжна-старая-дева". Помнишь? Привезла бумажку, которую ты так ожидал зимою. Если напишешь, пришлю".

— Да, — сказал я, — она возвращается ко мне. Знаю ее с детства. Милая — нельзя быть милее — девушка. Повезло ей: Николь умерла. В день рожденья Николь — весть о ее приезде...

Я откинулся на спинку кресла. Закрыв глаза. Долго молчал. Глухим голосом Женевьева отозвалась:

— Грешно так говорить: "повезло". Чем она виновата?

Но минуту спустя я увидел, что насупившись смотрит она в землю, отчего становилась особенно заметной неестественная выпученность ее глаз. Почувствовав, что я и растерян и смущен, мать ее меня спросила:

— Это не та зеленоглазая блондинка, что зимой заходила иногда за вами, никогда не поднимаясь к вам наверх?

— Она. — Я вынул из бумажника снимок, который показывал Николь. Женевьева попросила его у матери. — Такая

она была, когда я впервые ее увидел. Изменилась, но не вполне. Застенчива. Не болтлива. Правдива.

— Она вас любит, — спросила Женевьева.

— Да. О да. Как розы могли бы любить, которые принесла мне ваша мать. Не как ваши. — Помолчал немного, потом спросил: — Что ж? Жениться мне на ней? Что скажете? Не могу спросить Николь.

Женевьева подняла голову, взглянула на меня всей полнотой своего взгляда. Сказала задумчиво:

— Такая злорадствовать не может. Или несчастную ненавидеть. Огонь жизни бывает ровный, спокойный. Будьте для нее хорошим мужем.

Через три дня Люленька сидела рядом со мной на той же террасе. Она вручила мне грамоту о разводе, со всеми печатями и штемпелями, привезенную из России тем благодетельным, но странным существом, кого родители, Люлины и мои, не иначе называли, как княжной-старой-девой (за племянника ее вышла вторым браком моя жена).

Люленьку немедленно в сердце свое приняла и взяла под свою опеку г-жа Марешаль, которую я попросил рассказать ей о Николь и о моей болезни. Сам я рассказать ей о болезни не мог почти ничего: больным себя не помнил; тогда как о Николь, хоть и трудно это было, все главное рассказал; и о впечатлении произведенном на нее моим или двумя нашими рассказами мог судить уже по тому, что она перестала звать меня Николенькой, как прежде всегда звала. Колей стал я теперь, и остался навсегда. Женевьева по-началу держала себя с ней прохладно. Повела ее, однако, через некоторое время, на могилу Николь, и там они беседовали дружески. Но я узнал об этом лишь после свадьбы.

Состоялась она в начале следующего года. К тому времени г-жа Марешаль нашла для нас квартиру, которую мы купили в рассрочку, причем первый, самый крупный взнос она внесла за нас сама. На этой квартире мы все наши парижские годы и прожили. Приданое у Люленьки, от матери из Финляндии привезенное, было более, чем скромным; о пополнении его та же наша благодетельница позаботилась, в частности и о самом подвенечном платье. Дочь ее с Люленькой ходила для него материю выбирать. Они вместе вернулись во всё тот же

загородный пансион, где мы пока что — в разных комнатах конечно, и даже на разных этажах — жили, я и Люля.

Встретив меня внизу, Женевьева сказала:

Везет же вам на ангелов; и всегда-то они в юбке.

— Вы — один из них. А что?

— Попросите вашу невесту показать вам, какую материю, вопреки настойчивым моим просьбам выбрала она на платье.

Я постучал к Люленьке и она показала мне очень красивую, с муаровыми разводами, шелковую материю gris perle.

— Почему же ты не взяла белую, — спросил я, хотя весь уже внутренне содрогнулся, поняв почему.

— Ты не знаешь?

Я обнял ее, положив ей голову на плечо, чтоб она не видела моего лица.

— Неужели ты мог подумать, — сказала она, что я отниму ее белое платье у бедной твоей Николеньки.

Январь-апрель 1977

В. Вейдле

*

И ветер и снег,
И темень на улице поздней,
И тени из тех,
Что, сойдясь, замышляют какие-то козни.

И в темном парадном
Не спрятаться и не согреться,
И слышно, как рядом
Под ребрами брякает сердце.

Качаются ветви
В беспамятно-воющем ветре,
В отчаянном ветре
Качаются вечные ветви.

Зачем Ты Свои небеса
Расплескал надо мною?
Зачем Ты мне колешь глаза
Непорочной звездою?

Как лодку ночную
Кидает куда-нибудь шквалом —
Я так же кочую
По вздыбленным черным кварталам.

На этой из камня
И глины отлитой планете
Была красота мне
Страшнее всех страхов на свете.

Сияла она
Как лампада над Дантовым адом,
Грозна и страшна
Оттого что с погибелью рядом.

Казалось тогда,
Что и космос какой-то двоякий,
Я тоже звезда,
И я тоже сверкаю во мраке.

*

Я тоже устал от нелепицы всякой,
Живу как амфибия — жизнью двоякой.
Живу в настоящем, дремотно-заросшем,
Как будто гигантской омелою — прошлым.
Меня ты увидел к окошку прильнувшим,
Ты видел, как я проплываю минувшим.
А если тебе улыбаться я стану,
То это я в фильме плыву по экрану.
А если в словах моих грусть иль веселость,
То это на пленку записанный голос.
Гут даже и тень моя тоже фальшива —
Псеверная, лунная тень негатива.
А в нескольких метрах лимонно горящий,
Качается в ветре фонарь настоящий.
И я на углу, на ночной остановке
Стою настоящий, нескладный, неловкий.
И я подымусь по ступеньке в автобус
И сяду, живущим сейчас уподобясь.
И в раму оконную вполоборота
Я вставлю себя, как вставляется фото.
Маршрут у автобуса этого странный,
Повсюду наставила память капканы.
Меня ты увидел к окошку прильнувшим,
Ты видел, как я проплываю минувшим.
Люди и зданья бросают меня
В темную воду вчерашнего дня.

Иван Елагин

ПРАВЕДНЫЙ НАРОД

ДРЕВНЕЕ СКАЗАНИЕ

Давно, давно, в те незапамятные времена, когда все арийские народы вокруг Гималаев клубились, а евреи не научились ещё выходить сухими из морской воды, — жил в Азии славянский народ, по имени Прямичи.

Был тот народ добродушный и трудолюбивый, даровитый и приветливый. Жил он на зелёных гималайских предгорьях и страна его, словно сама собою, цвела и плодоносила. Нивы его наливались и зрели; и виноградники его красовались и радовали; а луга его рослились, косились и благоухали. Дома его строились просторные, во всё дерево, с резьбой, в красоте и веселии. И вся жизнь его была лёгкая и светлая.

Петь ли начнут Прямичи, им в ответ Гималаи сладостным стоном отвечают; плясать ли примутся, — все леса окрестные в гомон придут и самые старинные кедры плечами пошевеливают и шишки роняют. А лето у них стояло вечное, круглогоднее. Покончит народ работы на поле или в мастерской, — и всю-то ночь напролёт хороводы за околицей водит и снежным горам свои разливные, нежные песни поет.

Жили Прямичи друг с другом в мире и любви: ни злобы на душе, ни обиды; и все были со всеми уветливы и помогливы.

Проф. И. А. Ильин (1883-1954) был известным профессором Московского университета. Он был арестован, сидел в Бутырках и был выслан из России в 1922 г. вместе с группой учёных. Жил сначала в Берлине, а затем в Цюрихе, где и скончался. Он автор целого ряда книг и статей, из которых особую известность получили: "Философия Гегеля", "Проблема современного правосознания", "Религиозный смысл философии", "О сопротивлении злу силой", "Аксиомы религиозного опыта". *РЕД*

Тягаться друг с другом у них и в заводе не было; суд собирался всего три раза в год и решал редкие споры скоро и полюбовно. А о сословной розни у них и не слыхивали. Правление было у них легкое и простое, потому что прямой народ был Прямичи. Управлялись они княжеским обычаем и народ чтит власть своих царей как святыню. Воевали Прямичи неохотно, но раз начав войну, кончали её победою. А Богу своему верили в сердечной крепости и молились ему из душевной полноты.

Казалось бы такому народу только и жить, цвести да красоваться. А вышло совсем по иному. И погубила его эта самая праведность.

*

Окрестные народы были совсем иного склада. Один был пустозвон с хвастливым гонором. Другой — нахрапистый, с гордым умом и жестоким сердцем. А там сидел ещё один, хитрый и каверзный. А по другую сторону — торгаш криводушный. Были ещё и такие, что только самих себя за настоящих людей почитали, а прочих презирали и всех в свое далайламское изуверие силой обратить собирались. И все друг с другом ссорились и затяжные войны вели. Бывали войны семилетние, тридцатилетние и даже столетние. Были войны от гонора, для завоевания, из-за наследства, ради торговли, из каверзы, по жадности и от изуверского презрения. И не было той пакости, которой соседи друг другу не чинили бы: и города друг другу жгли, и лучших людей вырезали, и в плен уводили, и монету фальшивую соседям подбрасывали, и смуту пускали, и чумой заражали. Обходились друг с другом без Бога и без совести...

Но с Прямичами избегали воевать. Боялись их храбрости и победности. Боялись их Бога. Боялись их князей. И пуше всего опасались их сердца, потому что знали, что если Прямичи осерчают, то начнут ломить до последнего: пойдут живой стеной, неумным напором; а такого воина и убить мало, а еще и повалить надо...

И кому же цвести и красоваться, как не такому народу? Кому Божий мир украшать? И погубила их эта самая праведность.

*

Что у царей, что у простого народа — не терпело сердце несправедливости. Как привыкли они дома у себя жить в прямоте и приветливости, и гордыни не знали, и обиды не делали, — так потянуло их водворить у других народов справедливость. Показалось им невтерпеж, что соседи друг друга насилуют и обижают. Не стало им ни покоя, ни веселия от чужой грубости и чужого страдания.

”Не можем мы терпеть. Зачем эдакое повсюду делается? Какое нам есть спокойствие, если за теми вон горами народ взбунтовался и своему князю голову отрубил? Нет нам ни радости, ни веселия, если за этими лесами и озёрами мулкурумбы курумулумбам свое далайламское изуверие кровью навязывают... Не снесем чужой обиды! Не простим соседской крови! Нам от всей этой мерзости — и жизнь не в жизнь, и хлеб не в хлеб, и пляс не в пляс. Какие же мы Прямичи, если будем поступать, как лукавые Кривичи?! Хоть и не доходят сюда чужие стоны, а нам их слышно; хоть и не видно нам чужой злобы и крови, а от них в глазах солнце меркнет. Нельзя это так оставить!”

*

Совещался молодой царь Прямичей, Буйтур Справедливый, со своими старейшинами и народ со своим царем советовался. Думали крепкую думу и приняли решение: отбирать в отбор самых лучших, сильных и храбрых Прямичей, устраивать из них ”железную рать справедливости” и принимать от всех народов жалобы на обиды и насилие. И по тем жалобам, времени не теряючи и сил не жалеючи, ходить крепким походом и водворять справедливость своею ратю, а если придется, ”полегти всем за правду, за истину”...

Узнали об этом соседи и обрадовались: нашли они опору для своей жадности, приспела помощь для их кривды и коварства. И понеслись отовсюду криводушные жалобы. Нахрап пустозвона избидит, да сам же и нажалуется. Предатель торговца обманет и раздразит, а сам сиротой прикинется. Гордый доносил на слабого; сильный беззащитным

прикидывался; лукавый сильному яму рыл. И все были хороши; всяк по своему вредил и изощрялся, и про чужую несправедливость вопил. А правду-истину ни разглядеть ни рассудить бывало невозможно.

*

И начали Прямичи по чужим странам походами ходить, справедливость и порядок водворять. Воевали Прямичи и у ближних соседей и у дальних. Ходили всюду, куда позовут. А полководцы у них были — орлы. И на запад походы делали до самого Ирана, и к востоку на больших китайских реках воевали, и к югу по всему морскому побережью Индии порядок наводили. А грозный военачальник их, по имени Сувор, к северу через Гималайский хребет переваливал, на самой страшной вершине во льду ночевал и каменный столб поставил: Богу во славу, народам на устыжение. И никогда Прямичи ничем не корыстовались. Бывало так, что всю чужую страну займут, и города, и крепости; и три года порядок и справедливость наводят; а потом уведут свое верное войско и всё назад отдадут, безо всякого присоединения и даже ущерба не ищут. "Нам, — говорят, — этого ничего не надо; мы своим довольны; а сражаемся за правду, за истину".

*

За сорок лет такой войны Прямичи всем окрестным народам помогли. Тогда-то они и морских пиратов в океане потопили, и с пришлыми неграми расправились и грозного завоевателя монгольского Чибисхана отразили, и обезьянье нашествие отвратили. И всегда старались они правому помочь. Но на деле часто выходило иначе. Бывало так, что все неправы, а они, недоглядев, всё-таки чью-то руку тянут. А бывало и так, что самый горький обидчик обманет их и себе помогать заставит. И не было им никогда ни благодарности, ни слова доброго за всю их услугу и защиту. Напротив, все народы отвечали им завистью и страхом, враждою и предательством. И прозвали их "дураками неумытыми". И не раз случалось так, что соседи промеж себя сговорятся: одни Прямичей на помощь позовут, а

другие на их же страну нападение сделают; сёла пожгут, нивы потопчут, стариков побьют, а женщин в плен уведут. И кому они больше помогут, или прямо из петли вынут и от рабства избавят, тот на них большею злобою пылал и гордостью возносился... Нестерпима людям чужая доблесть, не прощают они другим благодетелей...

*

Из года в год все лучшие и храбрейшие Прямичи вступали в справедливое войско и воевали за чужие дела в соседних странах. На всех просторах белели их геройские кости; и всюду вороны клевали их голубые глаза. Прошло сорок лет, и больше, начал народ Прямичей заметно хиреть и опускаться. Лучшие в поход уходили и не возвращались, а старики да женщины дома оставались и не управлялись с работами. Поля стали забрасываться, виноградники стояли не перекопанные, луга зарастали. И дети стали родиться хилые и болезненные.

*

И однажды в отсутствие царя Буйтура, замирявшего далёкую страну, пришел неведомо откуда поганый народ тупорылого племени, пожег и потоптал всю страну Прямичей, стариков перебил, женщин и детей в полон угнал, а землю разделил своим богопротивным насельникам.

День и ночь шел за ними в угон престарелый царь Буйтур со своим войском и нагнал их недалеко от океана в устье великой реки Ганга. Увидели Прямичи издали своих жен и детей, слышали их стоны и крики о помощи. Дрогнуло их сердце гневом и скорбью, и бросились они в бой с тупорылыми, как ярые львы. Три дня и три ночи длилась битва небывалая. И одолела тупорылая сила усталых Прямичей; полегли они все костями до единого. А когда увидел Буйтур Справедливый, что погибло его войско и что сам он окружен совсюдно поганой силой, — пал он добровольно на свой меч и отдал Богу свою храбрую душу.

И погиб праведный народ. Исчез с лица земли. И осталось о нем одно предание.

*

В светлых пространствах первозданного чертога Божия, перед сонмами ангелов, предстал на великий суд царь Буйтур Справедливый.

И спросил его Господь:

"Скажи Мне, слуга мой верный, Буйтур Справедливый, где народ Мой любимый, тебе доверенный?"

Ничего не ответил Буйтур и поник головою.

И сказал ему Господь:

"Что ты сделал с народом Моим, тебе препорученным? Отчего не зреют его нивы и виноградники? Почему не стонут Мои Гималаи от его песен легких и радостных? Что Я не слышу его детского веселия? Где жизнь его любовная и уветливая? Куда исчез вертоград Мой избранный?"

И не мог ничего ответить Буйтур Справедливый; только залился горячими слезами.

И сказал ему Господь:

"Как мог ты погубить народ Мой праведный? Кто дозволил тебе растратить силы его на борьбу с чужою злобою? Кто поставил тебя судить и исправлять другие народы? Кто научил тебя попираť свободу, от века Мною всем народам дарованную? Как искупишь ты, как исправишь ты грех свой великий?"

И пал Буйтур Справедливый у первозданного подножия и горько рыдая бился головою о камни, в позднем разумении и раскаянии. Скорбно молчали лики ангельские; а вселенная ждала приговора.

И сказал Господь в последнее:

"Не дам погибнуть до конца любимому народу Моему. Пройдут века и возродится от его семени на равнинах запада иной народ и создам великое царство иного имени. Он одолеет в себе искушение непризнанного судьи и соблазн навязанной праведности. И когда одолеет, тогда воссоздаст Мне вертоград Мой духовный.

А тебя, слуга Мой верный, Буйтур Справедливый, Я пошлю
ему спасительным вождем в час великой беды, ему уготованной.
И тогда ты искупишь подвигом грех свой и оправдаешься передо
Мною в своеволии."

И умолк Господь. А лики воспели Ему хвалу.

И. А. Ильин

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ ЛИДИИ ХАИНДРОВОЙ "ДАТЫ, ДАТЫ..."

Искусственностью виноваты
сонеты, глоссы и рондо
и не пригодны для отплаты
за "Даты" Золотой Лидо,

за сборничек лукаво-скромный
не больше тридцати страниц,
но перед ним, изгой бездомный,
я не устану падать ниц:

ведь им оправдан юг печальный,
где милый север отражён
и полдень экваториальный
Подснежниками подснежён!

ВЕСНА

Меня веселая Весна —
Цветы в руках, цветы в подоле
Выдерживала допьяна
В потустороннем алкоголе,
Учила всяческой крамоле
И отвечать велела "нет"
Грудной, зубной и прочей боли:
Мне было восемнадцать лет.

В пыль переулков Пекина,
Ворча на ранние мозоли,
Весна вступала, но она
По ним тащилась поневоле:
Всерьез послушников пороли
За смех и за шальной куплет,
А я не слушался: давно ли
Мне было восемнадцать лет?

Теперь подходит время сна:
Окончены мои гастроли,
И часто злится тишина
На сипловатые бемоли.
Но шелестят ночные моли,
Пока горит прощальный свет:
Затем ли, чтоб молчать в шеоле,
Мне было восемнадцать лет?

Весь в пластырях и в ихтиоле,
Тебе, Весна, я шлю привет —
Как в год, когда, по давней роли,
Мне было восемнадцать лет!

Валерий Перелешин

ДВА ПАМЯТНИКА

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

*Что нужно Лондону, то рано для Москвы
У нас писатели, я знаю, каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа.
Пушкин. Послание цензору. 1813.*

В начале 1827 года Пушкин был в Москве. 19 января он получил вызов московского обер-полицмейстера генерала Шульгина. Вызов встревожил его — только что он послал с Александриной Муравьевой, женой декабриста, в Сибирь стихотворение, адресованное в "каторжные норы" его друзей:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Если бы эти строки попались властям, ему бы не одобровать: умысел на цареубийство он называет "дум высокое стремленье", а каторжанам сулит — светлое будущее:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа.
И братья меч вам отдадут.

Мало-мальски образованный жандарм может без труда догадаться, что Пушкин предсказывает России революцию, подобную французской, которая ведь и началась с падения зловещей Бастилии. А богине Свободе он, Пушкин, воспевающий ее прежде в оде "Вольность", недавно посвятил большую историческую элегию, "Андрей Шенье". Французский поэт, которого обезглавят якобинские диктаторы, поет ее накануне гильотины:

Завтра казнь, привычный пир народу;
 Но лира юного певца
 О чем поет? Поет она свободу,
 Не изменилась до конца!

А дальше — гимн, сочиненный за Андрея Шенье Пушкиным,
 гимн во славу Свободе:

Приветствую тебя, мое светило...

"Андрей Шенье" его не тревожит; стихотворение это — о революции французской, а не русской. Да и цензор вытащил из элегии большой кусок, которого испугался — как раз гимн Свободе, так что теперь уж и придаться не к чему. Дурак цензор! Несколько лет назад Пушкин сказал о вредоносной деятельности цензора Бирукова — "самовластная расправа трусливого дурака". К нему, Бирукову, обращено Пушкинское "Послание цензору", — оно хоть и не напечатано, но всем литераторам известно, в бесчисленных списках ходит. Писатели повторяют про себя, да и вслух:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
 Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
 Не понимая нас, мараешь и дерешь;
 Ты черным белое по прихоти зовешь;
 Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
 Глас правды мятежом, Куница Маратом...
 ...На все кидаешь ты косою, неверный взгляд.
 Подозревая все, во всем ты видишь яд.

Пушкин тогда великодушно объяснил цензору, что усилия его бесплодны — те, кто задумает обойти цензуру, обойдут ее, он постоянно оказывается нерадивым сторожем:

Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —
 Осмеивать закон, правительство иль нравы,
 Тот не подвергнется взысканью твоему;
 Тот не знаком тебе, мы знаем, почему —
 И рукопись его, не погибая в Лете,
 Без подписи твоей разгуливает в свете.

Так беседовал Пушкин с Александром Бируковым в 1822 году. В том давнем послании поэт советовал цензору поумнеть или, говорил он ему, "хоть умного возьми себе секретаря". В наше время дураку не место в цензуре:

где славный Карамзин снискал себе венец,
 Там цензором уже не может быть глупец..
 Исправься ж, будь умней и примирился с нами.

Французская поговорка говорит: "Когда человек глуп, это навсегда". Бируков не поумнел. Не поумнела и вся цензура в целом. Для чего "угрюмый сторож муз" выбросил из "Андрея Шенье" гимн Свободе? Пушкин пытался ему втолковать и кто такой Шенье, и в каком смысле в его, Пушкина элегии говорится о Свободе. Но Александр Бируков его уговорам не внял и гимн выкинул.

*"На месте казни он ударил себя в голову и
 сказал: Pourtout j'avais quelque chose la (все же
 у меня там кое что было)"*

Пушкин. Элегия "Андрей Шенье".

Примечания.

Андре Шенье — Пушкин впервые увидел это имя в книге Шатобриана "Гений христианства", появившейся в самом начале века, в 1802 году. Совсем еще юный Пушкин прочел:

"Революция отняла у нас человека, обещавшего редкий талант в эклоге; то был Андре Шенье. Мы видели рукописный сборник его идиллий, где есть вещи, достойные Феокрита". Судьба Шенье была известна: он оказался жертвой гильотины. Шенье слыл замечательным поэтом, но лишь позднее, в 1819 году, французский критик Анри Латуш впервые опубликовал его сочинения, а также рассказ о его жизни и гибели. Рассказ этот произвел глубокое впечатление на Пушкина

Говорит Пушкин:

"André Chenier погиб жертвою французской революции на 31-м году рождения. Долго славу его составляло несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом, и два или три отрывка, и общее сожаление об утрате всего прочего. — Наконец творения его были отысканы и вышли в свет 1819 года. Нельзя воздержаться от горестного чувства".

С тех пор, как появилось латушевское издание, Пушкин с ним не разлучался: он читал Шенье и, переводя его стихи, как бы творил вместе с ним. В старинном томике, принадлежавшем

Пушкину, его рукой по-французски вписано стихотворение, которого в книге недостает, — немного позднее, в 1827 году, Пушкин его перевел; это стихи о венецианском гондольере:

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музыки полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн. —
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

Гондольер для Шенье и Пушкина — подлинный художник: он бескорыстен и свободен от суеты, он "не ведает ни славы, Ни страха, ни надежд". Но это ли — высшая духовная свобода? Судьба Шенье очень горестна. Но в том ли его трагедия, что он пал от руки налача? Нет, прежде всего в том, что он — жертва революции:

Завтра казнь, привычный пир народу...

Десять лет спустя Пушкин увлечется другой героической фигурой, полководцем Барклаем де Толли: по-иностранному звучавшее имя вызывало у народа подозрение. Трагедия Барклая сходная: народ отверг гения, народ не понял его великих замыслов, и в сущности казнил его тоже, заставив уйти с поста главнокомандующего, искать смерти на поле боя:

Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоём звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

Да, Андре Шенье пережил тягчайшее испытание, какое только может выпасть на долю поэта: народ ополчился на него, отверг его политическую программу и его поэзию. Пушкин восхищался стойкостью певца, уверенного в своей правоте и сохранившего эту бестрепетную уверенность до последнего мига, — сверкнул треугольный нож гильотины и голова Шенье скатилась в окровавленную корзину. Пушкин рассказал о часах, предшествовавших этому мигу в тюрьме Сен-Лазар, где Шенье

написал свои впоследствии прославленные "Ямбы", исполненные гражданской страсти:

.... Так пел восторженный поэт.
 И все покоилось. Лампады тихий свет
 Бледнел пред утренней зарею,
 И утро веяло в темницу. И поэт
 К решетке поднимал важны взоры...
 Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
 Звучат ключи, замки, запоры.
 Зовут... Постой, постой; день только, день один:
 И казней нет, и всем свобода,
 И жив великий гражданин
 Среди великого народа.
 Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
 Но дружба смертный путь поэта очарует.
 Вот плаха. Он взошел. Он славу именует..
 Плачь, муза, плачь!...

Андре Шенье, тот, кого Пушкин называл певцом Свободы, взошел на эшафот 13 июля 1792 года. Порой история подстраивает людям неправдоподобные шутки. Другой певец Свободы, Кондратий Рылеев, взошел на свой эшафот тридцать четыре года спустя, не в Париже, а в Петербурге, и — не странно ли? — тоже: 13 июля.

Не будем сомневаться: Пушкин заметил роковое совпадение двух черных дат. Он мог и о Рылееве сказать то, что сказал об Андре Шенье:

Умолкни, ропот малодушный!
 Гордись и радуйся, поэт:
 Ты не поник главой послушной
 Перед позором наших лет:
 Ты презрел мощного злодея..

Так ли уж был неправ кандидат Андрей Леопольдов, озаглавив Пушкинские стихи: "На 14 декабря"?

"Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает".

Пушкин — Вяземскому, 10 июля 1826 г.

Итак, 19 января 1827 г. Пушкину пришлось явиться к генералу Шульгину, московскому обер-полицмейстеру.

С ним Пушкин знаком не был, но генерал возбуждал в нем интерес. Шульгин был полным его тезкой, Александром Сергеевичем, и Пушкину, склонному к суеверию, это казалось любопытно: два Александра Сергеевича, прямо противоположные друг другу — один главный полицейский, другой главный смутьян. Такова сторона, скажем, шуточная. А вот и серьезная, даже драматическая: до недавних пор Шульгин был обер-полицмейстером Петербурга, при его участии разыскивали, содержали в крепости, вешали героев Декабря. В глазах Пушкина этот Александр Сергеевич был одним из первых палачей.

Впрочем, пока что он вел себя миролюбиво и, хватив по своему обыкновению стаканчик рому, протянул тезке бумагу, — она содержала вопросы Особой комиссии военного суда. Пушкин должен был представить письменные показания. Вопросы были такие:

” 1) Им ли сочинены известные стихи, когда и с какой целью они сочинены?

2) Почему известно ему сделалось намерение злоумышленников в стихах изъясненное?

3) Кому от него сии стихи переданы?

4) В случае отрицательства, неизвестно ли ему, кем оные сочинены?”

— Генерал, — сказал Пушкин, пробежав глазами бумагу, — Должен вас разочаровать. Не могу ответить уже на первый вопрос, а потому и последующие мне непонятны.

— Непонятны? - вскинулся Шульгин. — Вопрос сделан, как мне кажется, достаточно просто.

— Взгляните, мне предлагается отвечать, я ли сочинил ”известные стихи”. Кому же известные? О чем речь ведется? Неужто комиссия боится не только эти стихи привести, но даже назвать их? (Последней фразы Пушкин, впрочем, не произнес — он преодолел искушение).

— А, может быть, догадаетесь, Александр Сергеевич? — протянул почти заискивающе провосходительный Александр

Сергеевич. — Комиссия его Сиятельства настаивала на спешном ответе.

— Нет, не догадаюсь, генерал. Я и сам немало стихов сочинял, да к тому же все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Пусть перешлют, потребуйте!

Пушкин лукавил: он понимал, в каких стихах его обвиняют; ответа требует комиссия, созданная по делу Алексеева, а дело это заведено о стихах, озаглавленных "На 14 декабря". Но увидеть рукопись необходимо: может быть их исказили? Может быть он и сам их теперь не узнает? Смертную казнь дали Алексееву неужели только, чтобы пугнуть Пушкина?

Генерал Шульгин гордился исполнительностью; на сей раз, однако, пришлось ответить его сиятельству великому князю Михаилу Павловичу, что, дескать, ответ будет дан позднее, ибо "Александр Пушкин не знает, о каких 'известных' стихах идет дело и просит их увидеть."

Тут бы арестовать этого Пушкина, тем более, что и Михаил Павлович готов дать соизволение. Шульгин ждал приказа на задержание беспокойного тезки и препровождение его к месту суда, в Новгород. Арестовать легче, нежели посылать нелепые ответы — дескать он, Пушкин, "не знает, о каких 'известных' стихах идет дело"! Не сочтут ли такой ответ издевательством, а генерала Шульгина к тому причастным? Распоряжения на арест не последовало, список же стихов Шульгиным был получен через неделю в запечатанном конверте на имя коллежского секретаря Пушкина и "в его собственные руки": распечатать адресат должен был в присутствии обер-полицмейстера, и, прочитав, снова запечатать своей личной печатью, после чего, наложив еще и свою печать, генералу Шульгину вменялось в обязанность самоспешнейше переслать пакет Особой комиссии военного суда. Прочитав все эти указания, Шульгин поежился: выходит, ему не доверяли прочитать "известные стихи"? Ему, оберполицмейстеру Москвы? Что же это за возмутительное сочинение, если оно окутано такой тайной? А, с другой стороны, если оно столь ужасно, зачем преступник гуляет на воле? Зачем ему дана возможность сочинять? Да еще оскорблять суд и полицию?

По второму вызову Пушкин явился в кабинет генерала, почти

что уселся на стол, вульгарно опершись на него задом и безо всякого благоговения небрежно торопливым движением вскрыл конверт. Затем, нетерпеливо пробежав глазами исписанный листок, присел на краешек кресла, исправил какие-то ошибки, буркнул себе под нос что-то не слишком уважительное и во мгновение ока написал ответ. Шульгин, заглянув из-за плеча, полюбопытствовал:

— Александр Сергеевич, разберут ли там вашу руку?

— Разберут, Александр Сергеевич, — им надо. Прочтите, генерал, — добавил Пушкин, бросив на хозяина многозначительный взгляд, означавший: хоть вам и не разрешено, а читайте, мы никому не скажем.

Шульгин медленно прочел таинственные стихи под зловещим заглавием, а затем показание Пушкина. Оно гласило:

27 января 1827 г. В Москве.

Сии стихи действительно сочинены мною. (Такой прямоты Шульгин не ожидал — на что он нарывается, этот шелкопер? Забыл он, что ли, о смертном приговоре Алексееву?) Они были написаны гораздо прежде последних мятежей (Что же ему остается твердить, если уж авторство признал? Но как это докажешь?) и помещены в элегии "Андрей Шенье", напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. (Значит, как раз этот кусок и был "пропущен"? Хитер тезка. Но и режет он себя, сам того не понимая: строки, запрещенные цензурой распространению не подлежат).

Они явно относятся к Французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою. (Как бы не так! Выходит, стихи эти не за революцию, а против нее? Хитер!) Он (гляди-кошь, подчеркнул он, чтоб не думали на него, на тезку) говорит:

Я славил твой небесный гром

Когда он *разметал позорную твердыню*.

Взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье. (А ведь это правдоподобно: и мятежники 14 декабря никакой твердыни не разметали, — хотели было разрушить Петропавловскую крепость, да сами туда угодили...)

Я слышал братский их обет,

Великодушную присягу

И самовластною бестрепетный ответ—

Присяга du jeu de paume, и ответ Мирабо: allez dire a votre maitu etc.

...Гут Шульгин оторвался от бумаги: — Не скажете ли подробнее — что за присяга? Каков ответ Мирабо? Пушкин терпеливо, хоть и коротко, объяснил: 20 июня 1789 года, когда депутаты Национального собрания подошли к залу заседаний и увидели королевских гвардейцев, преграждавших им доступ во дворец, они заняли соседний зал для игры в мяч и дали торжественную клятву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана конституция Франции. Об этой клятве писал Шенье в своей оде "Игра в мяч", посвященной художнику Луи Давиду; он воспел героев третьего сословия, которые обнялись

Клянясь не разойтись, не подаривши нам

Закона твердого и власти справедливой;

И прибавлял народ, на них взиравший там,

К восторженным слезам, к смятенным голосам,

Рукоплесканий шум счастливый.

О день! Триумфа день! Святой, бессмертный день!..

— Не обращайтесь меня в вашу веру! — прервал Шульгин. Будет вам декламировать бунтарские стихи. Думаете, если это по-французски, так уж их можно здесь произносить в полный голос?

— Что ж, стихи можно и прервать, генерал. Но вам хотелось услышать ответ Мирабо? Извольте, вот он. Когда церемониймейстер короля потребовал, чтобы депутаты исполнили королевский приказ и разошлись, граф Мирабо от имени третьего сословия сказал ему: "Идите и скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и разойдемся только уступая силе штыков." После этого, генерал, Национальное собрание приняло решение объявившее депутатов неприкосновенными. И король смирился с этим, уступил. Король был побежден, генерал.

Генерал Шульгин, не глядя на Пушкина. продолжал читать:

"И пламенный трибун и проч.

Он же, Мирабо.

Уже в бессмертный Пантеон

Святых изгнанников входили славны тени.

Перенесение тел Вольтера и Руссо в Пантеон.

(Это похоже на правду. В самом деле французские мятежники перетаскивали прах своих философов в Париж и там погребли. Иначе эти строки и понять-то трудно).

Мы свергнули царей...

в 1793

Убийцу с палачами

Избрали мы в цари

Робеспьера и конвент.

(Хитрец! А ведь главное, что он, пожалуй, прав — да, речь тут идет о Робеспьере и конвенте. Но можно ли такие строки вслух произнести? Всякий поймет, что это про нашего государя и про каждого из нас, кто судил и казнил декабрьских злодеев).

Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря.

Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие.

Не помню, кому мог я передать мою элегию "А. Шенье".

Александр Пушкин.

27 января 1827, Москва

Генерал Шульгин дочитал показание до конца, перенес взгляд на стихи и пробежал их снова. Да, они хорошо читались и так, как того хотел Пушкин: гимн Свободе от имени Андрея Шенье, где излагаются подряд события французской революции: падение Бастилии, клятва в Зале для игры в мяч, ответ Мирабо на требование короля — разойтись, пламенные речи Мирабо, предрекающие человечеству светлое будущее, перенесение останков Вольтера и Руссо в усыпальницу Пантеона, и даже принятие "Декларации прав человека и гражданина", не о ней ли говорится в строках:

Оковы падали. Закон

На вольность опершись, провозгласил равенство.

И мы воскликнули: "Блаженство!"

В этих стихах спрятан девиз французских бунтовщиков: "Свобода, равенство, братство".

Ну, а дальше, когда поэт вопрошает: "Где вольность и закон?" и приходит к пониманию:

... над нами

Единый властвует топор...

разве это не о гильотине якобинского террора?

Да, "известные стихи" — о французской революции. Мало того, они даже осуждают революцию устами того поэта, которому его соотечественники отрубили голову.

Но заголовок... Пушкин пишет: "Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное заглавие". Можно ли верить этому "не знаю"? Пушкин пишет: "Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря". Перечитываю и вижу — могут, могут относиться и к 14 декабря. При таком условии, при таком заглавии тоже все совпадает. Не напрасно комиссия поставила Пушкину грозный вопрос: "Почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъясненное?" Комиссия прочитала эти стихи как предсказание, содержащееся в заключительных строках, которые обращены к Свободе:

Но ты придешь опять со мщением и славой, —

И вновь твои враги падут;

Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,

Все ищет вновь упиться им;

Как будто Вакхом разъяренный,

Он бредит, жаждою томим;

так — он найдет тебя. Под сению равенства

В объятиях твоих он мирно отдохнет;

Так буря мрачная минет!

Свобода, равенство, мщение, слава — все это предсказания, отвечающие надеждам и русских злоумышленников. Осторожно, с ядовитой вкрадчивостью высказал это генерал Шульгин, и тогда, ничего не отвечая собеседнику, Пушкин схватил перо и, разбрызгивая чернила, ниже своей подписи начертал:

"Для большей ясности повторяю, что стихи, известные под заглавием "14 декабря", суть отрывок из элегии, названной мною "Андрей Шень".

"Все смуты похожи одна на другую, драматический автор не может нести ответственность за речи, вложенные им в уста исторических персонажей".

Пушкин — Бенкендорфу

16 апреля 1830 г.

Прошло полгода. Пушкин был в Петербурге, и дело об "Андрее Шенье" казалось конченным, но вдруг его опять вызвали к оберполицеймейстеру, на этот раз петербургскому — к полковнику Дершау. О нем Пушкин слышал немало, — он выслужился после 14 декабря, вылавливая руководителей восстания; было известно, что он нашел и арестовал Бестужевых. Дершау молча предъявил Пушкину вопросник; та же комиссия военного суда спрашивала всё о том же, словно Пушкин шесть месяцев назад не дал ей исчерпывающих разъяснений. По предложению полковника он сел к столу и записал — едва сдерживая бешенство, отвечая теперь и на новые вопросы коммсии:

29 июня 1827 г. В Петербурге.

Элегия "Андрей Шенье" напечатана в собрании моих стихотворений, *вышедших из цензуры 8 окт. 1825 года*. Доказательство тому: одобрение цензуры на заглавном листе. (Я подчеркнул дату, поставленную цензором — неужели она не опровергает полностью названия "14 декабря"? Конечно, если бы я мог им представить рукопись, бывшую в цензуре, им пришлось бы прекратить всю эту возню, а точнее — травлю. Но где возьмешь?)

Цензурованная рукопись, будучи вовсе ненужною, затеряна, как и прочие рукописи мною напечатанных стихотворений.

(Этим тупицам надо сто раз твердить одно и то же, пока не вобьешь нечто в их дурацкую башку! Нет, дело в другом: они могли бы понять, да не хотят, им не приказано понимать, а точнее, им приказано не понимать. Впрочем, отчасти они ведь и правы...)

Опять повторяю, что стихи, найденные у г. Алексева, взяты из элегии "Андрей Шенье", не пропущены цензурою и заменены точками в печатном подлиннике, после стихов

Но лира юного певца

О чем поет? Поет она свободу:

Не изменилась до конца.

Приветствую тебя, мое светило

Замечу, в сем отрывке поэт говорит:

О взятии Бастилии.

О клятве.

О перенесении тел славных изгнанников в Пантеон.

О победе революционных идей.

О торжественном провозглашении равенства.

Об уничтожении царей.

(Да, да, о победе, о провозглашении равенства, об уничтожении. Там даже и не совсем так. Не столько о победе революционных идей, сколько об их перерождении. Не столько о равенстве, сколько о том, что оно — "безумный сон". Не столько об уничтожении царей, сколько о том, что "убийцу с палачами избрали мы в цари". Но, как бы ни было, пусть они поймут: я писал о великой революции, которая, пусть переродилась, но победила, а не о мятеже, потерпевшем трагическую неудачу).

Что же тут общего с несчастным бунтом 14 декабря, уничтоженным тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков?

(Мои доводы неотразимы. Кажется, у полиции остается теперь только две возможности: утверждать, что я из лукавства писал о французских делах, имея в виду дела русские, или обвинять меня в том, что я предал распространению отрывок, запрещенный цензурой. Первое обвинение я опроверг ссылкой на дату, второе меня не пугает, за такую провинность не казнят. Все же кончить показание надо более энергично, даже — победоносно).

В заключение объявляю, что после моих последних объяснений мне уже ничего не остается прибавить в доказательство истины.

10-го класса Александр Пушкин.

С. -Петербург.

1827 г. 29 июня.

Пушкин рассчитал правильно — из рук суда были выбиты основные обвинения, а последнее было не слишком грозным. Еще пять месяцев спустя ему пришлось давать показание — на этот раз по куда более легкому поводу:

"На требование суда узнать от меня: "каким образом случилось, что отрывок из Андрея Шенье, будучи не пропущен цензурой, стал переходить из рук в руки *во всем пространстве* (если бы так! Россия обладает тончайшим слоем грамотных людей, а прочим мысли, выраженные в моей элегии, не только неинтересны, но даже непонятны... Да и большинство грамотных далеко, во глубине сибирских руд...) отвечаю: стихотворение мое "Андрей Шенье" было всем известно *вполне* гораздо прежде его напечатания, потому что я не думал делать из него тайну.

24 ноября 1827

Александр Пушкин.

С. -Петербург.

Казалось, дело кончено, Пушкин выиграл — оставалось ждать оправдательного приговора. Но Пушкин лучше других понимал, что он имеет дело с противником коварным и беспощадным. К тому же он ведь знал, о чем его элегия "Андрей Шенье". Да и не только он один. Князь Петр Вяземский не раз вспоминал давнее, от июля 1825 года, письмо Пушкина, где были такие слова: "Читал ты моего 'А. Шенье в темнице'? Суди о нем как езуит — по намерению".

По намерению судили Пушкина не только друзья, но и царские чиновники. Его ждали тяжелые дни — отбиться от обвинителей было невозможно. Кончалось одно дело, но сразу начиналось другое. 1 сентября 1828 года он написал Вяземскому: "Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее, "прямо, прямо на восток". До правительства дошла, наконец, "Гавририада". Иногда Пушкину казалось, что он слабеет, что силы, кипевшие в нем прежде, иссякали. В такую минуту слабости он написал свое "Предчувствие", обращенное к Олениной и полное тревоги, тоски, готовности к новым испытаниям и разлукам, но и веры в свою непреклонность:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей

Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молвил мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

Полицейские преследования принесли Пушкину много горя, они же закалили его мужественность. То, что у слабого человека вызвало бы упадок сил, оказалось для Пушкина причиной духовного взлета, благодаря которому родилось гениальное "Предчувствие".

Е. Эткинд

*

Как рыбка ненасытная пиранья,
Пожрет Ничто страданья и старанья.

Пожрет Разлука, злая баракуда,
Твое животрепещущее чудо.

Давно грызут Заботишки, Страстишки
Твой светлый день, прожорливые мышки.

А Лао-Тце, задумчивый китаец,
Два года жил, самим собой питаюсь!

Не лучше ль, коль на то пошло, как будто,
Себя скормить тигрице, так, как Будда,

И в тень войти приятнейшего сада,
Где ждет Нирвана, лучшая награда?

*

Барон Мюнхгаузен в пустыне
(Где было жарко, желто, сине)
Увидел двух огромных львов.

Он дрогнул, но, презрев барона,
Они друг друга (хладнокровно?
И кровожадно!) съели. Во!

От них и зуба не осталось.
И пальма рыжая качалась
Над желтизной, под синевой.

Вот если б в желтеньком просторе
Друг друга съели — Смерть и Горе!
Чтоб лев питался светом звезд

И чтобы в радостном покое
Бежало стадо к водопою
Бессмертных и счастливых коз.

*

Соседи суетливые твои —
Они искусственные муравьи:
Всё ташат, тянут, бегают, несут
Житейский груз (а как же Страшный Суд?).

С одним шагает девяносто лет
Ослабленный искусственный скелет.
На блюде шестьдесят четвертый год
Искусственную челюсть он несет.

А муравей спешит — он деловит,
К нему бежит искусственный термит:
Ему привез инопланетный гость
Берцовую (естественную) кость.

*

Отрубленную голову Пегаса,
Его большие высохшие крылья
Мне показали в городском музее.

Оскал зубов казался злой гримасой,
В глазницах рос ковыль, покрытый пылью,
В засохшей гриве шевелились змеи.

И помня участь вешего Олега,
Я отошел, сказав: "Прощай, коняга!
Заездила тебя крутая горка!"

И он взглянул — и улыбнулся горько.

И. Чиннов

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ

1.

К одиннадцати часам ночи в низкой халупе стало душно и темно от сизого дыма. Еще не пришло время варить жженку, но шампанского было выпито достаточно. В мигающем, неровном свете свечей лица офицеров казались помятыми и постаревшими. Орошенные вином усы облипали мокрые губы, но Лермонтов, много пивший в этот вечер и почему-то хмелевший, был зол. Когда толстый и седой капитан Ветров, совсем уже пьяный, пистолетным выстрелом неожиданно потушил свечу, Лермонтов вздрогнул, рванул себя за ворот мундира, так что круглая, орленая пуговица покатилась на пол. Ни на кого не глядя, он вышел из халупы, хлопнув дверью.

На дворе было необыкновенно свежо и большие кавказские звезды усыпали темно-синее небо. Снеговые шапки гор, в ровном сиянии уже высокой луны, были совсем серебряными. На земляном валу крепости молодыми звучными голосами перекликались сторожевые казаки. Ветер, с привкусом горного снега, приятно касался разгоряченного лица и Лермонтов внезапно задохнулся сладкой стихотворной спазмой. Вот оно разрешение темы, так долго не дававшей ему покоя. Музыка ночи, музыка одиночества, тайная грусть, томящая душу: "Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу и звезда с звездой говорит...".

Обратно в халупу он пришел с просветленным лицом, радостный и спокойный. Синие огоньки бегали уже над горящей

жженкой. Он подставил кружку и залпом выпил огненное, пахучее зелье.

— "Мишель , -- закричал ему через комнату Раевский, -- где тебя черти носили? Прочти нам свои последние стихи!". Лермонтов махнул рукой: "Не хочу, дай гитару...".

На тахте, подвернув под себя ногу в мягком кавказском сапоге, он ударил по струнам и голосом верным но не сильным, начал старую кавказскую:

Абрэк Эл Эддин,
По прозванью Волк,
Один на один
Встретил русский полк.
Позади скала,
Впереди отряд,
Он тогда запел,
Близкой смерти рад...

В комнате стало тихо. Черная ночь вплотную обступила халупу. Капитан Ветров спал, там где свалил его хмель. Пленная красавица-черкешенка, тихо вошедшая в саклю, прекрасными, темными глазами смотрела на поющего Лермонтова.

Вдруг дико закричал сторожевой казак. Жесткими бичами захлопали выстрелы и вторя им, глухо и кругло бухнула у ворот медная пушка. Набег!... Лермонтов вскочил с тахты, отбросив гитару. На ходу пристегивая шашку, он кинулся вон из сакли и , подбежав к коновязи, по кошачьи прыгнул на завертевшуюся лошадь. Кругом, звеня оружием бежали офицеры и казаки. Никто не знал толком, что случилось. Но все чаще и чаще трещали выстрелы, ржали испуганные кони, а из-за вала было слышно как выли и визжали: "Алла, Алла".

Лермонтов как бы со стороны услышал, что визжит тоже, и, ударив плетью лошадь поскакал за ворота.

Прямо на него, пригнувшись в седле, выдергивал из-за спины ружье кто-то черный, в косматой бурке и косматой папахе. Сверкнул желтый огонь и пуля сорвала у Лермонтова эполет. Почти падая с седла, Лермонтов ударил его шашкой,

исловко, самым концом, поперек искаженного откинутого лица, и проскакал дальше...

2.

В китайской фанзе, где временно была расквартирована часть русского охранного отряда на китайской службе, справляли именины взводного Шекина. Шекин, забайкальский казак, с рыжими таракаными усами, с круглыми, тоже рыжими глазами, человек легендарной храбрости и не дурак выпить, отбросив китайские палочки, пальцами лоснящимися от сала, выбирал из чашки жирные куски свинины. В граненых стаканах плескался мутноватый ханшин. Было шумно, весело и накурено.

Михаил Волынцев, студент, попавший в отряд случайно и очень гордившийся, что родился с Лермонтовым в тот же год и день, но на сто лет позднее, сидел рядом с Шекиным, усталый, злой, недовольный. Попойка началась со вчерашнего дня и ему страшно хотелось спать, но перспектива спать в вонючей фанзе, к тому же неблагополучной по насекомым, была не очень приятна.

Стараясь, чтобы его никто не слышал, он вышел из фанзы прямо на скрипучий снег суровой маньчжурской зимы. "Вот так же, сто лет тому назад стоял Лермонтов под кавказскими звездами", — думал Волынцев. — "Боже, как изумительно-прекрасно он написал тогда: "Выхожу один я на дорогу..."

Вдруг между стволов деревьев мелькнула фигура, еще одна. С десятков теней, полусогнутых, припадающих к снегу, безвучно двигалось к фанзе.

"Партизаны!" — сверкнула у Волынцева отчетливая мысль и он рванулся обратно в фанзу...

Когда, разобрав винтовки, отряд выбежал наружу, десятки невидимых пуль пели в ночном воздухе. Врага не было видно, но как бы говоря о нем, тонко зазвенело разбитое в фанзе окно. Бесстрашный, пьяный Шекин, размахивая немецким маузером, уже бежал к лесу. Рассыпаясь цепью, за ним едва поспевал весь отряд...

Прямо на Волынцева шагнул высокий темнолицый китаец. Желтый огонь сверкнул где-то у его бедра...

3.

Под самое утро попойка в фанзе все еще продолжалась. Щекин, с лицом обугленным алкоголем, по лошадиному выкатывая красные белки глаз, говорил указывая на Волынцева: "Барчук-то наш как нарезался: спит с самой полуночи и ничего не слышит...".

Михаил Волин

ГОНДОЛА В ЛАГУНЕ

Вода и небо *стуккатура*:
Зелено-бурая, почти табак.
Искусство: умница. Натура: дура.
В раю, поверьте, думается так.
Венеция вдали едва блестела:
Уставленный бутылками поднос.
Вблизи мне в душу врезывался белый
Гондолы, траурной, зубчатый нос.

ВЕНЕЦИЯ

ЦЕРКОВЬ СВ. ЗАХАРИЯ

Почему на закате в разгаре я?
Эти персики — эти лучи
Повечерья у церкви Захария
До последней минуты учи.

Затихали гулливые горлицы
На карнизе, едва трепеща,
И Венеция, поздняя, молится
Вместе с сумерками сообща.

Вапоретто, последнее: рапидо.
Гондольеры из Тассо поют.
Снятся пестрые праздники Запада.
Ночью утро отпраздную тут.

Вечно-старое: вечно-новое.
Птицы райские: жены, мужи.
Веницейское лето, парчевое:
Кистью памяти, длясь, освежи.

Разгораются мраморы Марка и —
Поднялись облака голубей.
Краски вспыхнули самые яркие.
А на палубе дож-одиссей.

Испарится ли море? Не верится.
Виноградные волны опять
Рвутся в ухо, сердитые, пенятся.
Раежителю некогда спать.

Юрий Иваск

*

Было просто всё и мило —
Ты любил и я любила.
Очень счастливы мы были,
Как в прадедушкиной были.

Но когда я изменила
Наша жизнь пошла на слом
Стал ты нервничать и злиться,
Нам с тобой уже не спится
И не весело вдвоём —
Плохо мы теперь живём.

Если б я была царицей,
Если был бы ты царём —
В те далёкие века —
Ты б расправился со мною,
Ты намял бы мне бока.
Над такою-то женой
Суд недолгий, да крутой:
"С дикой кошкой в непогоду
Посадить в мешок — и в воду!"

Ну, а всё-таки, потом,
Осознав себя вдовцом,
Ты бы погрустил тайком
Об Иринушке-царице,
Светлоокой, белолицей,
Той, что звал ты Райской птицей.

Ирина Одоевцева

О НЕКОТОРЫХ МЫСЛЯХ У ДОСТОЕВСКОГО И ТОЛСТОГО

Настоящая статья есть извлечение из большой работы на сходную тему о Достоевском и Толстом. Все мои и знакомых библиографов поиски подобных работ и о таких писателях, как Гете, или Бальзак, не дали мне ничего и не удалось "себе присвоить ум чужой.". Между тем такая статистическо-психологическая и частично даже социологическая работа очень интересна. Ясно выступают и платы, жалованья, жизненный уровень и отношения сословные, чиновные и классовые. Оба писателя — Достоевский и Толстой* несомненные утописты, оба искали спасение, нравственность среди крестьянства. Правда, оба предчувствовали грядущую катастрофу и искали основу для спасения в морали. Но и отличия во всех проявлениях гражданственности у обоих огромны. Оба принадлежали к интеллигенции, Д. к разночинно-дворянской, Т. к высшему классу помещиков-богачей. Конечно, сам Т. полагает себя средне богатым (к концу XIX века оценивает свое состояние в 600,000 рублей), Д. же почти всю жизнь бедствовал, писательством подерживая себя и близких. Д. из революционера делается православным монархистом, преданным Церкви и государству, ярким патриотом славящим нашу войну с Турцией, чего не делает Т. и последние тридцать лет жизни он уходит в сектанство, отрицает право государства на прямые и косвенные подати, отвергает современную науку и.т.п. Он не присутствует на открытии памят-

* О Толстом см. мою статью в "Записках Рус. амер. уч. О-ва". 1977 г.

ника Пушкину, пытается сам пахать и т.д. Отношение его к аристократии и дворянству сильно меняется с эпохи 1880х годов. Д. никогда не называет себя помещиком, а Т. говорит: "Деревня Ясная Поляна Тульской губернии..., которая теперь, в 1879 году принадлежит мне и 290 душам временно обязанных крестьян, 170 лет тому назад, то есть в 1709 году, в самое бурное время царствования Петра мало в чем была похожа на теперешнюю Ясную Поляну...Теперь я один помещик, у меня каменные дома, пруды, сады...В 1709 г. было 137 душ и пять помещиков..." При любви к крестьянству Т. часто говорит наивности: Грамотность и книгопечатание вредны для крестьян. Тульский же мужик "все производит сам для себя". Деньги? — Не нужны мужику, "он не находит нужным из них никакого употребления... Когда у него есть деньги, он зарывает их в землю и не находит нужным делать из них никакого употребления." Или в 1882 году: "Деньги сами по себе зло. И потому кто дает (на бедных деньги), тот дает зло." Еще острее: "Таблицы химических соединений...никогда не были и не будут ни наукой, ни искусством." Таких утверждений, конечно Д. никогда не делал. Его отношение к народу, к русским необычайно сложно, часто противоречиво, но овеяно мистическим необоснованным упованием на "русского Бога" и "русского народного Христа." Ниже я приведу все основные мысли Д. о Руси и ее народе. Разбираясь в четырнадцати сословиях (в их число я ввожу и интеллигенцию и казаков, и профессиональных революционеров, и проституток) мы порою наталкиваемся на прямые ошибки то у Т., то у Д. С них я и начну свое исследование. Цитаты по Д. даю по изд. 1956г. Москва и по изд. "Дневника писателя" И. Ладыжникова, Берлин 1922г. В рассказе "Господин Прохарчин", стр. 419-420 полная путаница: 2497 рублей серебром и медью не 2500 рублей ассигнациями, а по тем временам значительно более 5000 рублей ассигнациями. Кучер Пралинского Михей внезапно превращается в Трифона в "Скверном анекдоте". IV, стр. 6,7,11, 13,23. В "Преступлении и наказании" старуха процентщица то вдова чиновника 14го, то 10 класса. V, стр. 67,69. В романе "Идиот" Коле то 13 лет, то через полгода уже 15 лет, см. стр. 184, 213, 272. В "Братьях Карамазовых" Дмитрий то поручик в отставке, то капитан, IX, 430,471. Порою трудно установить чин. Термин "СОВЕТНИК"

может быть чиновник от первого до четвертого класса. Д. путает и год своего рождения. Возражая на ошибки "Русского энциклопедического словаря" и их исправляя, сам ошибается и дает год своего рождения — 1822 год, а надо — 30 окт. ст. стиля 1821 года. Я заговорил только о некоторых ошибках писателя и при составлении списков сословий, плат, жалований и т. п. надобно быть начеку, проверять и по дальнейшим страницам, и по другим изданиям и справочникам. Чтобы сократить статью не привожу почти цен и жалований указанных Т. в его произведениях и письмах. Скажу только, что они схожи с ценами у Д., но показывают рост заработков в XX веке. За свою плату начинающий рабочий в Москве на фабрике мог купить в начале XX века пять пар крепких сапог!

В "Новом Журнале" No 126 вышла преинтересная статья А. Федосеева о советском уровне жизни и заработках. По Д. и частично по Т., я приведу цены и жалованья.

1840-ые годы: Низший чиновник — коллежский регистратор — 300 рублей (ассиг.) в год., но получал часто к празднику некую сумму наградными. В Сибири платили за урок домашнему учителю 30 копеек серебром. Там же зимою фунт мяса стоил полкопейки, летом же втрое дороже — 1½ копейки. Пара подкандалников — 6 гривен серебром. Но номерная баня в конце пятидесятых годов — 50 копеек! Калач — полкопейки. В России 1 фунт Ханского чая 6 целковых. В СПб комнатка с прихожей под крышей 6 рублей в месяц, в конце 1850-х годов.

1860-ые годы: Жалованье слуги коллежского ассесора — 7 рублей на своих харчах. Хорошее жалованье переписчика-каллиграфа 35 рублей в месяц. Начинаящий чиновник на жел. дороге — 25 рублей в месяц. Низший чиновник из подъячих — 17 рублей в месяц серебром. Лихач-извозчик в один конец — 50 копеек. Титулярный советник — 23 рубля 40 коп. в месяц.

1870-ые годы: Обед без вина в приличном ресторане на Невском пр. в СПб — 1 рубль. Цена похорон (второй разряд?) 50 рублей. Пенсия надворной советницы вдовы — 200 рублей в год. Гувернантке на всем готовом платили, если она русская, около 200 рублей в год. Чиновник среднего класса получал 1000 руб. в год (вероятно ассигнациями).

По Т. Цены и Заработки

1850-ые годы: Ямщик зарабатывает в год 120 рублей ассигнациями, а на себя тратит двадцать рублей! Вместо поставки рекрута можно заплатить 300 рублей.

1870-ые годы: Приличный повар получал 40 рублей в месяц, а лакей 15 рублей, но чаевыми до ста еще рублей в год.

Конец XIX века. Фабричный начинающий рабочий в Москве получал 20-25 рублей серебром. Хорошие сапоги на заказ — 8 рублей серебром. Косец в деревне за день 50 коп. Сельский учитель — сорок рублей в месяц. Старший чиновник, управляющий банком до 8000 рублей в год.

Мнения Д. о русском народе, о русских вообще, можно разделить на две категории; похвалы, восторг и жестокая критика. Я не думаю входить в критику мнений писателя, ни в анализ того, что и как он заимствовал от А. Григорьева, Н. Данилевского и др. Начну приводить цитаты первые отрицательного характера. Автор "Записок из мертвого дома" пишет: Арестанты "народ угрюмый, завистливый... Ни признаков стыда и раскаяния (а не меньше половины арестантов — мужики.)". Сходно с книгами Краснова и Солженицына они огрызаются: "Нет, ты сперва помри, а я после." Ср. и выражения "наестся с пуза", у Солженицына — "от пуза". III, стр. 414. Каторжники ненавидели дворян: "Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать." Стр. 417. "В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению... Его не чуждаются, с ним водят дружбу... Если б вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли." Стр. 432. Угрызений совести нет! "Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал, даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества." Стр. 585. "Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке." Стр. 596. В остроге писатель описывает окружение: "Злость, вражда, свара, зависть, непрерывные придирки к нам, дворянам, злые, угрожающие лица." Стр. 609.

Русские люди любят бродяжничать и хотя "бродяга редко не разбойник," но есть, кто "без особых преступлений всю жизнь

свою пробегал." И мирный поселенец бросит и жену и детей и "уйдет к генералу Кукушкину в лес... Все его куда-то тянет." Стр. 622. Опять же на каторге большинство было мечтателей, но "злое до ненависти... Добрые — очень маленькая кучка". Стр. 652 сл. Д. указывает на полное отчуждение простолюдина от дворян, интеллигенции и пророчески замечает, что об этом "может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо." Мужики говорят дворянам: — "Вы железные носы, вы нас заклевали." У простых каторжников "нет чувства чести, при уклонении (некоторых) от общей претензии".

Некоторые замечания Д. просто поразительны. Так, он рассказывает об одном поляке, который был "сильная и в высшей степени благородная натура", но писателю не нравилось "слишком большое умение владеть собою и не нравилось, что он (профессор) никогда и ни перед кем не развернет всей души своей". Стр. 673 сл. Нельзя не удивляться и характеристике граждан губернского города в Сибири: Там "было столько доносчиков, столько интриг", что само начальство боялось сделать и справедливые облегчения для каторжников из дворян.

В "Зимних заметках о летних впечатлениях" Д. так характеризует русских: "Мы чрезвычайно легковверная нация и все это у нас от нашего добродушия." В 1863 году писатель гремит: "Теперь уже народ нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, а в XVIII веке еще понимал. И рядом почти: русские "слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме." (Но форма, действительность — энтелехия всякого тела, всякого дела!) IV, стр. 313. Свидригайлов в "Преступлении и наказании" утверждает: "Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях... Теперь все помутилось. Русские люди широкие люди... и чрезвычайно склонны к фантастическому, беспорядочному". V, стр. 503, 514. В романе "Идиот" Рогожин заявляет: "Многие ведь ноне не веруют... У нас по России, больше чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют?... Мы дальше их (заграницы) пошли." Князь Мышкин вторит: "Русская страстность наша: коль атеистом станет, то непременно начнет требовать иско-

ренения веры в Бога насилием.. Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире!" VI, стр. 243, 617.

Евгений Павлович грустит: русский либерал "отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать... Даже слова ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ стали стыдиться." VI, стр. 372, 380. Д. устами героя в "Подростке" спрашивает, сумеем ли мы принести свободу? и "так же ли по вкусу нам свобода окажется?" VIII, стр. 265. Еще ужаснее замечание Аркадия Долгорукова: он думает, что русский может "лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренно... Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — вот вопрос!" VIII, стр. 420, 488, 497. Версиров видит кругом в России "хаос" и наступление "смутного времени". В 1873 году Д. предчувствует крах ЕВРОПЫ, приход нового духа социальной революции — и в этом не может быть никакого сомнения. Мир спасется уже после посещения его злым духом... А злой дух близко: наши дети, может быть, узрят его." (Любовь и Федор Достоевские пережили все ужасы революции.).

Не менее ярко и замечание Д. в "Дн. писателя" за 1877г., стр. 63: "И если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов на глазах их детей, то разве только случайно... ну и, разумеется, потому еще, ЧТО ГОРОДОВЫЕ СТОЯТ." В том же "Дн. писателя" за 1877г. писатель разбирает творчество Толстого, — "Детство и отрочество" и "Войну и мир". "Все эти поэмы теперь не более лишь, как исторические картины давно прошедшего... Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более случайным семейством". Кругом "все расшатано, разложено", неоформлено. Под вопросом не только интеллигентное семейство, но и простонародное. См. стр. 273.

Русской прислуге и русским чиновникам достается так от Д. Хотя писатель частенько нападал и высмеивал немцев, начиная с "Петербургских фельетонов", но вот что он отмечает о служащих женщинах в отелях Эмса. Писатель говорит с искренним восхищением о любезности, веселости, точности в работе. Девушки же служат "за самую скромную плату, немис-

лимую у нас в Петербурге, а сверх того, с нее требуется, чтоб одета была чисто... Нет, у нас так не работают; у нас ни одна служанка не пойдет на такую каторгу (как в отелях Германии), даже за какую угодно плату, да сверх того, не сделает так, а сто раз забудет, прольет, не принесет, разобьет, ошибется, рассердится, "нагрубит", а тут в целый месяц ни на что ровно нельзя пожаловаться." И чиновники немцы неизмеримо лучше, вежливее и добрее русских: "Всякий знает, что такое чиновник русский, из тех особенно, которые имеют ежедневно дело с публикою: это нечто сердитое и раздраженное... Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер." Немецкий же чиновник вежлив, внимателен, хотя "сравнительно с немецким у нас чиновник несравненно меньше часов сидит во дню за делом". Русский чиновник это — "грубость, невнимательность, пренебрежение, ВРАЖДЕБНОСТЬ к публике." В Эмсе чиновники заняты, кроме двух часов на обед, сплошь весь день и все перегружены работой, но "все это терпеливо, ласково, вежливо и в то же время с сохранением достоинства." Дн. писателя, 1876г., стр. 331, 332, 333, 334. Но, скажет читатель, чиновники русские главным образом происходили тогда из мещан и разночинцев, прислуга — из просто-народья и мещан, арестанты, где добрых — маленькая кучка, в основном мужики и мещане, интеллигенция из разночинцев и дворян, а она отрицает строй и Россию. Как же надеяться писателю на победу "русского Бога"? На это пытается ответить Д. Князь Мышкин заявляет: "Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет... Воскресенье его (человечества) возможно одною только русскою мыслию, русским Богом и Христом" VI, стр. 617-618.

"Будущность Европы принадлежит России... Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это оттого, что в Европе уничтожатся все великие державы и по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев... А потому и останется один только колосс на континенте Европы — Россия." "Дн. писателя" 1876г., стр. 198, 256. "Всякий великий народ верит, если только хочет быть долго жив, что в нем - то, и только в нем одном, и заключается спасение мира... Общечеловечность есть

идея национальная русская к сохранению полной свободы людей... с полным уважением к национальным личностям." "Дн. писателя", 1877г., стр. 24 и 34 сл. Еще бы не так! — "Сей народ Богоносец". "Братья Карамазовы" I, стр. 394. Вообще же Русь вынесет все, что ни пошлет ей судьба "и останется в сути своей такою же прежнею, святой нашей Русью, как и была до сих пор... Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно, что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений." "Дн. пис." 1877г., стр. 275. Народ "себя и нас спасет... Свет и спасение воссияют снизу. Христа он (народ) знает и носит Его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения." (Это при описанной склонности к атеизму и богоборчеству?). На такие сомнения у Д. готов ответ — "Дн. писателя" 1876 г., стр. 66:

"Нужно судить народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает". Народ-де сохранил и красоту своего образа, в нем есть замечательные святые и они-то "всем нам путь освещают". (Да, св. Сергей Радонежский, св. Димитрий Ростовский, св. Тихон Задонский, св. Серафим Саровский, но не менее же освещали и освещают путь на Западе св. Франциск Ассизский, св. Фома Аквинский, св. Фома Кемпийский, св. Иоанн от Креста и сотни других?). Для Д. в России "чрезвычайное развитие государственного начала... вера в справедливость и в правду". Цивилизация в России "стремится к сглажению и к соединению сословий", пишет он в 1873 году. "Настоящее высшее сословие у нас — сословие образованное", стр. 133 сл. Тут писатель ратует и против полунауки, мутящей молодежь, сходно с борьбой Солженицына против "образованщины". — Любопытно, что Д. защищает всегда и свою идею о необходимости страдания в жизни. Духовная важнейшая потребность русского народа — "есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем... Страданием своим русский народ как бы наслаждается." И это не результат только внешних несчастий, "а бьет ключом из самого сердца народного". "Дн. писателя" 1873 г., стр. 260.

Слово сословие — "сословные интересы" встречаем впервые в романе "Униженные и оскорбленные", говорит его кн. Вал-

ковский. Д. предвидит особую роль для дворянского сословия устами Версилова в "Подростке". Еще в 1861 г. в журнале "Время" писатель называет Александра Второго "Премудрый и благословенный царь". Дворянство же, в его русском типе, есть мысль "всемирного боления за всех... Одна Россия живет не для себя, а для мысли." Таков и ее высший культурный слой — "дворянство в тысяче человек" его лучших представителей, ибо русские обладают способностью "всеосприимчивости, всечеловечности". Русский "сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы." VIII, стр. 514. Русское дворянство могло бы оставаться "высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту..."

В заключение приведу как бы пророчества Д. и Т. о катастрофе. В своей записной книжке, вероятно не задолго до кончины, Д. пишет: "Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты..." Если Россия вступит в ожидаемую всеевропейскую войну — "О, ужас! Конец ей тогда, совсем конец". Т. прочтя к концу жизни книгу Генри Джорджа "Прогресс энд поверти" 1879г. записал в 1910 году в очерке "Три дня в деревне": "Вандалы, предсказанные Джорджем, уже вполне готовы у нас в России... Эти отпетые люди, особенно ужасны у нас, среди нашего, как это ни странно кажется, глубоко религиозного народа... УЖАСНЫ У НАС именно потому, что у нас нет того сдерживающего начала, следования приличию, общественному мнению, которое так сильно среди европейских народов. У нас либо истинное, глубоко религиозное чувство, либо полное отсутствие всяких, каких-либо сдерживающих начал." В России только "две касты — рабочие и нерабочие," — образованные люди.

*

Слово *пролетарий, пролетарии* я впервые нашел в рассказе "Крокодил" 1865г. *Коммунист* находим впервые, если не ошибаюсь, в "Дядюшкином сне", стр. 294. Иногда определение при чине дает сразу указание на литературное заимствование. Приведу один пример. В "Дядюшкином сне" концовка есть переделка части главы восьмой "Евгения Онегина". У Д. даже появляется "сановник в ДУШИСТЫХ СЕДИНАХ", ср. "Евгений

Онегин" VIII, XXIV. Профессии, сословия, чины мелькают очень часто у Д. Например, на первых 43 страницах "Бесов" находим 51 чин, звание или профессию. Всего я насчитал 1252 профессии, чина, сословия и звания, у Т. же — 932.

*

А аббат, аббат /иезуит/, агент /антрепренера/, агент-провокатор, агент /революционеров/, агент /служащий рулетки/, агент тайной полиции, агитатор, агитатор /заграничный/, агитатор-клерикал, агроном, адвокат, адвокат-защитник, администратор, адъютант, актер, актер /помещичий/, актриса, актрисочка — актриска, акушер, акушер — психиатр, акушерка, акушерка /земская/, акционер, Александр I, англиканский священник, антрепренер, антрепренер /артистической труппы/, антрепренер /издатель книг/, антрепренер /работодатель/, антрепренер /театра/, антрепренер /торговец вином, контрабандист в остроге/, Апостол, аптекарь, аптекарь — немец, арестант, арестант арестантской роты /военного ведомства/, арестант — /1)в каторгу, 2)в завод, 3)на поселение/, арестант /из бродяг/, аристократ, аристократка, артельщик, артиллерийский капитан, артиллерийский офицерик, артист, артист /искусник, ловкач/, артист крепостной, артист оркестра, артист /певец/, артист-рисовальщик, артист /художник/, археолог-самоучка, архиепископ, архиепископ /граф Ледоховский/, архимандрит, архиерей, аскет, ассесор /чиновник/, астролом [= нар. астроном/, астронавт, астроном, атаман разбойников, атташе /посольства/, аферист.

Б баба /торговка с лотка/, баба, баба-чухонка, бабка /повивальная/, банкир, Барберини /князь/, барин, барон, баронесса, барыня, барышник, барышня, батарейный командир, батюшка /священник/, башмачник, бегун /секта беспоповцев/, белошвейка, Белый Царь, берейтор, библиотекарь /иеромонах/, биржевик, биржевой игрок, благородная девица /=дворянка/, блаженная /Лизавета/, блаженный /юродивый/*, богач-купец,

* Д. хотя знает по наслышке о "юродстве" Христа ради, но не зная ничего по настоящему о юроте Иванове Яковлевиче (Курейше) пишет в "Дядюшкином сне", что из неудачников уязвленного самолюбия выходят "все юродивые, все

богдыхан /китайский/, богоделенка, богомолец, богомолка, богослов, богослов-атеист, большой стотысячник /купец/, бона-партист, бонбанник /шеголь, жуир/, бонна, боярин, бригадир, бродяга /непомнящий родства/, бродяга-промышленник по столовской части /=ростовщик-меняла/, будочник, булочник, бульонщик /презр. = повар/, буржуа, бутושник /=будочник/, буфетник, /=буфетчик/, буфетчик, бухгалтер, бюрократ.

В ванька /извозчик/, ванька ночник /ночной извозчик/, варнак /разбойник/, вассал /-крестьянин/, вдова коллежского ассесора, вдова майора, вдова-чиновница, великая герцогиня, великий князь, вельможа, "верхнеклассный круг", вестовой, ветеринар, ветеринар /полуцыган/, ветеринар-самоучка, ветеринарный врач, ветеринарный лекарь, визирь /турецкий/, виконт /Биконсфильд/, виконтесса /французенка/, виртуоз /музыкант/, вице-губернатор, владетельный принц, водовоз /арестант/, воевода /из пословицы/, военный инженер, военный мининстр, "военный офицер" — /sic!/, воин /русский/, волостной голова, вольный художник, вор, воровка, воспитатель, воспитатель /колон. малол. преступников/, врач, выжига /опытный мошенник/, высокопревосходительство.

Г гарсон /петербургской парикмахерской/, генерал, генерал /бригадный/, генерал-губернатор, генерал-губернаторша, генерал-интендант, генерал-лейтенант, генерал майор, генеральша, геометр /Лобачевский/, гернгутер /секта/, герольд, герцог, герцог Немурский, герцог Омальский, герцогиня, гетера /уездная/, гимназист, гимназистка, горничная, городничий, городской голова, горожанин /дворянин/, господин /дворянин/, гостинодворец, государь, гофмаршал, гоф-медик /парижский/, гравер, градоначальник, градо-правитель /жидишка/, гражданин, гражданин /Кантона Ури/, гражданский арестант, гражданственник, граф, граф /Бисмарк/, граф Кавур, граф /Парижский/, графиня, гренадер, гризетка, гробовщик, гробовщица, /жена гробовщика/, губернатор, губерна-

скитальцы." II, стр. 418, 424. О И. Я. Курейше (Корейше) см. мою статью в "Русское слово в Канаде". Торонто, 1957 г. V, стр. 7-8, 9 сл. Это единственный юродливый Христа ради, написавший книгу о себе, благодетель бедных умалишенных. В печати его высмеивал И. Прижов.

торша, губернский секретарь, губернский чиновник, гувернантка, гувернантка-англичанка, гувернантка-швейцарка, гувернер, гугенот, гуртовщик, гусарский офицер.

Д Даву /маршал/, дама, дачный наемщик, дворецкий, дворник, дворничиха, дворовый человек, дворянин, дворянин /личный/, дворянин /родовой/, дворянка, дворянское дитя, дева /деревенская/, девица /живущая от себя/, девица-проститутка, девка /дворовая/, девка /крестьянка/, девка /проститутка/, девушка /горничная/, девушка /служанка/, девушка /швея/, действительный статский советник, декабрист, делец, денщик, депутат, депутат департамента /Франции/, депутат франц. Нац. собр., деспот, диакон /заштатный/, диктатор /Гамбетта/, дипломат, директор департамента, директор Колонии малолет. преступников, директриса /гимназии/, дисконтер, доброволец /русский 1877г./, доктор /медицины и хирургии/, докторша, докторша /=жена доктора/, домашний секретарь, домашний учитель, домоводка /прислуга/, доцент /коллежский ассесор/, дочка пастора, драматург, дружинник /княжеский/, духовное лицо, душеприказчик, дьячок.

Е еврей /торговец/, егерь /фрнцузский/, епископ, ефрейтор, Екатерина II.

Ж жандарм /заграничный/, жандарм /конвойный/, железнодорожник /капиталист/, железнодорожник /канцессионер/, железнодорожник /финансист/, женщина мещанского звания, женщина полусвета, живописец, жид, жид-кабатчик, жнец, Жозефина, Минна /=куртизанки/, журналист.

З заводчик /хозяин фабрики, завода/, закладчик /процентщик/, закладчик /кто закладывает/, законодатель /Ликург, Солон, Магомет, Наполеон/, заседатель /выборный член правления, обычно дворянин/, заседатель = субалтерный чин в Сибири, застрельщик /в пехоте/, землевладелец, земский врач, знатная дама, знахарка, золотопромышленник, золотильщик, зубной врач.

И Иван III, игумен, иезуит, иерарх, иерей /Божий/, иеродиакон, иеромонах, иеросхимонах, извозчик /долгих/, извозчик /легковой/, издатель, изобретатель /гений/, изобретатель, изувер /юрод/, император, император Австрийский,

император Александр I, император Вильгельм, император Германский, император Наполеон III, император Николай I, император Петр /Великий/, император Римский, император Франц Иосиф, императорский принц, императрица Жозефина, инвалид /надзорник в бараке каторги/, индийская императрица, инженер, инженер /военный/, инженер из команды/, инженер-полковник, инженер-строитель, инженерный нижний чин /=солдат?/, инженерный офицер, инженерный писарь, иногородний /человек/, иноземный посланник, инок, инспектор /гимназии/, инспектор /училища/, интеллигентный класс/ Дн. писателя 1873г. стр.391/, интеллигент /славянский/, св. Иоанн Милостивый, исправительный солдат /из исправительных рот/, исправник, исследователь /географ, историк/, историк.

К каббалист-раввин, кабатчик, кабинетный прислужник /лакей/, кавалер /орденов/, кавалер /Почетного легиона/, кавалергард, кавалерийский офицер, кавалерист, кавалерист /отставной/, кадет, казак, казак /линейный/, казачок /мальчик-слуга/, казначей, калашница /баба/, калашница-девчонка, калиф, каллиграф /военный писарь/, камардин /=нар. камердинер/, камергер, камердинер, камеристка /французенка/, камер-паж Наполеона, камер-юнкер, кандидат университета, кандидатка Николаевского института, канканерка /французенка/, кантонист, канцелярист, канцлер, капельдинер, капеллан, капельмейстер, капиталист, капиталистка, капитан, капитан /армеец/, капитан-исправник, капитан /корабля/, капитан /парохода/, капитанша, каплан /=капеллан/, капральный /унтер-офицер/, каптенармус, караульный /солдат/, караульный офицер, караульный, кардинал, кардинал /великий инквизитор/, кардинал /Ледховский/, карлик /шут/, карлик, карлист /испанский/, кастелянша, католический патер, католический священник, каторжник, каторжный /=каторжанин/, кашевар /выбранный артелью/, квартальный, квартальный надзиратель, квартальный поручик, кельнер, китайский император, классный наставник /гимназии/, клерикал, клубный старшина /дворянин/, ключница, книгоноша /продавщица Евангелий/, книгопродавец, книгопродавец-спекулятор, княгиня, князь, князь Бисмарк, князь Курбский, князь Меттерних, князь Милан Сербский, князь Николай Черногорский, князь Сербский, князь Талейран, княжна,

кокотка, коллежский советник, коллежский советник /правовед/, камандир, командир команды еженерной части, камандир корпуса, командир полка, комедиант уличный, комендант, комендант /крепости/, комиссар /род интенданта/, комми /француз/, коммуна /русский/, коммунист, компаньонка, компаньонка-французенка, композитор, композитор /Глинка/, конвойный /солдат/, кондитерша-немка, кондотьеры, кондуктор /инженерный, чин/, кондуктор /общественной кареты/, кондуктор поезда, конокрад, консул /дипломат. корпуса/, конторщик /банка/, конторщик /продавец в ресторане/, контрабандист, кораблестроитель, кореник.мужик /настоящий, истый крестьянин/, кормилица /мамка/, корнет, корабейник, королева, король Венгерский, король Датский, король Иудейский /=ростовщик/, король Итальянский, король Саксонский, король /Швабии/, король Шведский, корреспондент газеты, корреспондент /европейский/, корреспондент /ученых обществ/, корридорный лакей, корридорный слуга, корридорный /трактира/, красильщик, крепостная девка, крепостник /помещик/, крепостной /бывший/, крепостной /крестьянин/, крестьянин, крестьянин-пахарь, крестьянин /содержатель распивочной/, крестьянин-хлебопашец, критик /литературный/, крупер /рулетки/, ксендз /польский/, ксендз ссыльный, кузнец, кулак /богач/, курец /владелец капитального дома/, купец /гостиного двора/, купец /именитый/, купец-лавочник, купец /миллионер/, купец /миллионщик/, купец - откупщик, купец-подрядчик, купец /содержатель номеров гостиницы/, купец /стотысячник/, купец /Шей гильдии/, купец домовладелец, купчиха, курьер /посыльный/, кухарка, кухмистер, кухмистерша, кучер, кучер-извозчик /из господских крестьян—оброчный/.

Л лабазник, лавочник, лавочник /бакалейный/, лакей, легитимист /французский/, лекарь, лекарь /дежурный/, лекарь-ординатор, "лекарь"—социалист, лекарша /врач, жена врача/, лектор /всемирной истории/, лектор /университета/, летописец, литератор, литератор-критик, литератор /поэт/, литературный критик, литограф, лихач-извозчик, Лихтенбергер Иоанн /пророк/, лицеист, ловчий, ломовой извозчик, лорд /английский/, лорд Девоншир, лоретка, лохмотник /городской жулик/, лошадиный барышник, "лучший человек" /патриот в истории/.

М магистр, магистр-естественник, магистр прав, магнат /польский/, мадам Леру /хозяйка шляпного магазина/, мадам Шифон /хозяйка белошвейной мастерской/, Мазурик, майор, маляр, маляр-красильщик, мамелюк /Рустан = Констан/, мамка /кормилица/, маркграфиня Луиза, маркер, маркиз, маршал /Базен/, маршал /Мак-Магон/, маршал Ланн, маршал-президент, масон, мастер /портной/, мастер-торговец /немец/, мастерица /портниха/, мастеровой, математик, мать /монахиня/, мать-игуменя, машинист /американец/, медик, медицинский студент, медник, межевой чиновник, мелкопоместный помещик, меломан, мельник, механик /американец/, мешанин, мешанка, мешанский дом, миллионер, минералог, министр, министр иностр. дел /Франции/, министр-президент, министр просвещения, министр финансов, министр /французский/ мировой посредник /первого призыва/, мироед /=кулак/, митрополит, мичман, мичман /отставной/, младший унтер-офицер, могильщик, модистка, модный сектант, молочница /баба/, молчальник /монах/, монарх, монарх австрийский, монарх российский, монархист, монастырка, монах, монах-исповедник, монах-летописец, монах-советодатель, монсиньор, мормон, моравский брат /секта/, моряк, мошенник, мужик, мужик /господский, казенный, вольный, обзанный, экономический = ранее монастырский/, мужик /=мужчина/, мужик-сибиряк, мужичка, музыкант, музыкант /крепостной/, мыслитель, мэр, мясник, мясник /мясистый человек/.

Н надворный советник, надворная советница, надворный советник кавалер орденов, надзиратель /квартирный/, надзирательница /воспитательного дома/, надзирательница /дома предвар. заключения/, надсмотрщик /сторож в доме/, наместник королевства, Наполеон I, Наполеон /президент/, наследный принц, наставник, настоятель скита, начальник главного штаба, начальник госпитального караула /офицер/, начальник дивизии, начальник-директор, начальник епархиальный, начальник канцелярии, начальник отделения /департамента/, начальник /партионный арестантов/, начальник этапа /ссылных/, начотчик /раскольник/, немчик-поэтик, нигилист, нигилистка, нищая, нищая Камелия /из француженок/, нишенка, нищий /байгуш — род бобыля/, нищий /по ремеслу/, номерной

/слуга в гостинице/, носильщик /в порту/, носильщик тяжестей, нотариус, ночной ванька /извозчик/, нувеллист, нянюшка, няня.

О обер-кельнер, обер-кондуктор /жел. дор./, обер-офицер, обер-офицерская жена, однодворец /князь/, опекун, ординатор /доктор арестантских палат/, Осман-паша, откупщик, отставленный генерал /=в отставке/, отставная потпоручица, отставной военный, отставной генерал, отставной гусарский поручик, отставной капитан гвардии, отставной корнет, отставной полковник, отставной почтамтский /чиновник/, отставной солдат, отставной чиновник, отшельник, офицер, офицер /егерьский/, офицер пехотный, офицер /северо-американского броненосца/, офицер /турок/, охотник /доброволец?/, охотник /на дичь/.

П паладин, палатный сторож, палач, палач /и гицель, истребитель бродячих собак/, панславист, папа /римский/, папист, парфюмер, парашник /выбирался артелью/, парень /дворовый/, парикмахер /дворовый/, пасечник, пастор /остзейский/, пастух, пастушок, пастырь /православный/, патриарх /греческий/, патриарх /Москвы, истор./, патриарх /=старец наставник/, пахарь, паяц /немец/, певец, певец /клировый/, певец-ребенок /уличный/, певец /салонный/, певица, певица /крепостного театра/, певица /с улицы/, певчий, педагог, педагогичка, перекупщик, переписчик, перчаточник, песенник /певец в трактире/, Петр Великий, печник, пионер /=сапер/, писака /писатель разночинец/, писарь /военный/, писарь /департамента/, писарь /жел. дор./, писарь сельский, писатель, писатель /гениальный/, писец /полицейской конторы/, письмоводитель /полиц. конторы/, письмоводитель следователя, плантатор, пластун, плац-майор /начальник острога/, пленный /турок/, повар /клуба/, повар /для арестантов/, повивальная бабка, повивальная бабушка, повитуха, поводирь, повытчик /род столоначальника/, погребальщик /могильщик?/, подвальный поверенный /в виноторговле/, подвальный /=смотритель винного подвала/, подделыватель билетов /банкнот, билетов займа/, поджигатель /арсонист/, подмастерье /сапожный/, подполковник, подпоручик /из фельдбелей/, подрядчик-англичанин, подчасок, подъячий, подъячий — "крючок" /низший чиновник, плут/, пожарный, пожарный сторож, политический деятель, полити-

ческий заговорщик, политический преступник, полицейский, полицейский служитель, полицейский шпион /во Франции/, полицмейстер, полковник, полковница, полководец /великий/, полицмейстер, полная генеральша, половой трактира, поломоечка, поломойка /женщина/, польский граф, помещик, помещица, помещица /бывшая, сводня/, помощник квартального надзирателя /поручик/, помощник столоначальника, помощница смотрительницы острога, пономарь, понятой, поп, попрошайка-пьянчужка, портной, поручик, поручик в отставке, поручик гвардии, поручик команды, поручица, поселенец, посланник /итальянский/, послушник /монастырский/, посол /турецкий/, посредник, постник /инок/, потомственный почетный гражданин /купец/, потпоручик /из юнкеров/, почтмейстер /уездный/, поэт, поэт-художник, почетный гражданин, почетный мировой судья, правитель /властитель, владыка/, правитель государства /турецкого/, правитель канцелярии, прапорщик, прапорщик артиллерии, прапорщик линейного батальона, прачка, прачка чистого белья, превосходительство /статский генерал/, предводитель /дворянства/, предводительша /жена предвод. дворянства/, председатель губернской палаты, председатель окружного суда, предстоятель Церкви, президент суда, президент суда /во Франции/, президент Французской республики, преподаватель, преподаватель гимназии, преподаватель франц. языка, преподобие /ваше/, преступник военного разряда /нелишенный прав состояния/, преступник /малолетний/, префект, привратник скита, приживал — приживальщик, приживалка /подполковничья дочь/, приживальщик, приказчик гостиного двора, приказчик дома /=род стар. дворянина/, приказчик /купеческий/, приказчик магазина, "приказчицы помощник", приказчик /=управляющий имением помещика/, примадонна оперы, принц, принц Карл, принц /китайский/, принц Наполеон, принцесса, "принцесса" = проститутка, прислуга /пароходная/, прислуживающая девушка, прислужница /=нанятая временная сиделка/, пристав, пристав подследственных дел, пристав следственных дел /правовед/, присяжный заседатель, присяжный поверенный, причетник, провинтский чиновник /интендант/, прогрессист /социалист-нигилист/, прозаик /автор, писатель/, проконсул /в Малой Азии/,

прокурор, прокурорша, пролетарий, пролетарий /умственный/, промышленник /=воришка у рулетки/, пропагандист, проповедник, пророк, просвирня, простолюдин, протоиерей, протопоп, протопоп /собора/, протопоповская дочь, профессор зоологии, профессор медицины, профессор математики, профессор религии /англиканец/, профессор-ученый, профессор эстетики, процентщик /ростовщик/, процентщица, прусский юнкер, пряхаслужанка, псаломщик, псалтырщик, псарь, психолог, птицелов, пуасардка /=торговка/, публицист, публичная женщина, пустынный, путешественник /заезжий/.

Р раб /крепостной/, раб /о себе дворовый/, работник, работник /киргиз/, работник /типографии/, работник /фабричный/, работница, работница /в углах/, рабочий, рабочий американский, рабочий артельный, разбойник, разносчик /цветов/, разночинец /впервые в "Господин Прохарчин"/, райя /христиане в Турции, если о Сербии, то ед. число — райетин/, рантьер, раскапиталист, раскольник, рассыльный /купца/, рассыльный мальчик, ревизор, ревизор /генерал/, ревизор /революционного о — ва/, революционер, революционер и иезуит, революционер /красный/, регистратор /коллежский/, регистратор чиновник, редактор /газетки/, редактор газеты, резчик, рекрутик /солдатик/, ремесленник, ремесленник /немецкий/, ремонтёр /кав. офицер/, республиканец, республиканец /француз/, рестокист /сектант/, Римский император, Римский папа, романист, ростовщик, ротмистр /гвардейский/, ротный командир, рыбак, рыцарь /история/, рядовой /солдат/, рядовой /?/.

С садовник, садовник /помещика/, сановник /высший/, "сановник в душистых седилах," сапожник, сатирик, сборщик /пожертвований/, сводня, сваха, священник, священник-духовник, седельщик, секретарь /посольства/, сектант /лорд/, сельский старшина, семинарист, семинарист-учитель, сенатор, сенная девушка, серебряник /мастер/, сестра милосердия, сиделец /торговец/, сиделка, сиятельство /его/, сказочница /из дворовых/, скиталец, скитник, скопец /секта/, скопец /лавочник, меняла/, скорняк /мещанин/, скрипач, скульптор, славянофил /дворянин/, следовательно, слесарь, слесарский ученик, слуга, слуга /коммунист/, слуга-причетник, служанка, служанка /в номерах/, служанка мебелированных комнат, служанка /отеля/.

служитель /жел. дорог/, служитель палача, служитель церкви /род пономаря/, слушательница Высших женских курсов, смерд /презрительно об американце/, смотритель жел. дор. станции, смотритель острога, смотритель тюрьмы, стотрительща /постоялого двора/, собственник кондитерской, советник /чиновник/, советник /чин. от 1-го до 4-го класса/, соглядатай /=шпион/, содержанка, содержатель отеля, содержательница /дома увеселений и разврата/, содержательница квартиры со столом и прислугой/, содержательница пансиона /дворянка/, солдат /нанятой за сына мещанина за плату/, солдат /немецкий/, солдат отставной, солдатка, солдатка /служанка/, солдатское дитя /=кантонист/, сотрудник журнала, сотский, социалист, социал-анархист /француз/, социалист-безбожник /француз/, социалист-революционер /француз/, социалист-христианин /француз/, сочинитель /журналист/, сочинитель/писатель/, спекулянт. спекулятор /торгаш/, специалист /неопределенный/, специалист /доктор/, специалист-медик, спирт /спиритизм/, ссыльно-каторжный /2-го розряда — 10 лет/, ссыльно-каторжный розряда гражданского /с проклеянным лицом/, ссыльный, старец /исповедник, духовный водитель/, старец /раскольник/, старовер /торговец мещанин/, старообрядец, старообрядец /вероятно Ветковец/, староста /в деревне/, старший дворник, старший доктор, старший приказчик, старший унтер-офицер, статский полковник, статский советник, стенограф, столбовой дворянин, столо-начальник, столпник, столяр, сторож /гимназии/, сторож /департамента/, сторож /жел. дор. станции/, сторож /канцелярский/, сторож лесной, сторож полицейской конторы, сторож присутствия, стотысячник /купец/, странник, стряпка /род повара, кашевара/, стряпчий, студент, студент /бывший/, студент /медик/, студент юридического факультета, студентка, субалтерн командир, судебный пристав, судейский клерк /француз/, султан /турецкий/, схимник, сыщик, сыщик /французский/, сыщик уголовный.

Т тайный советник /чиновник/, Талейран /дипломат/, танцмейстер, танцовщик, танцор, танцор канкана, театральный служитель, телеграфистка, техник, техник-полковник, технолог, Тимошка-палач, тиран, тиран /Наполеон III/, титулярный советник, токарь /инженерный мастеровой/, торговец /певчими

птицами/, торговка, трактирный лакей, трактирный служитель /половой/, трактирщик, трубадур, трубочист, трясучка /секта шейкеров/, тульский заседатель /чиновник/.

У убийца /по ремеслу/, уголовный преступник, узурпатор /Наполеон III/, укрыватель воров /мужик с капиталом в 300.000 ассиг./, улан /офицерик/, унтер-офицер, унтер-офицер /гарнизонного батальона/, унтер-офицер /пристав над работами/, унтер-офицерша, уполномоченный /в`делах коммер./, управитель капитального дома /доходного/, управляющий домом /дворянин/, управляющий имением /дворянин/, управляющий /?/, управляющий отелем, управляющий /фабрикой/, учащийся /гимназист/, ученый, ученый /великий/, ученый путешественник, ученый /философ/, ученый /энтомолог/, учительшка /уездный/, учитель, Учитель-Христос, учитель /мн. чис. = учителя Церкви, общества/, учитель /народный/, учитель /национальный/, учитель /специального учебного заведения/, учитель /из ссыльных поселенцев/, учитель /уездного училища/, учитель /чех — классик/, учитель /школьный/, учитель-англичанин, учитель /домашний/, учитель гимназии, учитель /главный в школе/, учитель /отечественной словесности/, учитель /пения, итальянец/, учитель /прогимназии/, учитель словесности, учитель чистописания, учитель чистописания и рисования, учитель /танцев ?/, учительница, учительша /вдова/.

Ф фабрикант, фабричный /рабочий/, фактор-секретарь, фальшивомонетчик, фальшивый монетчик, фельдмаршал, фельдмаршал Мольтке, фельдшер, фельдъегерь, фельетонист, фермер /английский/, фигляр /=фокусник/, фигурант /=статист-танцор/, филантроп, философ, философ /великий, европейский/, фланер, флигель-адъютант барон, фокусник, форейтор, фортификатор, фотограф, француз-семинарист, французенка /гувернантка/, Фридрих Великий, фурыерист.

Х хан /кипчакский/, хан /крымской орды/, химик, ходатай по гражданским делам, ходок по делам, хожалый /=рассыльный от учреждения/, хозяин /дома/, хозяин распивочной /мешанин/, хозяин трактира, хорист, художник.

Ц царь Алексей Михайлович Тишайший, царь Иван Васильевич, царь /казанский, царь Московский, царь-Освободитель, царь-отец, царь /русский/, целовальник, цензор,

церковник /=представитель иерархии/, церковнослужитель, цеховой /человек/, цыган, цыганка, цыганка /трактирная/, цырульник.

Ч часовой, часовщик, частный пристав, чёловек "в случае" /=любимец судьбы, успеха/, человек /=слуга/, человек /=лакей/, челядин /челядь/, "червонный валет" /=дворянин — пройдоха в Москве после 1860-х годов/, чернорабочий, черпальщик /Экспедиции заготов. госуд. бумаг/, четвертое сословие /рабочие/, чиновник /бывший/, чиновник 12-го класса /ветеринар/, чиновник особых поручений, чиновник /из писарей/, чиновник /из подъячих/, чиновник /сербский/, чиновник таможни, чиновница, чиновный человек, чин юродивого, член парламента /английского/, член-учредитель /акц. компании/, член юнты /=хунты в Испании/, чухонец-разносчик.

Ш шарманщик, шарманщик-артист, шарманщик мальчик, шассер /французский/, шах /персидский/, шведский король, швейцар /=привратник/, швейцар /=швейцарец/, шильник /=шулер, плут/, школьник, школьный учитель, шлюха, шляпный мастер, шорник, шпион, штаб офицерская дочь, штабс-капитан /отставной/, штабс-капитан /в отставке/, штаб-лекарь, штаб-ротмистр, штатский чиновник, штафирка /=презрительно военным о штатском/, штукатурщик, штундист /секта/, шулер, шут /Балакирев XVIII века/.

Э экзекутор /чиновник инспицирующий и проверяющий отсутствующих/, эконом /имения/, экономка-немка, эксперт-психиатр, эксплуататор, эмигрантка /директрисса благ. пансиона/, эмигрант — граф польский, эмир /бухарский?/, эмиссар /революционер/.

Ю ювелир, юнкер /в отставке/, юрист, юродивая, юродивый /Иван Яковлевич Курейша/, юродивый /Христа ради/.

Я ямщик.

*

Заканчивая статью не могу не обратиться еще раз к критике Д. русской, постоянной в интеллигентных прежде всего слоях общества лживости, а диавол "есть отец лжи". В специальном отделе Дневника писателя разбирается русская склонность ко

лжи. "Отчего у нас все лгут, все до единого? ...Я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден... Мы, русские, прежде всего боимся истины... В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастической. В самом деле, люди сделали, наконец, то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины... Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя... Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо... Русский человек, хотя бы и преклонился перед гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, перед которым сам сейчас преклонился, будь он разьевропейский. "Ну, Гете, — ну, Либих, — ну, Бисмарк, ну, положим... а все-таки и я тоже".

Можно бы привести и далее жесточайшие суждения нашего психолога о русской лжи, но, спрашиваю я: Как все видя и во все вникая наш писатель верил в обожаемый и... фантастический народ? Но пристрастие надевает розовые очки лживой надежды: *sic volo — sic jubeo!*

Р. Плетнев

*

Я не знал, отчего проснулся;
Но печаль о тебе легка,
Как над миром стеклянных улиц
Розоватые облака.
Мысли кружатся, тают, тонут,
Так прозрачны и так умны,
Как узорная тень балкона
От летящей в окне луны.
И не надо мне лучшей жизни,
Лучшей сказки не надо мне:
В переулке моём — булыжник, —
Будто маки в полях Монэ!

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

посв. Андрею

Запах камней и металла
Острый, как волчьи клыки,
— помнишь?

В изгибе канала
Призрак забытой руки,
— видишь?

Деревья на крыши
Позднее золото льют,
В "Новой Голландии"
— слышишь?

Карлики листья куют.
Карлы куют...
До рассвета
В сети осенних тенет
Мы собирали букеты
Тёмных ганзейских монет

Р. Мандельштам

О СИМВОЛИКЕ РАННИХ ХРИСТИАНСКИХ И ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

Всякая попытка объяснить луковичную форму наших церковных куполов какими-либо утилитарными целями не объясняет в ней (форме) самого главного — религиозно-эстетического значения луковицы в нашей церковной архитектуре.

Кн. Е. Н. Трубецкой

Символизм есть соединение разнородного в одно.

Д. С. Мережковский.

В истории мирового культового зодчества можно подметить скрытую тенденцию выразить в архитектурных формах вселенские символы водруженного Креста и семиричности храмовой постройки, то есть стремление подсознательно претворить их в вертикальном построении сооружения. Обсуждению и выявлению этой тенденции и посвящена настоящая работа.

Если пирамидальность и призматичность египетских пирамид и индийских пагод, на мой взгляд, представляет собой незавершенную реализацию указанных символов, то в романской архитектуре этому соответствуют конус и цилиндр, в готике — шпалеобразность верха и удлиненность корабля здания, а в византийском зодчестве — невыраженный куб и пятикуполье.

Мы с удовольствием печатаем интересную статью скульптора и знатока и исследователя церковной архитектуры Максима Евгеньевича Архангельского, живущего в Москве. РЕД.

Что касается магометанского искусства, то им также не было создано формы, отвечающей мистической тенденции воплощения в культовых сооружениях упомянутых выше знаков-символов, несмотря на применение в строительстве новых арочных перекрытий (стрельчатой, подковообразной, килевидной). В русском зодчестве рассматриваемая тенденция проявилась, мне думается, более полнокровно благодаря симфоническому сочетанию кубоватого основания, пятиглавого верха и луковичной формы глав при общей кудрявости и лаконичности всего архитектурного решения храмовых построек.

Символ в религии занимает промежуточное положение между отрицанием и творением религиозных образов, рождаясь из сопоставления духовного с природным. Ряд повторных сопоставлений приводит к более полному раскрытию неизведанной глубины идеи символа, так что последняя может быть соотнесена с идеей Тайны. Церковь, как хранительница Божественной Тайны, сложилась в первые века христианства, хотя мистически она пребывала в дохристианские времена в древних религиях и ветхозаветных пророках. Явление Христа ознаменовало рождение Церкви и ее претворение шло в двух аспектах: 1. строительство тела церковного (св. Таинства) через распространение веры Христовой и приобщение Церкви человеческого рода (выработка догматов путем откровений и др.); 2. создание чувственно-мистического образа путем развития христианской символики и, в частности, через новые архитектурные формы. Эти две тенденции выявления Церкви требовали своего воплощения в четырехмерном пространственно-временном континууме.

В христианской мистике часть всегда объемлет целое, так же как целое объемлет части, поэтому церковь рассматривается "единой, не разобщающейся вместе со своими частями, по взаимному различию самих частей, но отнимает у самих частей существующее между ними различие в названиях совокуплением их в одно в себе, выражая обеими именами частей одно, и каждое из них прилагая к той и другой, тогда как каждая остается тем, чем есть — и именно — храму давая название святилища, поелику оно освящается силою тайнодействия по сопредельности его со святилищем, а святилищу имя

храма, так как для совершения священнодействия храм составляет необходимое условие”.

Сначала катакомбы, затем базилики и наконец христианские храмы становятся этапами воплощения образа Божьего в архитектурных формах. “Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов и человеков и всякое дыхание земное — такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства Руси” и, следовательно, преображение вселенной по образу и подобию Св. Троицы.² Церковь есть священное место, обитель Бога, Св. Троицы, тело Христово, вместилище Имени Его, чудес Божьих и в то же время дом молитвы, место собрания народа, собор православных. Она несет в себе образ и подобие Божие, и образ и подобие человека.¹ Отсюда ее двухчастное деление в начале первого тысячелетия после Р. Х. на святилище для посвященных (фиг. I. А) с алтарным возвышением I и храм (трапезная) для верующих Б, причем такое членение в горизонтальной плоскости сложилось сразу, начиная с древних христианских катакомб и базилик (а) и сохраняется далее в купольных базиликах и храмах (б) и позднейших церквях и соборах (в).

Во второй половине первого тысячелетия после Р. Х. вырисовывается деление храмовой части церкви на предхрамье (трапезная) (фиг. I. С) и собственно храм Б, что, пожалуй, хронологически совпадает с появлением крестовокупольных храмов, где купол размещается над центром креста, лежащим в плане церкви. Последняя, таким образом, сочетается из трех разделов по примеру скинии Моисеевой и храма Соломона, в которых было три части: внешняя, Святая и Святая Святых.³ В целом церковь уподобляется человеку (святилище — ум, храм — сердце, предхрамье — тело) (I) и также Богу (святилище — Бог Отец, храм — Бог Сын, предхрамье — Св. Дух), что приводит, таким образом, к воплощению в трехчастном членении церкви по горизонтали образа и подобия Бога и Человека.

В то же время каждая часть церкви несет в себе членение по вертикали: 1. святилище А разделяется на основание алтарной абсиды 2 (фиг. I) с алтарным возвышением I (земля), престол с сопрестольем (видимое небо) и свод алтарной абсиды (пренебесье); 2. храм Б — на основание храма (земля), видимое

небо на уровне потолка 3, выражаемое обычно паникадилом, и купольный свод 4 (пренебесье); 3. предхрамье С — на основание (земля), потолок 3 (видимое небо) с отсутствующим пренебесьем. Этим и осуществлялось выражение взаимопроникновения между частями и ими же и церковью как целым единством¹.

Такое членение складывалось постепенно, особенно в храмовой части церкви. В катакомбах и христианских базиликах купольный свод храма еще представлялся плафоном потолка, затем появлялся купол на коротком барабане и позже последний значительно удлинился (см. фиг. 1), что особенно стало характерным для русской церковной архитектуры⁴. Вместе с этим пренебесье свода алтарной абсиды в катакомбах стало выходить на фронтальную стену 5 алтарной арки, а затем на плафон или купольный свод в базиликах и церквях.

Если проследить характер изменения мозаик и фресок в куполе храмовой части церквей XII века⁵, то можно заметить, что изображение Христа Вседержителя на фоне символов видимого неба (в круге, в радуге, на звездном небе или опирающегося на омфал-полукружие), тем не менее окружено сонмом серафимов и херувимов, то есть символом неба небес (пренебесья). Однако уже в XII веке изображение Спаса настолько укрупняется, занимая весь купол, что последний становится символом видимого неба, тогда как пренебесье подразумевается вокруг, заключая его в себе. Еще позже, в середине века, это видимое небо перешло на внешнюю сторону купола, главу церкви, когда она стала украшаться изображениями звезд.

Такое перенесение внутренней символики храма на внешнюю форму церкви, пожалуй, в основном свойственно русскому храмовому строительству и проявилось, например, в архитектурном членении стен здания трапезной на прясла. В ранне-христианских же храмах такое перенесение символики обнаруживается только в плане храма, что слабо выявляется во внешнем виде сооружения. Планы древнехристианских церквей хотя и различаются в трех главных типах^{6,7} (1. продолговатый, 2. крестообразный, 3. концентрический — круговой, эллиптический, восьмигранный, квадратный и т. д.) все же заключают в себе главным образом перекрестье.

Крест у древних народов был символом вселенной, указывающим на четыре стороны света и на двоякое свойство, которое везде можно наблюдать в природе ⁴. Христианство рассматривает крест как вличайший символ искупительного страдания, победы над грехом и смертью, и власти Христовой⁹. Точка срединкрестия есть Единица-Троица¹, то есть символ Бога, а лучи, исходящие от Отца (стороны креста), есть Дух Святой, а "Сын Божий есть бесконечный круг, в коем все силы сходятся" (св. Клемент)⁹. Отсюда, по-видимому, христиане в сочетании креста с куполом вкладывали понятия Св. Троицы. Таким образом церкви, крестообразные (являющиеся самобытной христианской формой, ими созданной¹⁰) и концентрические в плане, с точки зрения символики, выражали одну и ту же идею. Замена круга эллипсом, восьмигранником, квадратом и т. д. не меняет сути дела, так как круг происходит от квадрата* и восьмигранник есть удвоенный квадрат.

Внешний вид храма означает видимый мир, внутренний символизирует мир невидимый, образ Началообраза, ибо невидимое открывается посредством видимого¹. Его трехчастное членение проступает во внешнем облике сооружения, например, в трех алтарных абсидах или в трех долеых полукружиях стен храма (трапезной) и т. д., но всегда имеет явно выраженный горизонтальный характер¹¹.

Что касается внешнего членения по вертикали, то в древнехристианских храмах оно практически отсутствует^{**}. В архитектуре же русской церкви четко выделяется храмовый куб, ряды закомар (или скаты крыши), удлиненные барабаны глав и собственно сами главы (луковицы)⁴, приобретающие доминирующее значение во всем внешнем облике право-

*Конечно, круг можно произвести и от треугольника, но здесь имеется в виду полнота фигуры в смысле выраженности в ней крестообразности. Треугольник в этом отношении, как и образованный от него шестиугольник, несет в себе полувыраженность креста (полнота может быть получена только зеркальным удвоением такой фигуры), что и отличает его от квадрата, восьмиугольника и т. д.

**Только ковчег израильтян представляет собой ящик (продолговатый) с крышкой, над которой предполагается присутствие Божества (Ягве)¹³, т. е. трехчастное членение по вертикали.

славного храма, то-есть обнаруживается членение по высоте. Например, храм Василия Блаженного в Москве, XVI века, обладает трехчастностью верха. Три системы глав, расположенных по высоте (центральный, четыре на абсидах и четыре на самой церкви) с различной формой столпов (престольный столп — шатровый, средние столпы — восьмигранные, низкие — четырехгранные)⁴. Была также попытка выявить тройственность по вертикали нижнего куба церкви (три этажа) в неосуществленном проекте Храма Христа Спасителя архитектором А. Л. Витбергом в Москве¹². Большинство же русских церквей в целом имеет двойную систему куполов, как в одноглавых храмах, например, в церкви св. Софии в Киеве (фиг. 4. 4), так и в пятиглавых, располагающихся на разной высоте (фиг. 6).

Если самому зданию церкви придавать символ тела Христова¹, то куполу возможно приписать значение главы Господа¹¹, хотя многоглавость христианских, и особенно русских церквей, не дает свидетельства в пользу только такой однозначной интерпретации.* Христианская символика в основе своей очень много заимствовала от древнеязыческих, особенно египетских, символов, иероглифов и изображений⁹, придавая им свой мистический смысл. Эта символика в процессе работы богословской мысли и усвоения Божественного Откровения в ранние века христианства явилась основой христианской мистики, принадлежностей культа и форм храмовой архитектуры, наряду с образами Ветхого Завета.

По свидетельству Апостола (Рим. 1), знание о Боге возможно и у язычников, хотя и не столь ясное и полное, как основанное на Божественных Откровениях. Бог не безучастен к нашему творчеству, поэтому в любом искусстве может обнаружиться пророчество¹⁴. В человеческих творениях — философских и художественных — это знание в разное время в разных точках исторического пространства воплощалось в конкретных образах, соответствующих определенной системе

* Четыре главы по углам православного храма уподобляют главам четырех Евангелистов²⁴ как носителей Духа Божьего.

мировоззрения того или иного народа, но заключавших подчас глубокие религиозные прозрения.

При этом каждая выявленная идея порождала систему взаимодействий, отчего у всех народов разные формы самобытного искусства рождались при слиянии различных племен, а следовательно и разных истоков влияния¹⁵. Таким образом при выявлении религиозного символа вполне допустимо привлечение архитектурных памятников или только их фрагментов независимо от времени и места их возникновения.*

Идея Бога вечного, созидającego и карающего, является центральной в большинстве религий, хотя в древнем мире у язычников этому образу соответствовало главенствующее Божество. Это находило, как мне думается, свое выражение в архитектуре при создании купольных завершений построек. Их форма являлась ареной воплощения религиозно-философских идей об Абсолютном, центром мистической кристаллизации "главы" Творца. По ассирийским барельефам Лейярда можно заключить о существовании полуциркульных и полуэллиптических куполов в те древние времена,** а в Сирии найдены купола в здании IV века до Р. Х. В первые века по Р. Х. купол христианской церкви был по форме почти плоским и представлял собой часть поверхности сферы большого радиуса (фиг. 2. 1), то есть небо для внутреннего пространства храма. Дальнейшее его развитие во внешнем облике храма в самостоятельную символическую единицу идет в двух направлениях.

С одной стороны, купол подымается, приобретая яйцеобразную форму¹⁸ (ц. Теотокас в Константинополе, фиг. 2. 2), затем под влиянием мусульманской архитектуры становится полуэллиптическим по малой (фиг. 2. 3) или большой (фиг. 2. 4) оси эллипса (династия Сасанидов III-VIII вв.) и наконец превращается в подковообразную форму с наличием "пучины" (фиг. 2. 5)¹⁹ (арабский купол, VII век, мечеть Омара Куббет-эс

*Аналогично в теории относительности "физической реальностью обладает не точка пространства и не момент времени, когда что-либо произошло, а только само событие"¹⁶.

**В Ост-Индии на острове Элефанте есть храм в морской скале с куполом, которому три тысячи лет до Р. Х.²⁴.

Сахра)²⁰. Паралельно с этим верхняя часть купола заостряется до стрельчатости, никогда не переходя в вогнутость¹⁹.

Другое направление развития формы купольного завершения выразилось в полном проявлении полусферы (фиг. 2. 8) с образованием в верху килевидного в разрезе острия (фиг. 2. 7, XI век) и затем в еще большем возвышении купола с появлением пучины и превращением купола в главу церкви (фиг. 2. 8).

Трансформация купольного покрытия шла не только в каменном строительстве. Как самобытное явление мы наблюдаем этот процесс в деревянном зодчестве южных славян, которое уходит в доисторическую эпоху языческого искусства^{9,19}. Древние русские церкви берут свое начало из Галичины²¹. Существовавшая издавна палаточная форма покрытия жилища (фиг. 3. 1) за счет выпучивания нижней половины ската и вдавливания его под верхним ребром коньком кровли привело к форме "бочки" (фиг. 3. 2), которая на квадратной клетке перешла в крестчатую бочку (фиг. 3. 3), а затем в "куб" (фиг. 5. 5) и в пределе достигла формы главы (фиг. 3. 6)*.

Но это выявление главы Господа есть воплощение Креста в объемном его изображении.** Действительно, если в полусферическом купольном покрытии только намечается крестообразность формы (фиг. 4. 1), то луковичная глава превращается в четко выраженный объемный крест***, а другие формы глав православных храмов (фиг. 4, 3 и 4), являющиеся вариантами первых двух, создают более усложненное строение объемного крестообразного окончания храмов.

Более того, если церковная глава вместе с барабаном содержит символ креста, то глава, взятая обособленно, несет в

*Нельзя не отметить, что такая форма удивительно сочетает выпуклую и вогнутую поверхности сферы и псевдосферы, соответствующие положительной и отрицательной кривизне пространства де Ситтера-Фридмана¹⁶.

** Ап. Павел мистически отождествил Христа и Церковь, Крест главы и славу Его Тела, проявляющуюся силой воскресения¹³.

***Здесь подразумевается крестообразная силуэтность главы, вырисовывающейся при наблюдении церкви издали со всех позиций вокруг храма.

себе троичность (вертикальное сечение вписывается в треугольник, фиг. 4. 5). Во всем своем объеме она семирична (вписывается в конус, а следовательно, и в пирамиду) как и египетская пирамида, семиричность которой образуется от сочетания треугольных граней с четырехугольным основанием (фиг. 5. 1), то есть имеет смешанную горизонтально-вертикальную основу, а не сугубо вертикальную выраженность. Но в Египте существовали пирамиды другого вида (фиг. 5. 2, Дашурская пирамида), в которых проявляется стремление перевести семиричность в вертикальную плоскость. Лучшую читаемость той же символики по вертикали мы находим в индийской пирамидальной пагоде (фиг. 5. 3) VII века, где, правда, еще не полностью была выявлена нижняя кубическая часть сооружения. Между прочим, надо отметить, что символика вертикального септернера проявилась и в построении главного средоточия храма — святого Престола (Трапезы) с воздвигнутой над ним сенью³.

В византийских, и более отчетливо в русских храмах этот вертикальный септернер своеобразно выразился в соединении одно- или многоглавого (трех, пяти и т. д.) верха, который хорошо вписывается в пирамиду (фиг. 5. 4 и 5), и кубической части здания, так что любое центральное сечение церкви вертикальной плоскостью дает треугольник и квадрат. Первый есть знак троичности или Св. Троицы, второй — символ космоса или тварного мира. В христианской символике¹ четырехчастность определяется четверовидностью таинственных животных (херувимов), четверовидностью Евангелия и четверовидным порядком дел Господних (четыре главных завета, данных Господом человечеству). В целом треугольник и квадрат, как число семь, толкуется словами Апокалипсиса о семи церквях* и выражает символ Святого Причастия², сообразно словам Спасителя: "Аз есмь хлеб животный" (Иоанн, гл. VI).

*Кроме того, путь на небо, от земли к неизреченной славе Бога указывается для христианина через семь Даров Св. Духа¹: книга с семью печатями — дар премудрости, самисвечный подсвечник — дар разума, семь очес — дар света, семь трубных рогов — дар крепости, десная рука посреди семи звезд — дар видения, семь курильниц — дар благочестия, семь молний — дар страха Божия...²²

Наличие пяти глав у русской церкви создает впечатление ажурной шатровости, подобно индийским храмам¹¹, и в то же время позволяет отчетливо читать троичность в верхнем завершении всей постройки. Дело в том, что при взгляде на пятиглавый храм с восьми положений наблюдения, размещенных вокруг сооружения (в направлении диагональных плоскостей куба и нормалей к его боковым граням, фиг. 6. 1 и 2) мы будем воспринимать всегда три главы храма, как три креста Голгофы, отчего церковь несет в себе еще символ Страстей Господних (куб здания — гора Голгофа, три главы — Распятия).

Но в целом с тех же точек зрения верх пятиглавого православного храма воспринимается вертикально стоящим объемным крестом (фиг. 6. 3 и 4) и представляется как крест главы Господа, как символ очистительного страдания и образ Св. Троицы. Издревле, "когда епископ извещал всех о постройке храма, тогда всенародно с молитвою водружался крест, приступали к делу и создавали предложенное здание" (Матфей Властарь, Е. гл. 12)³, которое само, в конечном итоге, превращалось в своеобразный символ водруженного креста.*

Помимо всего сказанного, пятиглавая церковь по высоте имеет также трехчастное строение (куб храма, первый ярус куполов, центральный высокий купол, фиг. 6), что лучше всего нашло свое выражение в русских храмах, где главы получили самостоятельную архитектурную и символическую значимость в общем облике сооружения.

Первая пятиглавая церковь святых Апостолов в Константинополе, построенная в 329 г. после Р. Х. имеет крестообразный план и слабо выраженный верх с малыми глухими барабанами и почти плоскими куполами²³. Это как бы начало выявления главо-купольной символики, намеченной еще в Дашурской пирамиде. Следовательно, было необходимо примерно четыре тысячелетия, чтобы загадочный символ египетской пирамиды приоткрыл нам еще одну частицу своего таинственного покроя в

*Небезынтересно отметить, что при изображении в иконах некоторых почитаемых в России святых (особенно св. Николая Чудотворца), когда стоящая во весь рост фигура держит в полусогнутых руках меч, скрижаль, храм или Библию, композиция также несет в себе символ водруженного креста, но означая при этом уже крест главы Святого.

византийском пятикуполье и понадобилось еще одно тысячелетие, чтобы оно превратилось в русское пятиглавие¹⁸, где раскрытие символа достигло небывалой высоты в ликующей песне о Воскресении. Луковичная же форма куполов не только несет в себе "статическую" символику дыхания Господа, но и выражает горение Души нашей в "подвижной" форме заостряющегося кверху пламени², выявляя внутренний динамизм Вселенской Церкви. Такое Откровение "куполов", "колокольный перезвон" церковных глав не случайно появилось в России, мистическая судьба которой противоречиво раздвоена и в страдании ее разгорается острое предчувствие второго Пришествия Христа в Духе Святом.

Господи! Небо подобно Лику Твоему,
Обращенному к роду человеческого,
С его суетой и благими порывами,
С лицемерием и условностями,
Завистью и корыстием.

Господи! Все живо энергией Твоей.
Смотришь Ты и до поры не вмешиваешься
И только Чувства проступают на Лике Твоем,
Который то хмурится, то печалится
Из-под набежавших туч.

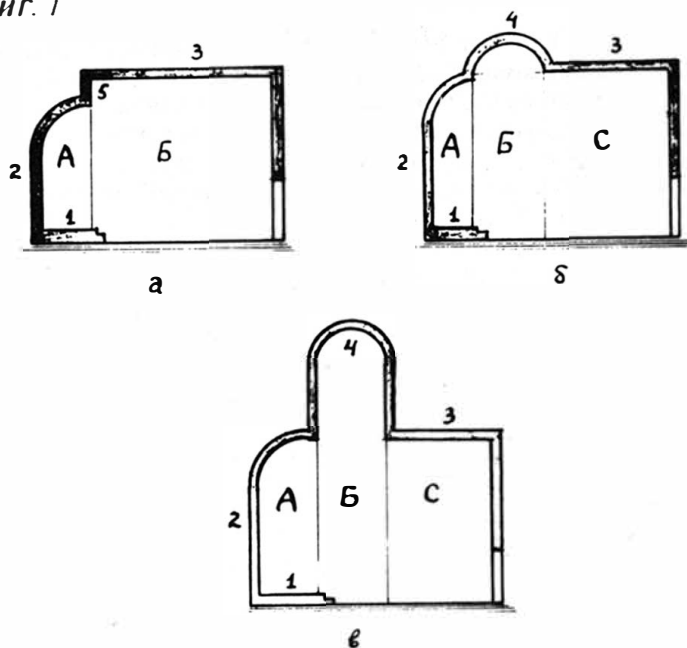
То горюет и плачет,
Изливая потоки живительной влаги
На усталую грудь Земли.
То радуется в ясный солнечный день,
Когда воздух напоен ароматом и Божьей Благодатью.

А золотые маковки церквей,
Отражающие гневные молнии,
Или сияющие в лучах заходящего солнца,
Это очи Твои, несущие свет
Божественной Истины и Откровения.

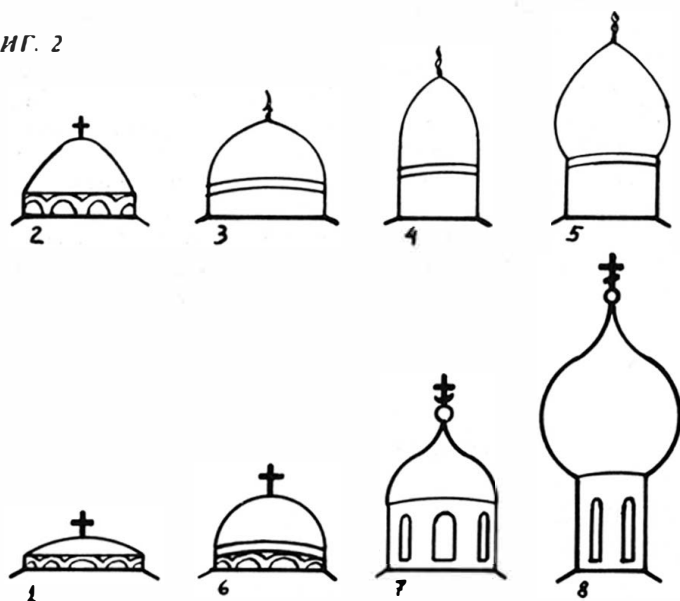
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Писания св. Отцов и Учителей церкви, относящиеся к истолкованию православного Богослужения. С.-П., 1855, т. 1-8.
2. Кн. Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. М., 1916.
3. Архиепископ Вениамин. Новая Скрижаль. С.-П., 1870.
4. Голубовский Е. История русской церкви. М., 1911, т. 11, ч. 2.
5. Кондратов Н. Лицевой иконописный подлинник. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С.-П., 1905, т. 1.
6. Кондаков Н. Древнехристианские храмы. М., 1866.
7. Красовский М. Планы древнерусских храмов. С.-П., 1915.
8. Шмаков В. А. Священная книга Тота. Великие арканы Таро. М., 1916.
9. Гр. Уваров А. С. Христианская символика. М., 1908.
10. Покровский Н. В. Памятники христианской архитектуры, особенно русские. С.-П., 1910.
11. Забелин И. В. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. С., 1900.
12. Новацкий А. МASONСТВО и русское церковное зодчество в XVIII веках. Строитель, 1905, № 2.
13. Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель, 1965.
14. Архимандрит Киприан Керн. Антропология св. Григория Паламы, Париж, 1950.
15. Даль Л. Русское искусство. М., 1877.
16. Альберт Эйнштейн. Сущность теории относительности. М., 1951.
17. Вышевский С. Византийское искусство. Строитель, 1905, № 11.
18. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. С.-П. 1899.
19. Новацкий А. Луковичная форма русских церковных глав. М., 1909.
20. Султанов. Последовательные видоизменения искусства древнего востока. Строитель, 1905, № 18.
21. Гр. Уваров С. А. Об архитектуре первых древних церквей на Руси. С.-П., 1876.
22. Лесков Н. С. Запечатленный Ангел. Собр. соч., С.-П., 1902 т. 1.
23. Гагарин Г. Г. Происхождение пятиглавых церквей. С.-П. 1881.
24. Гроцкий Н. И. Христианский православный храм в его идее, Тула, 1916 г.

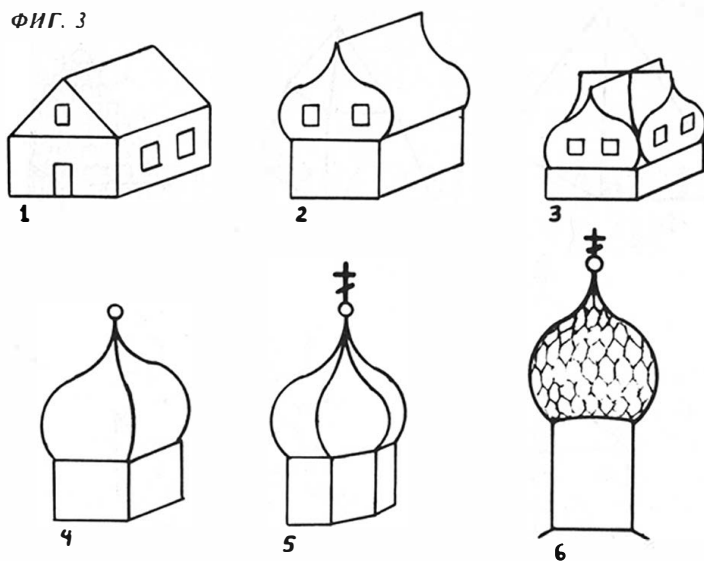
ФИГ. 1



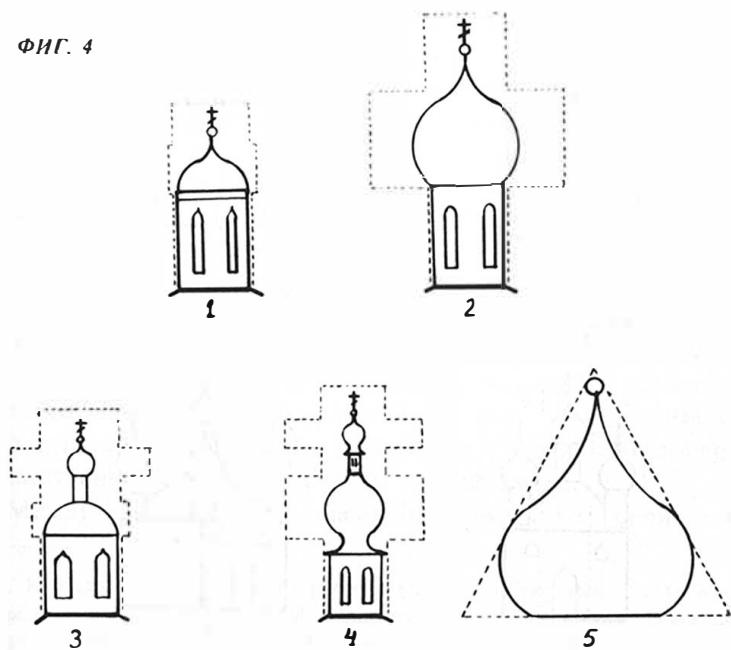
ФИГ. 2



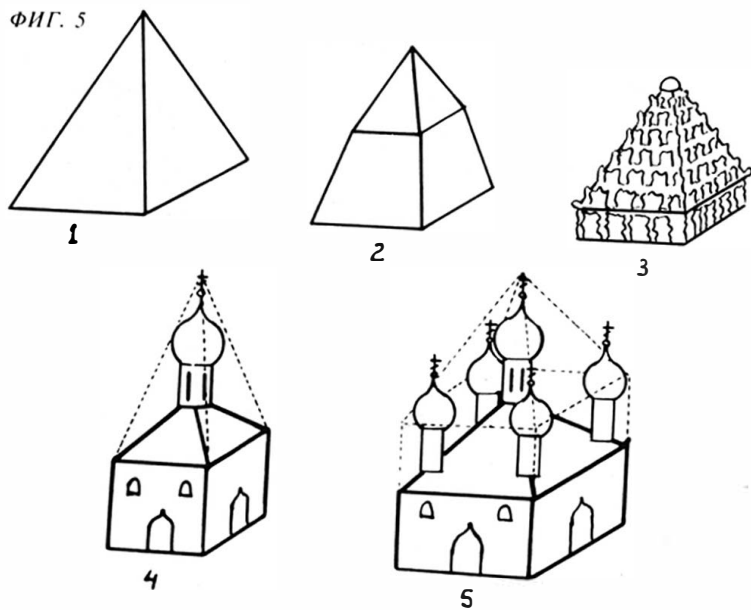
ФИГ. 3



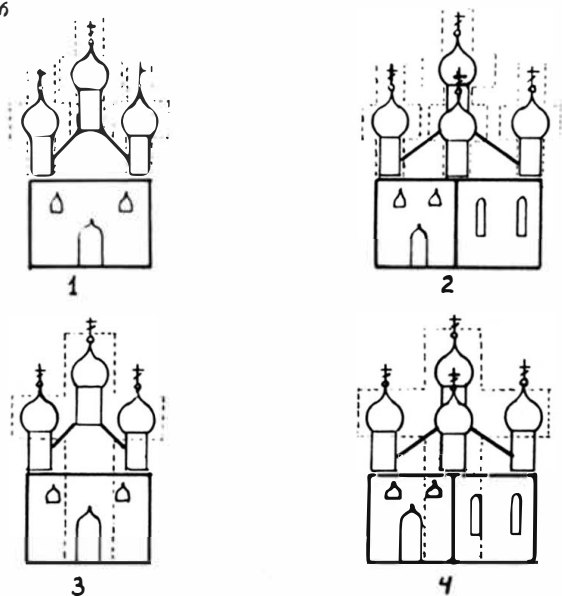
ФИГ. 4



ФИГ. 5



ФИГ. 6



МЕДНЫЕ КРЕСТЫ И ИКОНЫ В НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Среди великолепных памятников древнерусского искусства наш взгляд не сразу замечает огромную по размерам, но скромную по достоинствам, коллекцию древнерусского медного литья крестов и образков.

В писанной русской истории они почти не участвовали — их присутствие игнорировалось как летописцами, так и описателями княжеского-ли имущества, монастырской-ли казны. "Новая Россия Петра" их заметила: последовало запрещение их производства и продажи, "поскольку выливают оные зело неискусно и неизобразительно". Любители древнего искусства в XIX веке почти не задерживали своего внимания на "литье варварского стиля." Древний образок для современников и соплеменников Пушкина и Карамзина являлся лишь "медалеобразной вещицей", а "дурная работа являет неискусство и грубость века"¹

Уже в наше время все внимание исследователей поглощено грандиозностью новых открытий, новых находок в области древнерусского искусства, а привлекательность изучения всевозможных "происхождений, связей, влияний" не оставляет времени для систематизации всего сохранившегося древнерусского наследства, в том числе и такого "малоценного художественного материала", как медное литье.

Между тем, редкий памятник русского религиозного

1. К. Калайдович. О древних русских медалях. "Северный архив". Журнал истории, статистики и путешествий, издаваемый Ф. Булгариным. Санкт-Петербург, 1823, Часть 5. отдел II, Русские древности, стр. 242.

искусства может соперничать с медным литьем не только количеством сохранившихся и бытовавших произведений, но и, что более важно, значением, которое они имели в народной жизни христианской России.

И не только в России. Каждый христианин получал тельный крест (преимущественно медный) еще в младенческой колыбели и уже не расставался с ним до самой смерти, а зачастую, уносил его в могилу. Такие невзрачные с виду изделия, почти незаметные, возвышались до совершенно незаменимых в решительные моменты человеческой жизни.

Со времен Римской империи зачастую только по наличию тельного креста узнавался единоведец или, для язычников, — "поклонник Распятого". В периоды многочисленных гонений за веру возрастала роль любых небольших памятников религии. В большинстве случаев это были металлические крестики и образки. Не случайно поэтому, большинство письменных данных о бытовании среди христиан небольших крестиков и образков, приходится на литературу времен гонений. Вспомним мученика Ореста, узnanного как христианин именно по наличию тельного креста.² Св. Женеvьева (5 в.) предпочитала драгоценным камням и золоту простой медный медальон со знаком креста, который всегда носила на шее.³

На Руси судьба медного литья была особенно примечательна. Приняв христианство из рук других народов, славяне восприняли и церковное искусство. Однако, памятники христианского искусства проникали на Русь задолго до Крещения. Замечательно, что именно мелкие предметы, бронзовые крестики и образки и явились преимущественно первыми образцами христианского искусства. Подтверждением служат многочисленные находки медного литья с христианскими изображениями в могилах народностей, населявших территорию России в дохристианское время.⁴

2. Минеи Четьи. 1837. Месяц декабрь, 13 день. кн. 1, л. 80.

3. А. С. Уваров. Византийские филактерии и русские наузы. Сборник мелких трудов. Под ред. Гр. П. С. Уваровой. Москва 1910 стр. 243.

4. По моим подсчетам в дохристианских могилах на территории России было найдено не менее 450 христианских крестиков и образков. Подробный

Безусловно, не многие язычники понимали смысл и значение христианских символов и изображений, однако, употребляя христианские предметы в качестве "нейтральных" украшений, глаз язычника поневоле привыкал к особому графическому языку византийских изделий. Интересной проблемой является и вопрос о том, насколько в действительности "нейтральными" были культовые изображения христиан для язычника? Судя по миссионерской практике, редкий священник, да и просто торговец-христианин передавал язычнику христианский образок без объяснения смысла изображенных символов и фигур. Разумеется, в искаженном восприятии язычника, такие понятия, как "Вседержитель", "Святой" или иные, приобретали уже черты знакомых им языческих обрядов, образов и понятий. Известное уважение или подсознательный страх, которые питают обычно язычники к неведомым им культам, обуславливают отнюдь не "стерильное" отношение к случайно попавшим им в руки христианским культовым изделиям.

Этнография дает нам массу примеров использования христианских образков и крестов язычниками в качестве вотивных украшений или языческих амулетов. У остяков, например, в XIX в. встречались нагрудные украшения, вышитые бисером, на которые сверху рядом пришивались русские кресты. Известным примером являются и ритуальные костюмы шаманов, увешанные, наряду с другими изображениями, и христианскими предметами.

Таким образом, становится очевидным, что наиболее известными христианскими памятниками на Руси до принятия христианства были медные кресты и иконки. Именно их, вероятно, и старались распространять в первую очередь греческие миссионеры при крещении славян. Миссионеры старались использовать уже сложившуюся языческую привычку ко всякого рода амулетам и талисманам. Аналогичные примеры мы находим не только в русской истории. Против суеверных

обзор этих памятников составит предмет специальной работы. Из уже опубликованных работ на эту тему см. Д.Н. Анучин. О христианских крестах и образках в могилах средней и западной России. "Труды X Археологического съезда в Риге" М. 1900.

привычек носить на себе какой-либо талисман, Церковь боролась уже с первых веков христианства. В противовес и в замену языческих талисманов, Римская церковь уже в IV в. учредила специальные христианские привески, так называемые "Agnus Dei".

Новообращенным свойственно усвоить христианским изображениям значение и силу уже привычных им местных божеств. Характернее всего такое "двоеверие" проявилось в отношении русского народа к рельефным изображениям. Известные запрещения православной церковью скульптурных изображений (вернее, подсознательное недоверие к реакции народа на них), питались не столько воспоминаниями о языческом прошлом, сколько способностью народа мгновенно наделять резных христианских святых полуязыческими, в данном случае, "земными" функциями. "Очеловечивание" резных изображений проявилось не только в украшении их одеждами. Вспомним, что, скульптура "Христос в темнице", сделанная с намерением показать обнаженного и страдающего от ран Христа, в русских церквях почти всегда наряжалась в платье, тряпки, вплоть до обуви. В еще более яркой форме это проявилось в присвоении народом собственных названий для отдельных православных изображений. Не избежала этого и иконопись. "Утоли мои печали", "Взыскание погибших", "Споручница грешных" — это далеко не полный перечень наивных и нежных, глубоко человеческих наименований.

Предыдущие несколько фраз не покажутся отступлением от нашей темы, это, скорее, взгляд "окрест себя", поскольку в еще большей степени "очеловечивание" проявилось в медном русском литье. Забегая вперед, можно сказать, что вообще почти не было предметов медного литья, выполнявших только строго православное назначение.

Изображенные на медных крестиках и образках святые мученики почти никогда не рассматривались народом как объект для восхищения, подражания или поучения. Собственная их судьба или библейские события также редко всплывали в памяти молящегося. Малоразборчивые фигуры, зачастую стертые от долгого употребления или совершенно искаженные неумелыми литейщиками редко могли цениться за качество работы или за сложность иллюстрации церковных догматов. Качества, столь

необходимые для иконописи, фресок, в данном случае были совершенно излишними — медное литье почти всегда играло роль не самостоятельного художественного произведения, а лишь символа воспроизведенного на нем изображения.

Отсюда вольность обращения с наименованием изображенного святого. Одна и та же фигура в идентичных крестах или образках может иметь совершенно различные надписи. Например, в известных домонгольских энколпионах святые Борис и Глеб часто "меняются местами". На других, подобных им, те же изображения могут иметь надписи — Константин и Елена, в третьих экземплярах, идентичных во всех других отношениях, лишь надписи совершенно другие: Владимир и Ольга.⁵

Символическим, а не самостоятельным значением медного литья можно объяснить парадоксальный, на первый взгляд, факт архаичности многих изображений и приверженности мастеров-литейщиков к древним прототипам-моделям. Ни в каких других видах искусства невозможна столь долгая жизнь и самовоспроизводство (иногда на протяжении тысячелетия) раз созданных изображений. В медном же литье это главная особенность, прежде всего бросающаяся в глаза. Литейщики XIX в. отливали зачастую те же памятники, что и мастера XI-XVI вв. Для самостоятельного произведения, наряду с другими качествами важна оригинальность какого-либо художественного приема или истолкования привычных понятий — для предмета, играющего роль символа, в первую очередь, необходима уверенность в неизменности, вечности, и надежности этого, уже проверенного временем символа или обычая. Подтверждением этого служит ограниченное количество сюжетов и незначительное число изводов даже самых

5. Несколько исследователей: В. Лесючевский, А. В. Поппэ, Алешковский, А. С. Уваров, Н. Петров и др. пытались определить иконографию святых Бориса и Глеба на энколпионах на основании надписей. Попытки остались бесплодны лишь потому, что исследователи не учли психологии изготовителей. А им — литейщикам и употреблявшему их народу было совершенно безразлично соответствие надписи имени с самим изображением, поскольку или одна надпись, или одно изображение уже сами по себе были достаточными символами для возникновения религиозных эмоций.

популярных изображений, репродуцируемых копиистами каждого последующего времени.

Примеры и объяснения можно умножить, однако главным доказательством будет являться необъяснимое другим путем желание литейщиков отливать в огромных количествах древние и уже почти непонятные (во всяком случае не модные) образцы при наличии современных, "новейших" изображений. Разумеется, и здесь наблюдаются исключения. Есть и великолепные меднолитые памятники, по богатству отделки и художественным достоинствам уступающие драгоценным уникам только дешевизной самого материала — медью. Однако, в глазах народа, передаваемый из рода в род полустертый крестик в качестве материнского или отцовского благословения был неизмеримо ценней, а главное, надежнее роскошной новоделки, приобретенной на ярмарке для украшения дома.

Кульť медного литья в России приобрел необычайное значение. Крестом крестили и перекрещивали. Благословляли отъезжающего и напутствовали умирающего. Медный крест или иконка укреплялись на могильном кресте и на многих поклонных крестах, разбросанных по неисчислимым дорогам России. Утвержденные над воротами дома, медные кресты первыми встречали входящего. Даже надглавные церковные кресты освящались медными (по возможности древними) крестиками, которые и укреплялись в средокрестии надглавного после окончания церемонии освящения. Медные образки, так называемые "путные", становились необходимыми товарищами в дальних дорогах. Не было нерушимей верности, чем крестоцеловальная, не было братства больше, чем "крестовое" (тогда побратимы менялись тельными крестами).

При многочисленных неурожаях, в "злые годы", медный крест закапывался на пашне, и не бывало в Руси ни одного монастыря, церкви, града, дома воздвигнуто, без закладки в начале строительства в кладку древнего крестика. Медными образками было усеяно и Поле Куликовское.

Медным крестом благословил Св. Сергий Радонежский русское воинство на брань с татарами, на медных же образах заставлял Пугачев присягать себе свое воинство. Медные кресты в качестве единственного сохранившегося имущества остались от

Марка Пешерника, Авраамия Ростовского и неистового Аввакума. Множество меднолитых реликвий было найдено в могилах русских воинов, павших в Болгарии при взятии Шипки. Медное литье являлось не только символом веры. Часто, если не всегда выполняло оно и еще одну, не менее важную функцию — ими защищались от всевозможных напастей и дьявольских наваждений.

”Всякому на себе носящему, защищение и соблюдение от всякого зла, души и телу спасительное... Да будет исполнено оно...силы и крепости к прогнанию и разорению всякие дьявольския козни, в защищение души и тела от лица враг видимых и невидимых и от всякого зла...” Последняя фраза не апокрифическое измышление, а молитва, принятая в богослужении православной церкви.⁶

Что же касается самого народа, то его сознание наделило вполне жизненными заботами почти каждого святого, известного на Руси. Святые призваны были защищать все хозяйство, включая животных:

”Хлор, Лавер — лошадок,
Власий — коровок,
Настасий — овечек,
Василий — свинок,
Мамонтий — козок,
Герентий — курок,
Зосим Соловецкий — пчелок.”⁷

В памятниках медного литья земные функции святых помощников выражались с подкупающей откровенностью. На образках св. Антипия стоят буквы: ”З,Ц” — то есть ”зубной целитель”. На иконе священномученика св. Уария читаем: ”За умерших в инославии”, над нимбом св. Николая — ”Водный спаситель”.

Интимность восприятия меднолитых образков заходила

6. Дополнительный требник. изд. 1871. л. 88-89.

7. А.Шапов. Исторические очерки народного мирозерцания и суеверия. (Православного и старообрядческого). Собрание сочинений. т. I. Казань 1859. Стр.84.

иногда так далеко, что их рассматривали если не частицей самого себя, то по крайней мере в качестве самого конкретного напоминания о своем существовании. Этим объясняется обычай, в случае болезни, привешивать тельные крестики болящего к местно чтимой иконе, известной своей исцеляющей способностью. Иерусалимские паломники оставляли свои кресты и образки у Гроба Господня. В Пермской губернии, при храмовых праздниках или в день поклонения отдельным святым, верующие снимали с себя крестики и иконки и увешивали ими скульптуру св. Николая Можайского.⁸

И в конце XIX в. очевидцы наблюдали обвешанные крестиками и образками деревья на месте легендарного града Китежа, у озера Светлояр. А в XI в. меднолитой крест с изображением Богоматери прославился чудесами и стал центральной частью знаменитой чудотворной иконы "Купятицкой Богородицы". Случайно отобранные примеры утверждают об особом почитании меднолитых изделий русским народом. Однако, среди продукции древнерусских литейщиков были и такого рода произведения, которые непосредственно были связаны с самыми таинственными и мистическими силами Черного Царства.

Речь идет о змеевиках. Наузы (подвески) с изображением змеино-го гнезда или клубка змей бытовали на Руси с незапамятных времен. Основу их композиции составляют змеиные туловища, переплетенные в свастикоподобную фигуру. Иногда на таком медальоне присутствуют греческие надписи, иногда русские. Но изображение змей всегда расположено лишь на тыльной стороне подвески. Лицевая, "официальная" сторона занята нормально-православным изображением святых. Подобного рода предметы, но без православных изображений, известны нам, судя по археологическим находкам, еще с VIII в. и на территории Руси. Однако, связанные с гностиками, амулеты с изображением змей бытовали еще в первые века христианства и в самом центре тогдашнего мира—Риме.

8. Например, в деревне Зеленьтах, Пермской губернии. Н. Н. Серебренников. Пермская деревянная скульптура. Пермь 1967. стр. 12.

Модифицированные в Византии, они проникли снова на Русь уже с греческими надписями, однако, находки подобного рода амулетов на территории бывшей Византии или Западной Европы ничтожны. Основная масса змеевиков, вылитых из меди производилась уже в России и вплоть до конца XIX в. И это несмотря на многочисленные запреты, проповеди и отлучения.

Назначение змеевиков состояло, по народным поверьям, в ограждении их носящего от всех совокупных или разрозненных черных сил, противостоящих всему доброму, хорошему и успешному. В том числе и от таких необъяснимых всенародных бедствий, как монгольское нашествие. Недаром, так многочисленны находки змеевиков на Куликовом поле.

Змеевики и являются теми: "наузами бесовскими", против которых и ополчались миссионеры и священники, отстаивавшие чистоту христианских обычаев от влияния простонародных суеверий. Однако, в случае с меднолитыми предметами, где возможно провести черту, отделяющую атавизмы язычества от христианских обрядов и обычаев? Из юридических актов XVII в. мы узнаем о существовании обычаев, распространенных и в XIX в., когда, "на всякий случай", к тельному кресту привязывались всевозможные травки, ниточки с хитро-завязанным узлом, заповедные корни. Об этом и народная пословица повествует: "Крест тельный, да корешок невелик, да травки немного завязано в узлишки у креста".⁹ Не случайно и само христианское почитание креста, как "хранителя всей вселенной", "бесам язвы", соединялось и с традиционным народным почитанием "меди зеленой" как "особого" металла.

Медный крест фигурирует во множестве народных заклинаний и заговоров, типа: "Загради и заступи и защити раба Божия ...от стрел летящих, и от всяка — железа, от булату и от укладу ...и от проволоки железныя."¹⁰ Медный крест или икона часто почитались и в качестве памятника по-прежнему существовавшим реликвиям. Распространенным выражением

9. Как объяснил на допросе белозерец Якушко Паутов, он привязал к кресту "корешешко от сердечныя скорби, а травишко от гнетенишныя скорби". Акты юридические. N 30. 1680 г. Дело Висковатого. пр. 86.

10. А.П. Шапов. Исторические очерки...Спб. 1862. стр. 158

этого обычая служит изготовление крестов из металла разбившегося колокола для раздачи прихожанам этого храма. Иногда медное изображение утверждалось в центре живописной иконы, в этом случае, краски призваны были лишь подчеркнуть достоинства меднолитой реликвии.

Не случайно, среди русского народа распространено поверие, что самым "настоящим" тельным крестиком является только медный.¹¹

Первые крестики и образки русские получили из рук других народов. Но лишь в России мы наблюдаем такое обилие памятников. Если иконопись, фресковая и миниатюрная живопись распространены в той или иной степени среди всех христианских стран, то производство массового медного литья стало специфически русским. Находки аналогичных изделий, или письменные свидетельства о бытовании в других странах настолько единичны, что не позволяют думать о сколько-нибудь развитом производстве или популярности в народе медных крестов и образков. Лишь в Сирии-Палестине с VI по XIX вв. существовало производство несколько сходное по масштабам с русским, однако, большая часть созданных здесь изделий предназначалась на экспорт, в качестве памятной реликвии посетителям Святых Мест. Но и находки русских крестов известны в Чехии и Моравии, Болгарии и Румынии, Палестине и Греции. Разумеется, за границу попадали лишь случайные экземпляры, основная масса обращалась непосредственно среди русского населения. О том, что популярность медного литья была действительно велика, свидетельствует прежде всего само обилие памятников, дошедших до нас. Разумеется сейчас трудно определить истинное число изготовленных на Руси иконок и крестиков. Во всяком случае, они исчислялись десятками, если не сотнями миллионов. По моим подсчетам, только старообрядцами-поморцами с начала XVIII до середины XIX века было отлито не менее 2-3 миллионов изделий. Приведенная цифра о возможном существовании такого количества медного

11. Л. В. Даль. Заметка о медных гривнах. "Древности". Труды Московского Археологического общества. т.4. вып. 2. М. 1874.

литья в России не покажется слишком завышенной, если учесть, что большинство русских музейных коллекций располагает собраниями медного литья, насчитывающими по несколько тысяч экземпляров. Сколько же литья поныне бытует среди населения и сколько скрыто в земле?

К сожалению, дешевизна материала обеспечила "немоту" большинства даже сохранившихся памятников. Точно датированных крестов и образков известно не более 60 штук. Письменные источники почти не дают нам сведений о производстве и употреблении литых массовых изделий. Поэтому мы лишь случайно становимся свидетелями участия медного литья в том или ином событии русской истории.

Археология принесла нам сведения о мастерских киевских литейщиков кануна монгольского завоевания. Бытование медных образков прослеживается раскопками точно датированных объектов, существование которых ограничено временными рамками. Например, те же находки на Поле Куликовом или раскопки многочисленных кладбищ и отдельных захоронений. Реставрация архитектурных памятников дала находки медных крестов, заложенных в стены при строительстве зданий, а также и укрепленных на надглавных крестах церквей. Многочисленные иностранцы, в разное время посещавшие Русь, иногда поражались, как, например, Вундерер, что в Пскове в 1589 г. "над воротами каждого дома висел литой образ".

Менее надежными, зато широко распространенными источниками являются многочисленные местные и общероссийские предания о принадлежности того или иного меднолитого памятника известному в прошлом деятелю. Самым известным (и самым ранним) примером служит крест, принадлежавший по преданию киевскому монаху Марку Пешернику. Сохранились кресты и копии с них, приписываемые Сергию Радонежскому, Павлу Обнорскому, Авраамии Ростовскому. Уже старообрядческая традиция донесла до нас крест, принадлежавший протопопу Аввакуму. Великолепный золотой змеевик, так называемая "золотая гривна" и его многочисленные меднолитые реплики связываются, и не без основания, с именем Владимира Мономаха.

В русской истории мы находим примеры и особой привязан-

ности отдельных лиц к меднолитым изображениям. Например, преподобный Иринарх (конец XVI в) носил на себе узы железные двадцати сажень и сверх того еще 42 креста медных. Когда же, после его смерти, его наследство досталось некоему старцу Леонтию, то на последнем оказалось, кроме вериг и 142 креста медных.

Приведенный случай, разумеется, лишь яркое исключение. В обыденной жизни верующий вряд ли носил на себе более одного тельного крестика, да и по праздникам одевал на одежду и "воротные". Правда, во время путешествий или воинской брани, сами обстоятельства диктовали близкое присутствие так называемых "охранных складней", передававшихся из рода в род.

Сохранились и изображения, обычно иконописные, древних российских мучеников с отчетливо видными медными крестами на груди. Бронзовый крест-энколпион изображен и на груди мастера Авраама — на церковных воротах Софии Новгородской. В отдельных случаях, кресты-мошечники (особенно больших размеров) носились монахами на спине.

Дошедшие до нас свидетельства поясняют распространение меднолитых изделий во всех слоях древнерусского общества. В истории России мы наблюдаем иногда и примеры особого почитания медного литья среди некоторых групп русского народа, возведших культ меднолитых изделий чуть ли не в главную особенность своих религиозных обрядов.

Это — русские старообрядцы. Собственно говоря, производившиеся в огромном количестве медные кресты и иконы никогда не были предметом особенного почитания. Во всяком случае, они никогда не противопоставлялись иконам или каким-нибудь иным христианским изображениям. Лишь отрицательное отношение официальной Церкви и правительства во время Петра к медному народному литью и вызвало ответную реакцию старообрядцев-любителей древнего благочестия. Вспомним знаменательный Указ от 31 января 1723 г. "Медные и оловянные литые иконы, где обретаются, кроме носимых на персех крестов...в ризницу собирать для того: выливают оные зело неискусно и неизобразительно и тем достойной чести весьма лишаются, чего ради, таковые брав, употребить на церковные потребы и о том, чтобы оных икон

впредь не лить и обретающимся купеческим людям в рядах продажу оных воспретить”¹². Интересно, что так как “официальной” причиной для запрета была “забота” об изобразительности и искусности образков, а мы знаем, какого рода искусство было образцом для подражания в петровское время (западноевропейское, конечно), то можно сделать интересный вывод о значении, которое придавалось медному литью в глазах Петра. Так как живописные древнерусские иконы были, во всяком случае открыто, не запрещены, то значит, в глазах “новой России” именно медное литье было наиболее традиционным, наиболее любимым памятником отверженной древнерусской цивилизации.

Позиция, занятая официальной церковью по отношению к медному литью, привела к такому положению, когда все производство медных крестиков и иконок, начиная с начала XVIII века и вплоть до первых лет XX-го, становится исключительно монополией старообрядцев. Судя по многочисленным делам “Раскольнической конторы” — официального учреждения по борьбе со старообрядцами, часты случаи, когда принадлежность к расколу определялась только наличием в имуществе подозреваемого меднолитых изображений.

Распространенность медной пластики в среде старообрядцев (особенно беспоповцев) вызвала у представителей официальной Церкви даже превратное представление, что старообрядцы “поклоняются только меднолитым иконам одного поморского монастыря”.¹³

Между тем, приписывая старообрядцам особую роль в почитании и производстве медной пластики, представители “Новой России”, в силу своей невежественности в области древнерусской культуры, часто не могли квалифицировать конкретный памятник как древнерусский или новейший — старообрядческий.

12. “Полное собрание постановлений по Ведомству Православного Исповедания” т. III, стр. 31, № 999.

13. Андрей Иоаннов. Полное историческое известие о древних стригольниках, и новых раскольниках так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях. изд. второе. Спб. 1795. ч.2, стр. 53.

Реакция старообрядцев на правительственные запрещения была обычной: производство медного литья все увеличивалось, а православные преследователи получили новую (увы, заслуженную) кличку - "медноствороборцы"¹⁴.

Старообрядцев к середине XIX в. было около 13 миллионов, следовательно, каждый четвертый русский усвоил медному литью еще и функцию символа борьбы против правительствующей Церкви и самого правительства.

Подводя итог значению и судьбе медного литья в русской народной жизни на протяжении почти тысячелетия, должно отметить и его значение для изучения смежных областей древнерусского искусства, русского православия и быта. Вспомним, что меднолитые крестики и образки явились первыми образцами христианского искусства на Руси. Многочисленные русские змеевики являются единственным памятником, донесшим до нас сведения о влиянии гностиков еще античного времени на мировоззрение русского народа.

Проблемы первоначального периода русского христианского искусства без привлечения массового материала медного литья так и останутся неразрешенными в силу ничтожности сохранившихся памятников иконописи, фрески, мозаики и миниатюр. Важная для русской культуры (и весьма деликатная), проблема о так называемых "Корсунских произведениях", уже сейчас толкуется в ту или иную сторону только по памятникам медного литья.

Рассматривая меднолитые памятники, можно восстановить общие черты прежде чтимых, но утраченных еще в древности чудотворных икон и других святынь. Вспомним, например, что изображения первых русских святых—Бориса и Глеба появились впервые в мелкой пластике. А изображения храмов в протянутых руках этих святых являются единственными напоминаниями о давно исчезнувших киевских церквях. Реконструкция облика исторической иконы "Богоматери Пирогощей" возможна лишь с меднолитых воспроизведений.

14. Именно так назвал православных преследователей неизвестный старообрядец в своем сочинении середины XVIII в. Рукопись из собрания Государств. Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Собрание Богданова. Q1;No 1075 л. 92, оборот.

Точно датированный русский крест, найденный среди останков последних защитников Киева в развалинах Десятинной церкви, является для русской истории последним образцом искусства киевской Руси. Медные же кресты были и единственным произведением православия, созданным даже в татарском плену, в ханской ставке.

В медном литье были точно скопированы многие памятники мелкой пластики, сделанные в единственном числе и из других материалов—камня, дерева, кости, золота. Уникумы давно утрачены, однако меднолитые копии с них продолжали воспроизводиться в течение веков, пока не дошли до музейных хранилищ и столов исследователей. Важно не только то, что порой лишь меднолитая копия донесла до нас облик утраченного еще в древности памятника. Распространение медных копий в конкретной местности может не только свидетельствовать о местных вкусах, но и фиксировать факт хотя бы временного пребывания уникама в данной местности.

Медное литье, как наиболее массовое и в большей степени народное искусство, может дать в руки исследователей ряд подтверждений о распространенности в народе того или иного сюжета иконописи, особенности культа святого в данной местности и, в конечном итоге, привести к раскрытию народного мировоззрения и идеологии.

Нельзя забывать, что русские начисто забыли технологию производства стекла и эмали после разгрома киевской Руси. И лишь в конце XVII в. приглашенные иностранцы построили первый "русский" стекольный завод. Однако, на металлических изделиях эмаль встречается еще в конце XVI века, неважно что она невысокого качества, важно, что это единственный образец производства стекла самими русскими. Не забудем упомянуть и то, что единственные сведения о древнерусской технологии литья и обработки металлов заключены лишь в одном, сохранившемся до нашего времени руководстве. И это руководство посвящено лишь отливке медных крестов и образков.

Найденный в 1820 г. змеевик Владимира Мономаха послужил толчком к изучению древнерусского искусства. Лишь меднолитые змеевики привлекали внимание русского общества к отечественным древностям и в последующие десять лет. Однако и в настоящее время судьба изучения русского медного литья

остаётся исключительной, поскольку, в отличие от древнерусских икон, фресок и мозаик, только история медного литья в России осталась почти неисследованной областью. Не существует не только исследований, рисующих её историю, развитие стилей или школ, подобно иконописным. Непонятна даже сама технология изготовления меднолитых крестов и икон. И это удивительное положение наблюдается при наличии многих сотен пудов памятников, осевших тяжестью в музейных хранилищах.

Но не забудем, что самым настоящим крестом русский народ, на протяжении веков, считал только медный!

Владимир Тетерятников



4.



2.



3.



4.



5.



6.

ОБРАЗЦЫ ДРЕВНЕРУССКОГО МЕДНОГО ЛИТЬЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
АВТОРА.

1. Крест с изображением Архангела Михаила (конец XVI — нач. XVII вв.)
2. Образок с изображением Деисуса (XV в.)
3. Крест с изображением Распятия (XIII - XIV вв.)
4. Одна часть образка-энколпиона с изображением Семи спящих отроков Эфресских (XII - XIII вв.)
5. Образок Св. Троицы (XV - XVI вв.)
6. Наперсный крест (начало XVIII в.)

ИЗ ДНЕВНИКА С. И. БАРТЕНЕВА

РАЗГОВОРЫ С Н. Ф. ФЕДОРОВЫМ, О Н. Ф. ФЕДОРОВЕ И ПИСЬМО ОТ Н. Ф. ФЕДОРОВА

Николай Федорович Федоров учил, что главная нравственная задача жизни — воскрешение мертвых, которого можно достигнуть в пределах природного мира совокупным трудом многих людских поколений. Из современников лишь близкие знакомые знали о его идеях. Учение Федорова изложено вполне лишь после его смерти в двух томах *Философии общего дела*.

Дневник Бартенева ценен, потому что в нём получают освещение несколько вопросов о воскрешении мертвых, которые Федоров не затрагивает в своих сочинениях. Так, Бартенев впервые ставит важный вопрос о пределах человеческого рода, который мы должны воскресить в полном составе. Хотя Федоров не отвечает прямо на этот вопрос, потому что Бартенев заменяет его другим — о месте для воскресших поколений, он дает понять, что не приходится беспокоиться об ограничении воскрешения. Во вторых, Федоров признает, что у нас нет никаких гарантий успеха общего дела. Проект воскрешения зависит от нашей воли и от стечения обстоятельств. Но мы должны с уверенностью предсказать будущее, чтобы отдаться проекту, который дает смысл жизни. В третьих, Федоров опровергает осуждение, что его проект — гордыня и присвоение Божией власти. Он говорит об этой теме в своих сочинениях, но не так ясно как здесь. Наконец, Федоров объясняет вознесение Христа как заповедь человечеству овладеть внеземным пространством.

Дневник Бартенева проливает свет не только на идеи, но и на личность Федорова. Друзья Федорова мало знали о его биографии и в своих воспоминаниях описывают лишь положительные черты его личности. Бартенев представляет Федорова беспристрастно и единственный затрагивает тему его интимных переживаний.

Сергей Петрович Бартенев (1863-1930) — писатель и композитор. Его отец, Петр Иванович Бартенев (1829-1912) — известный архивист, историк, библиограф, директор библиотеки Румянцевского музея в Москве и редактор *Русского архива*. Он знал Федорова с 1868 г., когда Федоров начал работать в этой библиотеке, и за год до смерти обещал написать воспоминания о Федорове.¹ Обещания, кажется, не выполнил. Брат Сергея, Юрий, написал две статьи под влиянием Федорова.² Все Бартеневы были близкие знакомые Федорова.

Выписки из *Дневника* С. П. Бартенева, которые печатаются впервые, находятся в фонде Федорова (но. 142) в Литературном архиве Народного музея в Праге. Они состоят из восьми машинописных страниц.

Т. Д. Закидальский

24 ноября 1894 г. Разговор вчера у Хомякова. Искусство составляет цвет жизни и не может, не должно служить источником страдания. Если это так, если, например, у музыканта болят плечи от чрезмерного упражнения, то тут просто какая-то фальшь.

Я: Но что делать, если я должен так тренировать себя, чтобы стоять на уровне виртуоза, которого идут слушать. Если же я не буду на должной высоте, меня не пойдут слушать.

Он: Тут-то я думаю фальшь. Это именно в виртуозности. Не требуют теперь сути, а удовлетворяет лишь виртуозность в живописи. Какая дрянь нарисована. "Да, но зато как сделана" — возражают. И это для современности, для *fin de siècle*, главное. Патти³ поёт в опере, оперу не слушают, а ждут, когда она раскроет рот. До музыки и до всего остального дела нет. Перешел разговор к тому, что реальность должна иметь меру. Шиллер говорит: "Где где природа победила, искусство должно

погибнуть." В чем тут дело? Грекам не надо было реальности, они удовлетворялись актерами в масках, и те для них были нужнее, чем если бы явились на сцену настоящие лица. Им подавай не Клитемнестру, а Клитемнестровщину, не Агамемнона, а Агамемновщину.

Я заметил, что тут распад кроется, вероятно, в том, что искусство, как говорит святой старец Николай Федорович, которого брат долго считал ересипархом, выказывает бессознательное стремление человека к бессмертию, желание обессмертить образы и идеи. Тут Хомяков развил эту мысль.

Он: Фламандцы, рисуя сцены в кабаке, брали оттуда то, что непреходяще, прелесть и поэзию подобного собрания, и этому давали бессмертие. Ошибка современного искусства заключается в том, что стараются закрепить то, что не нужно, ничтожно и подлежит уничтожению. В этом разница между фламандцами и Маковским.⁴ Те из жанра брали то, что общё и заслуживает бессмертия. Маковский закрепляет на полотне то, что преходяще и не нужно. Толстой грешит тем же. Описания, подобные его описаниям, похожи не на передачу образа человеком, а на вивисекцию и извлечение того, что никому не нужно, ибо не общё.

В начале беседы Хомяков указывал на то, что великие художники не мучились над своим искусством, но наслаждались. Рафаэль — это было вечное цветение. Леонардо прежде всего был порядочный барин. Кроме того, ни один великий художник ничего не зарабатывал, подобно современному.

Да, думаю, все это не так и не вполне верно. Цветок вырастает после того, как растение борется и победит.

7 декабря 1894 г.

Вчера поутру приходил в Румянцевский Музей почитать перед поездкой в Египет. Н. Ф.⁵ сам заговорил, ибо Юша⁶ говорил ему, что его идеалы считаю я за гордыню.

Н. Ф. (дрожа от волнения) Вот вы говорите, что гордыня. В чем же гордыня, когда это единственный смысл жизни, единственная нравственная полнота, без которой человек не отличается от животного.

Я: Да ведь то, что желательно, еще не значит, что возможно. Я верю, что человек может овладеть землею, но думать, что он может так овладеть миром, чтобы воскресить мертвых, это — не признавать границу его ума и силы, а он между тем ограничен.

Н. Ф. (перебивая) Почему же вы знаете, где граница его ума? Кто вам это сказал? Вот это скорее гордыня с вашей стороны — решать, что человек то-то может, а того-то нет.

Я: Я сознаю, что мы очень еще не развиты и даже представить теперь не можем, до чего дойдет могущество человека. Но есть предел. Пока самых простых вещей мы не понимаем.

Н. Ф. Вот даже не понимаем второй заповеди и даже епископы её не понимают, например, Харьковский Епископ Амвросий. Вторая заповедь, говоря, что не сотвори себе бога из солнца, луны и т.п., т.е. природы, тем самым указывает, что не поклоняться им надо, а покорять их. А Амвросий увидал в желании проводить искусственный дождь противобожественную затею. А вот вы говорите, что мы можем желать, но из того не следует, что нам удастся это сделать. Это не избавляет от необходимости стараться. Может быть не удастся, но зная, что это единственное дело осмысляющее жизнь человека, мы должны его делать.

Я: Но если нет веры в успех?

ОН: Вот вы едете в Египет. Разве вы уверены, что будет успех? Когда вернетесь, вот будете знать уже наверно, а до тех пор должны делать все возможное. Где же гордыня? Стремиться к совершенству посредством смирения. Оно приводит к сознанию своей виновности (ибо мы своею жизнью убиваем ближних — оттого я говорю: нет умерших, есть убитые), которая приводит к раскаянию. А раскаяние выражается в том, что стремимся жить не для себя, и не для других, а со всеми и для всех. Пока новое поколение поглощает старое, чтобы в свою очередь быть поглощенным. Возвратим же жизнь старому поколению, чтобы получить право не быть в свою очередь поглощенными.

На этом разговор прервался. Вечером за обедом я передал содержание его Хомякову. Тот вспыхнул, как будто обиделся. Стал расспрашивать о Н.Ф., называл его Федотовым и узнавши,

что он так много читает, сказал: "Пофилософствуй, ум вскружится." Оборвал и стал говорить о Грибоедове.

После, в кабинете заметил, что люди не убиваемы, а умирают, ибо грешны, и лишь Искупитель может воскресить, а идеи Н.Ф. ересь. Уж без странного озлобления, проявившегося внезапно за обедом, он спокойно начал говорить, что именно ересь может жить в человеке святой жизни, чем становится опаснее. Такие умы побеждают удивительно меткими афоризмами, которые скрывают ложное учение, но пленяют ум. Говорил о бесконечном множестве вещей. Между прочим, он говорит, что в житиях святых египетских показываются подробные описания внешнего вида чертей, ибо это остаток египетской демонологии. У русских святых совсем черти не списаны с их внешней формы: исключение — новгородские, где сказалось, вероятно, влияние Запада. Советует мне приехать из Египта в Париж, где подготовиться к весне. Может быть сделаю.

10 сентября 1895 г. Был у Н.Ф. в Музее.

Я: Невозможность представить воскрешение всех умерших заключается для меня в том: если воскрешать всех, то где же предел? А мертворожденные, а выкидыши? Мы наконец дойдем до тех, которые не существовали, но могли бы существовать; всякое семя есть существо в возможности. Это такое количество, что места не может хватить.

Н. Ф.: Вот вы смущаетесь бесчисленностью. Вспомните о тех звездах, которые образуют туманные пятна, о тех, которые еще не образовались, но образуются. Можно ли их сосчитать? Вы согласны, что человек овладеет землею так, что будет ею управлять. Когда это будет, будет в мире первая звезда управляемая разумом.

Я: Разум человеческий относителен.

Н. Ф.: Ну, хоть сознанием. Итак, будет планета управляемая разумом. Населите все миры, чтобы вселенная была управляема разумом. Что ж вы беспокоитесь о том, что много людей. Можно думать, что немного миров населенных разумными существами. Если верить в творение мира по библии, это так. Это так, если думаете, что слепая сила сотворила мир. Трудно

чтоб сочетались много раз те условия, которые создали человека.

22 октября 1895 г.

Н. Ф.: Чтобы не разменяться на мелочи, следует задаться целью, одной целью, и всю жизнь работать над ней. Можно временно заняться и другим, но не бросать главного. Вот Гете всю жизнь писал *Фауста*.

Я: Вагнер двадцать лет писал *Нибелунги*. Как ничтожен человек, что самое малое дело поглотит всю жизнь.

Он: Если ничтожен человек, кто нарочно это сделал, что глаза у человека хуже чем у других животных, у орла например... Зато человек достиг видеть то, чего ни одно животное не может видеть. Человек слабее льва, например, а может горы двигать. Один человек ничтожен, но вместе со всеми — нет. Это буддисты жалеют человека, ибо для них он ничтожен и потому — жалок. Христианин никогда не скажет, что человек жалок, ибо знает, что человек достигнет Бога.

Я: А не первородный это грех — надежда достигнуть Бога? "Будьте как Боги".

Н. Ф.: Нет! Сказано: "Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный." Какая же это гордыня? Вот, если хочешь достигнуть знания для себя одного — это гордыня: таков Фауст, Манфред. А если со всеми и для всех, то где же тут гордыня?

Я: В чем именно, думаете вы, заключался первородный грех?

Н. Ф.: Я склонен считать, в смене жизни деятельной на жизнь чувственную и т.д. (Конец разговора не записан.)

30 октября 1895 г.

Н. Ф.: Не все из нас отцы, но все сыны. Воскресив отцов, мы по отцам все братья. Цель живущих — общее объединение для исполнения долга по отношению к тем, кто нам отдал жизнь — возвратили эту жизнь — но, в сущности, отдали ее, ибо рождая разрушается организм родившего. (У человека это не так заметно, но все же так.) Общее воскрешение — высшая нравственность. Бессознательно люди всегда стремились выполнить это. По физической необходимости кладя в землю от-

ца, по нравственной сын ставит на могилу памятник, сначала столб, затем при развитии статую, изображающую того, кто похоронен. Он стремится воссоздать, обессмертить что может, хоть память, образ. Таинство Евхаристии в том и состоит, что материя — хлеб и вино — превращается в тело и кровь. Частицы хлеба называют именем умершего и превращают в тело. Жизнь, ее задача, чтоб питание обратить в создание, а рождение — в воскрешение.

Я: Искусство стремится закрепить те моменты, которые ценны. Только то и живо в искусстве, что возникло из желания (вдохновение, восторг минуты) увековечить, поделившись им таким образом со всеми. Если художник очарован образом, настроением минуты, и это чувство вызовет в нем звуки, картину, статую, дающие вечную жизнь моменту, тому восторгу, которым полна душа — это творение живо. То же, которое не имеет почвы такой — мертворожденное дитя.

*Кожевников:*⁷ Учение христианское о воскресении, где некоторые будут страдать, отталкивает. Как же можно блаженствовать, если мой брат страдает? Что такое блаженство — основанное на созерцании своего преимущества перед тем, кто погиб и мучится.

Я: Все-таки православная церковь говорит, что задача жизни — лишь нравственное совершенство и что Бог сделает все, если человек будучи свят попросит Его. Воскресение — чудо рук Божиих. Поэтому воскрешение творимое хотя по воле Божией руками человеческими — ересь. Нам дано и приказано приобретать духовную силу.

Н.Ф.: Христос, воскреснув, с телом вознесся на небо. Христос дал пример. Люди, достигнув бессмертия и воскресив отцов, населят мир воскресшими и те, стало быть, с телами вознесутся на небо. Тогда материя одухотворится и мир, слепая сила, будет управляема разумными существами, созданными любовью Бога и воскресенными любовью человеков, Божьей волею, творимой людьми: "Да будет воля Твоя и на земле, как на небеси."

Я: Неужели, ведя такую жизнь, вы не терпели лишений, страдания?

Н.Ф.: Да я себя никогда не насиловал. Мне совсем было нетрудно.*

Я.: Я сдерживаюсь, но страдаю, если не имею женщин. Неужели вы не страдали?

Он: Оставьте это.

Я.: Я думаю, что вожделение кончается к сорока годам.

Он: (уходя в угол, покраснев, энергично) Никогда оно не кончается.

9 декабря 1895 г.

Н.Ф.: В русском переводе Ап. Павла: "Вера есть осуществление уповаемого."

24 декабря 1895 г.

Прочел Н. Ф. отзыв Хомякова (7 декабря 1894).

Он: Мы орудия воли Бога, а теперь противники — убивая. Разве гордыня возится в гнили? Вот гордыня — быть белоручками.

Ответ Н. Ф. на мое послание⁸

В вашем, по внешности прозаическом, а внутренне глубоко поэтическом произведении я вычитал призыв и к людям светским, явно (открыто) отвергающим будущее "Царство мира и жизни", и к духовным, лицемерно признавающим его, к военным, как будто явно немирным и к гражданским, притворно лишь мирным. И наконец оно, ваше слово, по светскому поэтическое, а по духовному пророческое, могло быть обращено и к той власти, которая поставлена выше этих враждебных сословий для их, конечно, примирения, поставлена Богом Триединым, как образом единодушия и согласия, Божеством жизнь творящим и смерти не создавшим, поставлена в умерших отцов место над сынами блудными, забывшими и близких и дальних своих предков (в этом и заключается смысл таинства венчания на царство мира сего⁹).

* (ст. 7) Бартенева примечание: "Он спит на горбатом сундуке, всего пять часов. Остальное время работает. Питаясь чаем и черным хлебом, вкушает лишь раз в день."

Не без основания я сознал, что в вашей прозе заключается не только поэзия, но и пророчество. Вы не читали сочинения, которое занимается и вопросом, во первых, о причинах неродственных и небратских отношений между людьми и о средствах восстановления братства, во вторых, о причинах неродственных отношений природы к нам и о средствах обратить природу, эту силу слепую, в орудие братства сынов, почувствовавших, наконец, во всей силе ту утрату, которую они понесли в смерти отцов.¹⁰ (Конечно, трудно представить, чтобы нынешнее поколение могло почувствовать такую скорбь.) Не читав этого соглашения, вы однако обращаетесь, во первых, к миру взаимной вражды (небратских отношений), вычисляя его преступления из-за людской косности и невежества, и предсказываете ему конец. Во вторых, обращаетесь к силе слепой, еще не управляемой разумом и предсказываете (видите), что этот гнет не будет вечен. Пророчество есть даже ваш недостаток. Настанет (грядет) час, говорите вы, когда люди выполнят волю Бога (выполнят все вместе, в совокупности и многолюдстве, в братстве по образцу в Троицином Боге заключающемся), Бога миротворящего, смерти не создавшего, ибо чем можно угодить и уподобиться Богу нетерпящему смерти, как не возвращением жизни тому, что погибло благодаря нашему невежеству, нашему бездействию, или при нашем содействии. Но час не настанет, время не приблизится, если мы останемся неподвижны. Ничего не делается, если мы останемся в бездействии. Предсказывать можно злое, конец мира, как следствие нашей розни. Доброе можно лишь делать, направлять. Потому-то нет и в Евангелии предсказания о том, что будет, если воля Божья будет исполнена.

Вы сами, конечно, понимаете невозможность предсказывать добро, и потому заменяете пророчество горячим призывом. Пора! Пора! — восклицаете вы. Пора, потому что средства земли истощаются, а населением она близка к переполнению, благодаря чему ценность жизни падает больше и больше,*

* (ст. 9) Федорова примечание: "Земля, как жилище человека, с одной стороны становится тесна для живущих и заражена от множества в ней померших и погребенных. Потому предсказания о гладах и морах исполнятся, если на призыв не будет ответа."

вражда усиливается, а любовь иссякает. Не нужно верить тем, которые говорят, что война между цивилизованными невозможна (Соловьев). Нужно особенно бояться тех, которые проклиная войну внешнюю, употребляют все усилия возбудить войну внутреннюю (Голстой).¹¹

Тихий и мирный призыв Владимира Александровича¹² у вас заменяется бурным и шумным. Конечно, то и другое необходимо.

Созерцание дня желанного, дня светлого, действует успокоительно и призыв производит тихий и мирный. Представление тех ужасов, которые обрушатся на человеческий род в том случае, если объединение не состоится, вызывает пышный и шумный призыв. Не будущее, но и настоящее, не может не вызвать бурного призыва: с одной стороны мир закоренелого коснения, грубейшего невежества, взаимной злобы, а с другой стороны тот же мир как громадная, опьяненная играми и забавами толпа в постоянной бессмысленной борьбе за мануфактурные игрушки, ослабляющая и истребляющая друг друга, отдаст себя тупо, слепо в жертву бесчувственной, умерщвляющей силы природы.

Для пробуждения коснеющей толпы недостаточно церковного пения, камерной музыки. Автор бурного призыва находит, очевидно, недостаточным хоровое пение и камерную музыку. Он хочет соединить вместе храмовую музыку и полевою, военную, для пробуждения толпы и отвлечения её от ребяческих забав, чтобы привести эту толпу к зрелому возрасту. Такая вот громоносная музыка должна разлиться по всему лицу земному, чтобы возвестить миру благую весть спасения всемирного родственного объединения всех живущих для воскрешения всех умерших на всей земле, как одном великом кладбище. Пасхальная полночь в московском Кремле есть лишь слабый намек на эту всемирную утреню светлого дня воскресения. Далее наш автор увлекается бурным стремлением и желает искру благовеста воскресения раздуть в такое пламя, которое охватит пожаром всю вселенную. Правда, автор думает сжечь мир косности, невежества, но эти грехи, как отрицательные величины и как ничто гореть не могут, к горючим веществам не принадлежат. Слепая сила сама себя

уничтожает, а разумное существо призвано спасти мир, обращая разрушение в воссоздание.

Строки о пожаре, так же как и о Царстве Божием, омываемом протоками воды,¹³ представляют собой выражения неточные.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Русский архив*, no. 4 (1911), 634.
2. "Святой Сергей Радонежский," no. 10 (1892), 223-233, и "Царский титул," no. 5 (1895), 195-196.
3. Аделина Патти (1843-1919) — известная оперная певица из Италии. Выступала на сцене в России несколько раз.
4. Владимир Егорович Маковский (1846-1920) — замечательный русский живописец реалистического направления.
5. Николай Федорович (Федоров).
6. Автора брат Юрий Петрович.
7. Владимир Алексеевич Кожевников (1852-1917) — долголетний друг Федорова и один из редакторов его рукописей, хотя он не принимал идею воскрешения достигнутого людским трудом.
8. Прочитав статью Антона Григорьевича Рубинштейна об опере Бартенева *Christus*, Федоров заинтересовался этой оперой. Она казалась ему незаконченной, потому что Христово Воскресение не представлено. Федоров попросил Бартенева написать последний акт о воскрешении. Послание, это первый шаг к исполнению этой задачи. (см. "Письма Н. Ф. Федорова к В. А. Кожевникову," *Евразия*, no. 24 (4 мая 1929) ст. 7, зам.9.) Текст послания Бартенева не найден.
9. Царское коронование.
10. Федоров, вероятно, говорит о статье, которая находится в *Философии общего дела*, I, 1-41.
11. Отвергая государство, Толстой поддерживает революционеров и преступников (*Философия общего дела*, I, 438; II, 378)
12. Кожевникова поэма "Призыв" напечатана в газете *Дон*, no. 84 (1898) и находится в *Философии общего дела*, II, 146.
13. В тексте стоит: "омываемое пророками воли".

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВЛАСОВ

Читая советские источники, описывающие власовское движение, прямо поражаешься потокам лжи, которые выливаются на все движение и, главным образом, на имя Андрея Андреевича.

Что знают о Власове в Советском Союзе? Год тому назад я был в одном университете, где один очень интеллигентный человек, член Союза писателей СССР, когда его спросили: "Что вы знаете о Власове?" — ответил: "Ничего я не знаю. Я знаю только, что он предатель, а больше я ничего не знаю." И вот я думаю, что на всех нас, как участниках этого движения, и особенно тех, кто были близки генералу Власову, на нас лежит долг: отсвидетельствовать. И потому прошу принять свидетельство человека, который был участником этого движения, и кроме того, был лично очень близок к Андрею Андреевичу. Не как подчиненный, не как служащий, а просто как человек. Я принадлежал к той группе молодежи, которая имела еще корни в России. Мы ушли, и мы не забыли, откуда мы ушли, и мы несли все время в сердце своем желание служить своей родине. И вполне понятно, что когда началась война, мы думали, что переворачивается какая-то новая страница истории нашей родины. Когда мы встретили Андрея Андреевича, в лице его мы увидели не просто человека. Это была *личность*. И все то, что говорил мне Власов, я помню, и это запечатлелось в моей памяти.

*Это — доклад И. Новосильцева, прочитанный в Св.- Серафимовском фонде 27 марта 1977 г.

Так случилось, что я встретился с генералом Власовым тогда, когда о нем никто ничего еще не знал. Я приехал в Берлин, и мой двоюродный брат, Кирилл Дмитриевич Вергун, устроил меня в один пансион. В этом пансионе было как бы гнездо НТС. Я никогда не принадлежал к НТС. Но мой двоюродный брат, который был председателем идеологической комиссии НТС, меня устроил в этот пансион. Там жил Казанцев. Казанцев работал в пропагандном отделе Военного министерства. На Виктория штрассе. И туда привезли генерала Власова. И в первый день, когда Казанцеву удалось вывести его из-за решетки, он привел его в наш пансион. И мы устроили ему ужин. После ужина ему не хотелось уходить, и Власов попросил Казанцева позвонить, чтобы разрешили ему остаться ночевать. И вот пришло разрешение. Андрей Андреевич остался, и мы решили, что будет спать он в моей комнате, потому что мой товарищ по комнате в это время был на ночном дежурстве. Постели стояли совершенно рядом. Я хорошо помню, как Андрей Андреевич, который очень скоро начал мне говорить "ты" — меня это не удивило — сказал: "Не туши свет, мы будем разговаривать". И всю ночь до утра мы проговорили.

Сначала Андрей Андреевич меня "прощупывал". Он хотел знать, с кем он имеет дело. Я Андрею Андреевичу подробно все рассказал. Всю свою жизнь. Когда у нас начался разговор, как говорится, на щекотливые темы, я сказал Андрею Андреевичу, что сейчас, если мы будем разговаривать на эти темы, то самое важное: имеет ли он ко мне доверие или нет? Я помню хорошо, как Андрей Андреевич высунул руку из-под одеяла: "Давай, говорит, руку пожмем, будем друзьями. Ты русский и я русский, мы сговоримся". И он меня спросил: "А ты в победу немецкую веришь?" И я ему сказал: "Нет, не верю". Я в 42-ом году, когда уже был в Берлине и работал в Министерстве, в победу немецкую не верил. Я Андрею Андреевичу сказал, что выиграть битву можно, но выиграть мир Германия не сможет. На это Андрей Андреевич мне тогда ответил: "Вот это для нас и есть самое лучшее". Самый ключевой вопрос во всем власовском движении: возможно ли было русскому человеку браться за оружие против своей родины? Если уж говорить образно, как любил Андрей Андреевич, я себе создал такой образ: там наши

братья, но братья бывают разные. Каины и Авели. И если Каина мы ненавидим, то Авеля мы любим. И вот представьте себе, что видите вы, некто приходит и начинает бить Каина. Что делаете вы? Вы этому некто помогаете. И когда падут оковы с Авеля, и этот некто захочет тоже бить Авеля, вы с Авелем объединитесь, освободитесь от этого некто. Некто — вы сами понимаете, кто был. В этом я нахожу себе моральное оправдание, что я вошел во власовское движение.

После этой ночи я очень много и часто встречался с Андреем Андреевичем. Андрей Андреевич приходил к нам в пансион. Тогда он еще ходил в штатском, в сером пальто, в шляпе, и вид у него был не особенно блестящий. И Андрей Андреевич очень часто, когда приходил, а я в это время имел очень много свободного времени, (я работал на радиостанции, передавал по радио статьи для газет в Смоленске, в Киеве, утром читал, и в 11 часов утра я уже был свободен), разговаривал со мной. Мы ходили по Берлину, гуляли в парке, ходили в русские рестораны и т.д. Так что я могу сказать, что мое свидетельство основано на том, что я сам видел и сам слышал.

Когда мы ночью разговаривали, то он мне сказал: "Ну, хорошо, но откуда же нам взять оружие? Мы должны взять его у немцев". Это, конечно, компромисс, но я вам скажу... Я хорошо помню слова генерала Краснова, когда Деникин во время кубанского второго похода уже был на Кубани, а немцы пришли и были в Ростове, у Деникина были большие затруднения. И необходимо было оружие. И Краснов передавал оружие Деникину, Деникин не хотел входить в контакт с немцами на том основании, что еще война не кончилась и это враги. А Краснов говорил: "Я беру оружие от немцев, омываю его в водах тихого чистого Дона и передаю Деникину". Без компромиссных решений не может быть государственного деятеля. А наши князья московские, которые ездили в Орду? А Александр Невский? Так что, если говорить о компромиссе, на который пошел Андрей Андреевич, он пошел на него, потому что каждый государственный деятель бывает вынужден идти на компромисс, преследуя определенную, какую-то большую цель. А целью Андрея Андреевича было, конечно, освобождение нашей родины от самого страшного ига за всю российскую историю.

Когда я был уже совсем близок с Андреем Андреевичем и когда я мог совершенно с ним откровенно говорить, то вполне естественно, что я его начал спрашивать, когда, как, где начались его антиправительственные, антисоветские чувства? Первое, что он мне рассказал, это то, что подчеркивает и Солженицын: ложь, ложь во всем. Андрей Андреевич как-то сидел дома со своей женой и читал газету. И в этой газете было какое-то новое правительственное распоряжение, в котором он видел очередное страшное ущемление российского крестьянства — а сам-то он был крестьянином, из крестьянской бедной семьи. И вот он возмущался этим. И вместе с женой они говорили, и вдруг приходит начальник штаба и спрашивает его: Ну что, прочли? Так вот, говорит, замечательная какая, интересная статья, и какое мудрое наше правительство. И когда он ушел, то жена Андрея Андреевича посмотрела ему в глаза и сказала: "Андрей, а разве можно так жить?" — я хорошо помню, как Андрей Андреевич мне это рассказывал. Затем Андрей Андреевич был на Северном Кавказе. Он тогда уже командовал большими подразделениями и был тогда, я хорошо помню, в станице Кушевка. Станция Кушевка — это маленькая узловая станция, там ветка на Ельск, по дороге на Ростов, Кавказ. И он говорил, что он на всю жизнь запомнил эти транспорты раскулаченных и что сделали с деревней. Он это всегда вспоминал — ужасы тех транспортов, которые он видел на станции Кушевка. Затем он говорил: "Какая же это власть? Я — командир, моя жена — доктор, мы работаем, у нас есть деньги, мы помогаем нашим родным, а государство их за то, что мы им помогаем, за то, что мы им купили и что-то им приобрели, наказывает. Мы им помогли, а их на следующий год раскулачили." Затем чистка среди военной среды. Ведь большинство его товарищей по службе погибли. Андрей Андреевич всегда мне говорил, что больше всего он надеется на Рокоссовского, с которым он, наверно, был очень близок, потому что всегда мне говорил: "Ну, а Костя, Костя думает то же самое, что и я. И с Костей мы сразу сговоримся." Затем он говорил, что пошел в Красную армию, когда был молодым студентом, и в 18-ом году он уже был в Красной армии, потому что верил, что земля и воля будут. Земля крестьянину и воля народу.

Андрей Андреевич в ту же ночь, когда мы с ним разговаривали, спросил: "В чем, ты думаешь, была ошибка Белой армии?" На это я ему сказал, что ошибка Белой армии была в позиции непредрежденчества. И Андрей Андреевич сказал: "Да, вот если бы мы точно знали, за что Белая армия борется и что она даст рабочему, что она даст крестьянину, вот тогда бы было все по-другому. А вот позиция непредрежденчества совершенно неправильна." И он начал меня сразу же расспрашивать о том, что есть в эмиграции, есть ли какие-то партии? Он совершенно не знал ничего об эмиграции, но надеялся, что найдет в эмиграции какую-то опору и государственных людей.

Я чистосердечно ему рассказал обо всем, что я знал. И Андрея Андреевича очень огорчило, что у нас было очень много разногласий. Он не был монархистом. Не мечтал ни о какой реставрации. Я думаю и свидетельствую, что Андрей Андреевич был очень большим демократом. И ни о какой авторитарной власти, как считает Солженицын, не думал.

Я рассказал Андрею Андреевичу о тех группировках, которые существовали в это время в эмиграции. Он меня расспрашивал, кто, где... Я ему рассказал, кто в Париже, кто в Праге, я многое знал. И я сказал ему, что в тот момент, когда он сейчас находится в Берлине, здесь группа молодежи... Я не помню, как она тогда точно называлась, теперь она называется НГС, а тогда она называлась Национально-Трудовой союз нового поколения... И Андрей Андреевич мне сказал, что это его интересует и когда будет их программа готова, чтоб я эту программу ему принес. И я это исполнил. И летом 43-го года мне Байдалаков и Вергун передали схему, и я принес ее Андрею Андреевичу, который на ней сделал очень много деловых замечаний.

Андрей Андреевич не переходил на сторону врага и не был инициатором этого движения. Это движение зародилось раньше, до него. Оно было народно-стихийным, и цифры его огромны. Андрей Андреевич, как известно, был командующим армией, которая шла, чтобы прорваться к осажденному Ленинграду. И там эта армия совершенно погибла в болотах, в лесах, и вот тогда Андрей Андреевич остался один, только с женщиной, которая

была его домохозяйкой. И он сидел около одной деревушки, я помню название, потому что странное какое-то название — Пятница. И вот около этой деревушки Пятница была лесная сторожка, и в этой лесной сторожке он прятался. И кто-то донес, и пришли, и его забрали.

Но он мне говорил, что он первый раз подумал о шансе, есть ли шанс для антисоветских сил использовать положение. Что сидя на пне, на полянке он все время об этом думал. Почему зародилась у него мысль, он не знал точно, что происходит, какое уже идет освободительное движение и сколько тысяч, десятков, сотен тысяч людей из советских пленных и из населения гражданского хотят взять оружие, чтобы бороться против советской власти. Он частично только об этом знал, знал это по докладу, который он слышал в Москве, а больше всего, он мне говорил, его поразил один факт. Он отступал со своим корпусом из Галиции. И в каком-то городе, не помню точно, какой это городок, они получили распоряжение спешно отходить. И вот колонна танков отходила. И из другого танка, по радиосвязи начальник штаба, когда они отошли от этого города, ему передает, что они в помещении, где ночевали, забыли какие-то документы. Андрей Андреевич приказывает сразу трем тяжелым танкам повернуть и полным ходом идти обратно в этот город, это была Западная Украина. И когда они ворвались с танками в этот город, они увидели на улицах цветы, разбросанные цветы на улице, и народ, ожидавший прихода немцев с другой стороны. И Андрей Андреевич говорил, что на него это произвело страшнейшее впечатление. И в его танке пулеметчик ему сказал: "Пустить очередь?" А он ответил: нет, женщины и дети. И они повернули, взяв из того помещения, где оставили, эти документы. И Андрей Андреевич несколько раз об этом вспоминал и говорил, что его сердце в тот момент наполнилось какой-то горечью.

Затем уже на фронте он мне рассказывал, что был другой факт, который тоже на него произвел большое впечатление. Он объезжал фронт и увидел, что где-то в одном месте на земляной дороге застряло несколько повозок со снаряжением. И это, говорит, ясно было сделано нарочно, не хотели воевать. Это факт, что не хотели воевать, и вот тогда он подумал: а может

быть, есть шанс добиться того, что мы освободимся от орды советской, а орда немецкая не страшна. Конечно, была опасность, но Андрей Андреевич говорил, и я с ним это много раз обсуждал, что немцы не могут оккупировать всю территорию нашей родины. А что остановиться где-то, а дальше не идти — невозможно. И что если начала какая-то страна, какая-то сила оккупировать такую страну как Россия, она должна прокатиться до Владивостока. А остановиться на Урале невозможно. Невозможно. И он на основании своего опыта в Китае говорил, что как японцы завязли в Китае, так и немцы завязнут в России. И ничего у них не получится. Что если мы успеем собрать армию, и это не дивизию, не две дивизии, а можно было создать большую армейскую группу, то мы всегда успеем оторваться от немцев, а после мы уж будем с ними разговаривать совершенно по-другому.

Это было патриотическое чувство русского человека, который хотел освободиться от орды советской, но не пойти под орду немецкую.

Если бы Гитлер пришел как освободитель, то опытные русские войска, решая в первую очередь свою национальную задачу, воевали бы за полное освобождение России от сталинской деспотии. Даже если бы по стратегическим соображениям он провел войну со Сталиным под флагом освобождения России, он обязательно преследовал бы при этом свои далеко идущие цели: сперва с помощью русских сил освобождения разбить Сталина, а потом подчинить себе еще не окрепшее русское государство, то есть на этот раз уже откровенно завоевать Россию. Да. Гитлер это думал. Но это было совершенно не по силам немцам. Это было совершенно невозможно, и поэтому-то Андрей Андреевич смело и решительно пошел и присоединился к освободительному движению, и имя свое дал этому движению.

Стратегически неплохой по нормам и критериям XX века план Гитлера неминуемо в свое время взлетел бы на воздух. Дело в том, что непрерывный, двадцатипятилетний чекистский террор сделал нас подозрительными, недоверчивыми. У многих из нас выработалась порой чрезмерная осторожность и предусмотрительность, и подвох мы учуяли бы заранее. Русское

правительство немедленно установило бы дипломатические отношения с Англией и Соединенными Штатами. Андрей Андреевич тоже об этом говорил. Когда была бы организована армия и оторвавшись, ушла бы, скажем, в Сибирь, то союзники конечно начали бы разговаривать с ней, потому что во время Белого движения, если союзники не помогли Белой армии, то это потому, что в те времена было очень распространено мнение: наша хата с краю — ничего не знаю, и очень это далеко, и нас это не касается. А вот тогда, если бы русская армия, освободительная армия прорвалась бы в Сибирь, то союзники помогли бы, потому что общее дело — надо было валить Гитлера. И тогда бы разговаривали. Так же, как и теперь. Если сейчас разговаривают, почему? Потому что уж очень угроза близка. А вот в наше время, когда я был совершенно молодой, то в первой эмиграции тоже были большие государственные люди. Но с ними никто не хотел разговаривать. Почему? Потому что тогда считали — ну, это ваше, русское дело, а нас это не касается, а вот теперь и Буковского принимают в Белом Доме, не правда ли? Почему? Потому что беда стучит в ворота. Враги Германии получили бы в лице России верного союзника в стадии возрождения, реализующего свои громадные духовные силы в подлинном освободительном порыве, и тут Гитлеру сломили бы шею.

Сталинской пропагандой Андрей Андреевич Власов был объявлен изменником родины. Но перед судом истории и зрячими современниками он был и останется человеком, который из-под обломков груды ошибок, совершенных великими мира сего, сумел извлечь воинские силы, которые несомненно повлияли бы на ход событий, если бы цели и задачи власовского движения были правильно поняты союзниками.

И. Новосильцев

РАСПРАВА С М. ЗОЩЕНКО

В группе, занимавшейся у Н.С. Гумилева нас было человек десять: Всеволод Рождественский, Ирина Одоевцева, Владимир Познер, Наташа Генкина, других не помню. Однажды я робко спросила нашего мэтра:

— Николай Степанович, а можно научиться писать стихи?

— Конечно, можно, — лукаво прищурившись, ответил он, — И это очень просто: надо только взять две хорошие рифмы и пространство между ними заполнить, по возможности, не очень глупым содержанием.

Как-то раз во время занятий приоткрылась дверь и в нее бочком, со словами: "Разрешите войти" протиснулся молодой человек небольшого роста. Он был в длинной, до пят, солдатской шинели, в одной руке он держал фуражку, в другой — школьную тетрадь. Он остановился посреди комнаты, явно не зная, куда себя девать. Смуглое лицо, матовые карие глаза, сурово сжатый рот, — все выражало предельную застенчивость и непреодолимое смущение.

Гумилев мельком взглянул на него.

— Вы что, — пришли заниматься? — спросил он своим высоким голосом.

Молодой человек ничего не ответил, он шагнул к Гумилеву и протянул ему тетрадку.

— Но ведь это проза?... — удивленно сказал Гумилев, перевернув несколько листочков, — Почему мне?

— Прошу вас, — беззвучно сказал молодой человек.

— Хорошо, прочту...вы оставьте.

Мне показалось, что Николай Степанович был даже

несколько польщен. — Если хотите присутствовать на занятиях, — садитесь. Кстати, как ваша фамилия?

— Зошенко, — пробормотал молодой человек и робко присел на стул справа от меня.

Так я впервые увидела Мишу Зошенко, ставшего впоследствии если не другом, то добрым приятелем на много лет.

Это был сентябрьский день 1946 года. И у него нет названия. Утром я пришла в Союз писателей. Уже несколько дней ходили слухи, что предстоит какое-то важное собрание. И не в стенах Дома писателей, а в Таврическом дворце. Это историческое место действия уже само по себе определяло значительность и, я бы сказала, глобальность мероприятия. Накануне всем членам Союза писателей были выданы именные билеты, вернее пропуска. Неясно было, как поступить с "младшими" писателями, /не членами Союза, а членами так называемой Профгруппы/. Было нас в Профгруппе человек 35, пропусков же выделили всего четыре. Решено было дать их "активу". В этот актив зачислили и меня, так как в то время я возглавляла "бытовую комиссию", то есть доставала продуктовые карточки, добивалась для писателей дополнительной жилплощади, кланчила в Торговом управлении ордера на мануфактуру.

Секретарша, с которой я была на дружеской ноге, оглянувшись на закрытую дверь, доверительным шепотом сказала мне, выдавая пропуск:

--- Понимаешь, всем выдали пропуска, кроме Ахматовой и Зошенко. Они были вычеркнуты из списка. Правда, странно?

Это было, действительно, странно. Все знали, что Ахматова и Зошенко впали в немилость, вероятно их собираются "прорабатывать".

К проработкам мы привыкли с 37 года и знали, к чему они могут привести. Но все были уверены, что после войны наступила новая эра. Весь народ, в том числе и интеллигенция, заслуживали если не благодарности, то хотя бы уважения и терпимости. Казалось, что в Кремле уже кое-что поняли и дикий безоглядный шквал бессмысленных репрессий кончился. Ну, в сотый раз предложат "усилить идеологическую борьбу", "сплотить ряды", "повысить бдительность" и пожурят двух неугод-

ных писателей. Но почему в их отсутствии? Проработчики того времени не очень церемонились с намеченными жертвами, уважение к личности, к человеческому достоинству было не в моде и деликатничать они не привыкли. Да, это было странно и настораживало.

При входе в Таврический дворец образовалась очередь: пропуска проверяли с предъявлением паспорта и оба документа долго и тщательно изучали. Через десять шагов снова — пропуск и паспорт. И так четыре раза. В зал вводили чуть ли не под конвоем. Все были озадачены и встревожены, нервно улыбались друг другу — ждали, — что будет. Уж слишком торжественно-зловеще выглядела обстановка.

Жданова встретили аплодисментами и он начал свой "исторический" доклад. Вступление было обычным, набившим оскомину, каждый присутствующий знал его наизусть. Кое-кто перешептывался, кашлял... Но вот Жданов заговорил об Ахматовой. Зал смолк, замер. Оратор не стеснялся в выражениях, — не все, сказанное им, попало в Постановление, опубликованное в печати. Он называл Анну Андреевну такими словами, которых невозможно повторить, они не имеют права оставаться в памяти. Казалось, что в официальном, утвержденном тексте такого быть не могло. Жданов, распаляясь, нес отсебятину на привычном для себя жаргоне. Зал престал дышать. Никто не смел поднять глаз, никто не решался перегляднуться с соседом.

Не веря своему слуху, я искоса глянула по сторонам. У некоторых мужчин стояли в глазах слезы, их невозможно было удержать и нельзя было смахнуть: опасно было показать соседу, что ты плачешь. Да и пошевелиться не было сил. Все сидели опустив голову от чувства гадливости и стыда, раздавленные, как под глыбами рухнувшего здания.

Потом толстолицый оратор перешел к Зошенко. В том же ключе он поливал его помоями, видимо восторгаясь собственным красноречием.

"Какое счастье, что их здесь нет" — подумала я. И тут меня поразила вторая "странность", — что "в верхах" хватило "такта" совершить эту казнь заочно. А вернее, там просто боялись публичной истерики или, чего доброго, сердечного при-

падка. Так оно спокойнее. Под конец Жданов остановился на так называемых "упомянутых" в Постановлении, среди которых был и мой большой друг талантливый драматург Григорий Ягдфельд. Даже в роли "упомянутого" ему солоно пришлось несколько последующих лет.

Объявили перерыв. И это самое трудное.

Большинство осталось сидеть на своих местах. А те, кто выходили из зала, переставляли одеревенелые ноги, как заводные куклы. Они не знали, как себя вести, куда деваться, как поздороваться с друзьями, что сказать друг другу...И вдруг я увидела, как в мужскую и женскую уборные выстроились две длинные-длинные очереди. Вряд ли всем понадобилось в этот момент отхожее место. Но, когда стоишь в преддверье ватер-клозета, не очень-то принято разговаривать. Можно даже не глядеть друг на друга. Это было единственное прибежище, где человек имел право в одиночку переживать свой стыд, тоску и бессилие.

В фойе, как на всех торжественных собраниях, был устроен книжный киоск, где продавали редкие книги, отсутствующие на прилавках. Обычно к такому киоску не подступиться. На этот раз он был пуст. Удивленная продавщица таращила глаза на равнодушно проходивших мимо. Только две небольших группки переговаривались в стороне, — это были те, кому надлежало выступить после перерыва.

Я захотела уйти, просто уйти от этого духовного смрада. У дверей стояло четверо дежурных в военном.

— Куда вам, гражданка? — остановил меня один из них.

— Иду домой, — наивно сказала я, — А что?

— К сожалению, нельзя, — вполне вежливо остановил меня военный, легким движением руки преграждая мне путь.

— То-есть, как это — нельзя? — запальчиво начала я, чувствуя, что сейчас разревусь.

— Нельзя, — повторил он, — До окончания собрания двери закрыты. А вам разве не интересен доклад товарища Жданова?

Поняв, что дальнейший диалог может плохо кончиться, я отошла от дверей. "Интересен" — подходящее слово нашел этот робот в военном.

После перерыва начались "прения по докладу". Все насторожились: кто будет выступать, что будет говорить?

Сначала выступали какие-то незнакомые личности, вероятно из горкома, обкома или иных партийных недр. Я запомнила троих, которых знала: Луговцова, Корыхалова и от писателей Николая Никитина. Скажу несколько слов о каждом.

Луговцов был в Союзе писателей оком всесильных "органов". Уж не помню, какую для него изобрели должность, — то-ли заместителя председателя, то-ли секретаря Союза. Он во все вмешивался, всем верховодил, его побаивались. Малограмотное, вредное ничтожество, которого слушать было незачем.

Корыхалов — редактор кино-студии научно-популярных фильмов, считался образованным человеком, писал статьи. Свою речь, разумеется в том же русле "генеральной линии", он пытался скрасить литературным анализом, цитатами, ссылками на Ленина и прочей наукообразной мишурой.

Когда же на кафедре появился Николай Никитин, зал чуть не ахнул. Коля Никитин был усидчивым писателем-работягой. Написал несколько неплохих книг, среди них увесистистый том "Конец Авроры". Вышел он из "Серапионовых братьев", дружил со многими достойными людьми. С юности я знала его, как порядочного интеллигентного пай-мальчика, бывала у него дома. Я не припомню сейчас, был ли он членом партии, кажется, не был. Впрочем, выпустить на такую роль беспартийного считалось особым шиком.

Он стоял белый как стена и что-то мямлил. С ума он сошел, что ли? Ну, а как откажешься, если тебя вызвали и "предложили" выступить? А ты не успел удрать в командировку или лечь в больницу. Как ты ответишь: "Не могу, не хочу, не согласен..." В тот же день кончится налаженная жизнь, работа, ты вылетишь за борт, а то случится нечто и похуже... И вот он стоит и бормочет какую-то невнятицу, боясь поднять глаза, уткнувшись в исписанные листочки. Мне даже стало его жаль. — "Подлец" — прошептал кто-то сзади. — "Бедняга", — отозвался другой.

Расходились молча, торопливо, не глядя по сторонам.

Ну, как назвать этот день?

Добавлю для полноты картины еще один эпизод.

На Урале в эвакуации, в писательском детском лагере была с нами литературный критик Тамара Казимировна Трифонова /сестра Веры Кетлинской/. Она заведовала так называемой "старшей точкой" — старшеклассниками. Как-то ночью, сидя со мной вдвоем в унылом коридоре на узкой черной скамье, после долгого утомительного дня, когда все дети, наконец, уложены и наступил краткий час досуга, Тамара Казимировна принесла томик Ахматовой.

— Знаете, Надя, — сказала она, — вот самое для меня дорогое... Я почти ничего не взяла с собой в эвакуацию, кроме моих двоих детей, да этого томика Ахматовой. Я держу его под матрацем на моем топчане, чтоб не сперли. Это моя единственная радость и утешение.

Через несколько дней после доклада Жданова в "Ленинградской Правде" появилась разгромная, позорная статья об Анне Андреевне. Прочтя ее, я взглянула на подпись и обмерла: Тамара Трифонова.

На другое утро я столкнулась с ней на лестнице в Доме им. Маяковского. Она была оживлена.

— Ну, как, Надюша, вы читали мою статью? — спросила она, улыбаясь, — Что скажете?

Я посмотрела ей прямо в лицо.

— А куда вы дели томик Анны Ахматовой, вашу радость и утешение, который вам был дороже всего на свете после ваших детей? И вы, глядя мне в глаза, можете спрашивать, — что я скажу о вашей статье?

Я сбежала со ступенек, а она осталась стоять посреди пролета. Не знаю, что она переживала в ту минуту, — я больше никогда с ней не разговаривала.

Но я хочу быть объективной. Та же самая Тамара Казимировна во время войны подобрала на какой-то станции замызганного еврейского мальчика, потерявшего родителей, воспитала его вместе со своими детьми, иногда даже отдавая ему предпочтение, чтобы он "не чувствовал разницы", дала высшее образование и даже женила на милой девушке, сыграв веселую свадьбу. Она полностью заменила ему мать, да он и звал ее: мама.

Как необъяснимо сочетается в человеке подлость и благородство. А, может быть, и она не могла отказаться от статьи, боясь за судьбу своих троих детей. Может быть, и ее надо было не осуждать, а пожалеть, — не знаю. Меня потрясло выражение ее лица, вполне довольное собой, словно статья эта была ее творческой удачей.

Большой зал Дома им. Маяковского был переполнен. Ожидалось необычное судилище, — должен был "каяться" Зошенко.

После позорного сентябрьского Постановления Зошенко сжался, никуда не показывался. Многие, очень многие боялись встречаться с ним, да и он не хотел ни с кем общаться, кроме двух-трех близких друзей. Жил он трудно и горько. Материально ему помогали бесстрашный Юрий Герман и Ольга Бергольц.

Однажды я встретила Михаила Михайловича на канале Грибоедова, возле писательского дома, где он жил. Он шел почти вплотную прижимаясь к стенам домов, не глядя по сторонам, словно желая ощущать себя под шапкой-невидимкой. Я остановилась.

— Не подходите ко мне, Надя, — сказал он с каким-то глухим вызовом. — Вас могут увидеть... в моем обществе. Я же зачумленный.

— Что за вздор, Миша, — сказал я, — Уж мне бы вы могли этого не говорить. Можно, я провожу вас?

— Ни в коем случае... — потом посмотрел на мое расстроенное лицо, — уж разве до ворот.

Мы молча пошли в сторону его дома.

— Я много раз звонила вам, Миша, но никогда не могла вас застать дома.

Он усмехнулся.

— Я теперь не подхожу к телефону.

Он был таким замкнутым, отчужденным, что я маялась, не зная, как продолжать разговор.

— Миша, только умоляю...не сердитесь... Может быть я могу... чем-нибудь быть полезной...скажите...ну, пожалуйста...мы ведь... —

— Я не сержусь... — сказал он мягче, — Спасибо вам, но...ничего не надо. Все в порядке. Вернее, так, как... должно быть.

Мы подошли к воротам. Он пожал мне руку и даже улыбнулся.

— Миша, ведь скоро все переменится...вы же знаете, как это у нас...

— Возможно — но...скоро, вряд ли — сказал он, снова помрачнев, — И до всего надо дожить, — и до плохого и до хорошего. Только до второго...труднее.

Потом произошла его встреча с иностранными корреспондентами. Из каких соображений "инстанции" разрешили эту встречу — непонятно. Вероятно они рассчитывали, что Зошенко поведет себя, как та пресловутая унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. А Зошенко на вопрос, как он относится к Постановлению, вполне однозначно ответил, что не согласен с ним и считает, мягко говоря, несправедливым. И тут уж началась настоящая травля, кончившаяся тем, что его принудили публично "каяться" на общем собрании писателей. И так же непонятно, — почему Зошенко согласился на это. Он мог отказать, — терять ему было нечего. Неужели он предполагал, что его искренние слова, его объяснения смогут что-нибудь изменить? И он согласился на эту Голгофу.

Повторяю, зал был переполнен. Председательствовал все тот же Луговцов, хотя по должности ему это было как будто "не положено". После вступительной преамбулы с перечислением всех Зошенковских грехов, произнесенной кем то из писателей, вышел Зошенко. Я его едва узнала. Маленький, ссохшийся, с почерневшим лицом, он стоял беззащитный перед огромным залом и не мог начать говорить. Руки его дрожали, вернее, дергались.

— Ну, же, — сказал Луговцов, — мы вас слушаем.

Тихим, еле слышным голосом Михаил Михайлович сказал несколько фраз, пытаясь разъяснить смысл своего несчастного рассказа "Обезьяна".

— Громче! — резко оборвал его Луговцов.

И тут Зошенко прорвало.

— Что вы хотите от меня? — закричал он. — За что вы меня травите? В чем я виноват?

И вдруг заплакал. Заплакал по-детски, всхлипывая.

Луговцов встал.

— Не устраивайте тут спектакля! — крикнул он, — Москва слезам не верит. Разнюнился, как последняя баба!...

И вдруг Зошенко, закрыв руками лицо, сбежал со сцены и высочил в боковую дверь.

Зал обмер. Луговцов, оцепенев от неожиданности, продолжал стоять, как вкопанный.

Меня изнутри огрело такое отчаяние и бешенство, что я сорвалась с кресла и кинулась за Зошенко. Я нагнала его на лестнице. Он стоял, повернувшись лицом к стене и рыдал. Плечи его вздрагивали.

— Мишенька, родненький... не надо... Это же сволочи, подонки... — бормотала я, глядя его по плечу.

В эту минуту я увидела бегущих по лестнице Германа и Бергольца. "Слава Богу, — подумала я, — они ему ближе, чем я, с ними ему будет легче"...

— Молодец! — бросил мне Герман на ходу.

Я так и не поняла, за что он меня похвалил. Много позже он сказал мне, что шок был настолько велик, что кому-нибудь надо было нарушить это оцепенение. И я, моей "демонстративной выходкой" всколыхнула зал: начался шум, выкрики, назревал скандал, собрание было сорвано.

Я не вернулась в зал и что там происходило — не знаю. С меня было довольно. Я спустилась в раздевалку. Проходя мимо столовой, я увидела Зошенко. Он сидел, опустив голову на стол, с двух сторон его обнимали Герман и Берголец.

Н. Крамова

АРТИСТИЧЕСКАЯ МОСКВА В 1917 - 20 гг

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I.

В 1917 году я был секретарем общества КООПЕРАЦИЯ в Москве, которое занималось, главным образом снабжением московских жителей всякого рода продуктами. Как известно, цель всех кооперативных обществ заключалась в том, чтобы общими усилиями закупать всякого рода продукты и распределять между своими членами. Общество "Кооперация" было организовано под председательством князя Димитрия Ивановича Шаховского, выдающегося общественного деятеля. Довольно быстро образовалось Общество с количеством в 300 тысяч членов. Такой успех этой идеи объясняется еще тем, что мы жили во время войны, и в 1916 году чувствовался сильный недостаток продуктов, и возможность получать продукты непосредственно от производителя и распределять их между членами общества по сравнительно нормальной цене с небольшой надбавкой на текущие расходы, конечно, привлекла очень многих. Как секретарь этого общества я должен был заниматься нахождением подходящих помещений для распределения этих продуктов. В это время целый ряд магазинов пустовал, многие не могли выдержать тяжести войны, отсутствия продуктов, закрывались, и поэтому нам удалось найти довольно много таких помещений в очень удобных частях города.

Одной из моих идей было, чтобы артисты, в частности, артисты Московского Художественного театра, которых я очень ценил, имели бы свою лавку, которая бы их снабжала. Они охотно записались членами общества КООПЕРАЦИЯ, и как таковые получали соответствующие продукты. У некоторых из

этих артистов, в частности, у Александра Леонидовича Вишневого, Ольги Леонардовны Книппер, создалось почему-то впечатление, что все эти продукты результат моего благоволения к ним, и считали меня своим "благодетелем", хотя все это они получали, как члены общества КООПЕРАЦИЯ. Но как бы там ни было, у нас создались на этой почве очень хорошие отношения. Однажды я попросил А. Л. Вишневого познакомиться меня с Качаловым и изложить ему мою мысль о постановке одного спектакля в Колонном зале Дома Союзов (бывшем Колонном зале Благородного Собрания). Я когда-то слышал в Москве исполнение симфонической поэмы Шумана "Манфред" немецким артистом Поссартом, и мне уже тогда захотелось осуществить такой спектакль с русским артистом. И, конечно, Качалов казался мне идеальным для этой роли. Но кроме артиста нужен был еще дирижер оркестра. В это время в Москве пользовался успехом оркестр Сергея Кусевичского, который давал абонементные концерты в театре Незлобина. Вишневский очень эту идею одобрил и устроил мне свидание как с Качаловым, так и с Кусевичским. Мы сговорились об условиях, и этот концерт был дан в Колонном Зале. Он имел большой успех и был повторен несколько раз. Материальный результат был вполне благоприятный. Устраивал этот концерт я под эгидой общества КООПЕРАЦИЯ, в котором была культурно-просветительная комиссия, ведающая устройством культурных развлечений членом о-ва. Результатом этого концерта оказалось совершенно неожиданное обстоятельство. В один прекрасный день мне позвонил Сергей Александрович Кусевичский и сообщил, что ввиду национализации чайных фирм, одна из коих финансировала его концерты, он не имеет возможности их продолжать и просит меня переговорить с нашей комиссией, не возьмут ли они его под свое покровительство. Сначала эта идея мне показалась довольно странной, но поговорив с Дм. Ив. Шаховским, я попытался осуществить этот проект. Первое, что я должен был сделать, это обеспечить себя залом. Я обратился к заведующему Колонным залом Благородного Собрания, старому служащему, и он мне посоветовал выбрать соответствующие даты. Когда я с ним договорился, я сообщил об этом Кусевичскому, который меня повел в магазин Дидерихса на Кузнецком

мосту. Дидерихс представлял в Москве знаменитую марку роялей Бехштейн. Он сообщил мне очень печальную новость, что у него абонементных денег больше нет, вынужден был их истратить, и так как было собрано около ста тысяч рублей, то он мне предложил вместо этих денег взять в уплату рояли Бехштейна, которые тогда на рынке расценивались 10-14 тысяч рублей за рояль. Но что же мне было делать с этими роялями? Я опять-таки обратился в мою культурно-просветительную комиссию. Когда я на заседании объяснил положение, Д. Ив. Шаховской сказал: мы эти рояли сможем распределить в будущем по разным нашим закупочным центрам, разным селам и деревням, где, вероятно, имеется нужда в роялях, и таким образом мы это проведем как бухгалтерскую операцию. С одной стороны будут рояли, а с другой стороны будет приход как бы этих ста тысяч рублей для уплаты расходов по концертам. Но, так как на расходы все-таки нужны наличные, а эти сто тысяч были недостаточны на покрытие оплаты оркестра и т. д., я перевел все абонементы из театра Незлобина, где до этого давались концерты и где было всего 900 мест, в зал Благородного Собрания, в котором было 1200 мест, и кроме того было около 2.000 стоячих мест за колоннами, которые тоже можно было продавать по абонементам. Вышло еще так, что многие из абонентов, богатые люди, не хотели ждать дальнейшего развития революции и уехали из Москвы. И таким образом к тому дню, когда был назначен обмен билетов, многие билеты не были представлены. Тогда у нас появилась возможность еще продать известное количество билетов, кроме того 300 абонементов лишних, и получилась вполне достаточная сумма для того, чтобы оплачивать эти концерты и гонорары дирижеру и солистам.

Первый же концерт прошел с аншлагом, с очень большим успехом, и после того все концерты были всегда переполнены, мы устраивали потом платные генеральные репетиции и все это пользовалось успехом у московской публики, и так было в течение 17, 18-го, 19-го годов, а уже в 20-ом году оркестр перешел на исполнение произведений без дирижера, эти концерты назывались ПЕРСИМФАНС или что-то в этом роде, заведывал ими первый скрипач оркестра Цетлин. Но я уже в это время не был в Москве, это было в конце 1920 года.

На наших концертах выступали такие артисты как Нежданова, Дм. Смирнов, Боровский — пианист, скрипач Большого театра Сибор, выступали еще Нина Кошиц, Полина Доберт, Н. Обухова, Петров из Большого театра, Марина Гонцова, которая потом выступала в Америке под фамилией Куренко, А. Метнер, Цецилия Ганзен и мн. др. Исполняли Чайковского, Бетховена и других композиторов любимых в Москве. Один концерт был посвящен скандинавским композиторам, играли Грига, Сибелиуса.

Во время наших концертов я, желая как-то развить свою деятельность, стал устраивать спектакли московского Художественного театра, те спектакли, которые у них почему-либо не были в репертуаре, как, например "Юлий Цезарь", всю постановку которого театр продал какому-то шведскому обществу, и этот спектакль "Юлий Цезарь" без костюмов артисты очень талантливо представили на эстраде Большого Колонного зала в Москве. Сцена убийства Цезаря прошла драматично, в ней принимала участие молодежь из студии Художественного театра, Качалов, Вишневский, который очень хорошо произнёс речь Марка Антония. Кроме того были спектакли "Хозяйка гостиницы", в которой участвовала О. В. Гзовская и Гайдаров. Один раз был блестящий состав артистов Художественного театра, представивших "Живой труп" Толстого. В нем участвовали Станиславский, Качалов, Германова, Вишневский и др. Но этот спектакль был устроен мною в пользу Политического Красного Креста, которым тогда заведовала еще Пешкова, жена Горького. Как сейчас помню, когда они меня просили устроить такой спектакль, они были убеждены, что артисты выступают безвозмездно, что артисты в этих благотворительных спектаклях *должны* выступать безвозмездно. Но я им объяснил, что мои концерты всегда успешны потому, что артисты получают вполне приличный гонорар, который по теперешнему бедственному положению им очень нужен. В конце концов они с моими доводами согласились, и этот концерт прошел с большим успехом и материально и художественно.

Был у меня ещё один спектакль, который чуть было не окончился скандалом. Этот спектакль должен был быть вечером "смеха и забавы". Но из этого вечера смеха и забавы не

получилось. Было довольно много народу, почти все билеты были проданы, хотя имена участников были мало кому известны. Там была Сухачева из студии Художественного театра, Пыжова, Миша Чехов, единственный, которого могли знать, и то путали с Чеховым писателем. Довольно много было народу. Но в этот день у Чехова внезапно заболела мать. Он ее очень любил и сообщил, что не может участвовать в спектакле. Кроме того, еще одна артистка заболела. У меня в это время был секретарь, который исполнял также обязанности конференсье. Это был некто Яроши. Он был мужем племянницы Ольги Леонардовны Книппер, и она меня просила привлечь его к работе, он был без работы, был австрийского происхождения, приехал из плена. И когда выяснилось, что у нас нет главных артистов, он вышел на эстраду и вместо того, чтобы объяснить то, что произошло, начал бегать как сумасшедший по эстраде. Я в это время звонил по телефону моим любимым артистам Балашовой, которая вместе с Жуковым давала иногда балетные номера, и Неждановой, которая как раз к счастью моему была дома и охотно согласилась меня выручить и приехать в этот вечер, не будучи даже объявленной. Это, конечно, меня очень выручило. Когда Нежданова начала петь, один господин, сидевший в третьем-четвертом ряду, вдруг поднялся и направился к выходу. Я был в зале, подхожу к нему и спрашиваю: "Почему вы уходите?" Он ответил: "Что же это такое: пародию на Нежданову вы нам показываете?" Я говорю: "Что вы, это сама Нежданова, приехала и поёт". Он махнул рукой и ушел, убежденный, что его обманули.

Были у нас и отдельные камерные концерты, которые я устраивал в Малом зале этого Благородного Собрания. Зал был на 300-400 мест, и там выступали солисты. Например, Игумнов как пианист, Полина Доберт, которая пела романсы большей частью немецких и скандинавских композиторов, но и русских тоже, в частности, исполняя вещи Гречанинова под его аккомпанемент она имела большой успех. Один из наших концертов я устроил, решив выпустить артистов оперетты. Выступали Потопчина, Вавич, Борисов в своем обычном репертуаре. Публики было довольно много.

Это было 16-го марта 19-го года. В середине спектакля,

который проходил с большим подъемом, вдруг появляется на эстраде комендант Дома Союзов с наганом на боку и требует спектакль остановить. Начались крики в зале: "Что такое?", "Что случилось?". Он говорит: "Получено известие, что только что умер Свердлов". В зале начался крик и шум, некоторые кричали: "Собаке собачья смерть", другие еще что-то такое. Комендант вытащил свой наган и закричал: "Требую немедленно разойтись. Сейчас будут тушить свет!". Публика начала расходиться. А два-три дня спустя привезли тело Свердлова в этот же самый Дом Союзов, и было устроено гражданское отпевание: хор под управлением Голованова и артисты Большого театра — Нежданова, Смирнов, Петров и Полина Доберт пели "Реквием" Моцарта.

Устраивали также "Утра для детей", в 11 утра. Участвовали в них известные клоуны, как, например, Дуров, который пользовался, конечно, наибольшим успехом, и эти детские утра привлекали много публики.

Один из интереснейших концертов, который был устроен для деятелей водного транспорта, собравшихся в Москве, был концерт Шаляпина. Шаляпин как все, тоже нуждался в продуктах. Поэтому, когда я к нему обратился с просьбой выступить в концерте, он сказал, что выступит с удовольствием, но ему нужны не деньги, а продукты. Я ему обещал, что он получит какое-то количество муки, сливочного масла и т. д. Его жена Иола Игнатьевна подсказывала ему, что ей было нужно для хозяйства. Шаляпин стал со мной разговаривать о том — это была его любимая тема — как критики все время его учат, что ему надо петь, как ему нужно выступать, и начал об этом очень много распространяться. Я ему говорю: "Федор Иванович, я ведь к вам пришел не как критик, и писать о вас не собираюсь". Когда Шаляпин приехал на концерт, ему сказали, что в зале будет Ленин. Это его очень нервировало, и он начал ходить в артистической как лев в клетке — взад-вперед, что-то рычал, сердился на аккомпаниатора, и наконец вышел. Его очень хорошо встретили, Ленин действительно сидел недалеко от эстрады, внимательно слушал, и сидел очень скромно, и когда кто-то пытался в зале обратиться — Ленин, Ленин, попросите, чтобы он речь сказал, он махнул рукой и обрезал: никаких разговоров,

никаких речей не будет. И обратился ко мне с просьбой, что он хотел бы позвонить Крупской, чтобы та тоже пришла послушать Шаляпина. Я сказал об этом коменданту зала, тот пошел звонить, и через некоторое время приходит и говорит: "Говариш Крупская сказала, что прийти не может, так как у нее на завтра большой доклад по учительскому делу". Ленин покачал головой и сел. Слушал внимательно. Шаляпин начал свою программу с какой-то вещи Глазунова, кажется, "Вакхическая песнь", потом еще ряд вещей спел — Даргомыжского, Мусоргского. Имел большой успех, а потом вдруг запел полукабаретную песнь "Она хохотала", на слова французского поэта Беранже, о том что какая-то женщина оставила своего любовника — видного чиновника, который тратился на нее, стал красть казенные деньги, его судили и приговорили к казни. Когда Шаляпин спел этот романс, Ленину романс явно не понравился, он сказал: "Ну, пошел глупости петь", встал и ушел. Концерт пошел дальше своим порядком.

Было у меня и ещё одно очень интересное выступление Шаляпина. Это был концерт-обед, который был устроен Домом Союзов, в нём участвовали представители различных коммунистических организаций Европы. Было довольно много народу в этом большом зале Союзов. Расставили длинные столы, были поданы всякие невиданные в то время яства. Мельничанский (тогдашний лидер ВЦСПС) даже как-то, извиняясь, подошел ко мне и сказал: "Теперь, после стольких лет мы можем себе позволить это в виде исключения". Мельничанский просил меня устроить концерт во время этого обеда. Концерт был устроен мною так, что во время подачи блюд играл оркестр балалаечников, известный в то время в Москве, а потом были разные другие номера: один балетный, и затем выступил Шаляпин. Шаляпина очень громко приветствовали, он был в большом ударе в этот вечер, и под конец выступления запел "Дубинушку". А когда закончил ее, весь зал, хотя многие, пожалуй, не говорили по-русски, запел с ним заключительный припев "Эй, дубинушка, ухнем!", и с таким подъемом, что закончилось все это громом аплодисментов и один из гостей в зале, какой-то, маленького роста, на вид как будто итальянец, пробежал через весь зал, вскочил на эстраду и обнял Шаляпина

за шею, повиснув на нем как обезьяна. Это вызвало еще больший гром аплодисментов, и Шаляпин ушел очень возбужденный.

Было еще и третье выступление Шаляпина, на котором я присутствовал в Москве. Это было в очень холодный день в Большом зале консерватории. Зал был не тоplen, так что все сидели в шубах и в валенках. Я вошел в артистическую, смотрю, Шаляпин готов, уже во фраке стоит. Артистическую топили какой-то печуркой. Он все еще никак не мог согреться, и все никак не мог решиться — выступить ли ему в таком холодном зале или нет. Но так как этот концерт был устроен так, что весь сбор шел в его пользу, он в конце концов решил выступить. В артистической он несколько иронически подсмеивался над самим собой, говоря: "Ну что ж, с чего же мне начать?". У него всегда был вопрос, с чего начать концерт. Сел за рояль, он довольно недурно играл на рояле, и начал петь: "Пара гнедых, запряженных зарею". "Значит, вот это я буду петь". На это бывший в артистической кто-то из его сотрудников говорит: что вы, Федор Иванович! (он принял это всерьез). Потом я пошел в зал и ждал, когда Шаляпин выйдет. Он выступил приблизительно на полтора или два часа позднее объявленного начала концерта. Вышел, несмотря на холод, он был в одном своем фраке, в белой рубашке, осмотрел зал, остановился, и потом вдруг запел — прекрасно запел, никогда не слышал другого такого его исполнения, он запел "Персидскую песню" Рубинштейна "О, если бы вечно так было", и когда он ее спел, зал сразу разогрелся, и согрелся, и принимали его очень хорошо. Концерт этот прошел вполне удачно, хотя обстановка, этот холод, была не особенно благоприятна.

Кроме концертных выступлений я в большом зале Московского благородного собрания устраивал еще по средам балетные вечера. Как-то вышло, что я в первый балетный вечер пригласил Балашову из Большого театра. Тогда я с ней первый раз познакомился, хотя и раньше я ее видел на сцене, она была самая любимая балерина. Кроме Балашовой было еще несколько балерин из Большого театра, я не помню сейчас, какие именно были программы, но каждый раз эти балетные спектакли пользовались очень большим успехом. Балашова была очень

приятным сотрудником, она всегда с охотой приезжала в Колонный зал, всегда одна из первых была в артистической, любила приезжать заранее, чтобы спокойно подготовиться к своим выступлениям, и она мне рекомендовала тогда еще нескольких молодых артистов, которые были еще в кордебалете, как, например, Абрамову, которая потом стала одной из выдающихся балерин Большого театра.

Балашова обладала исключительным талантом привлекать к себе публику. Техническая сторона ее выступлений была всегда безукоризненна, она любила часто выступать и в разных характерных танцах. как, например, Голландский танец, поставленный Мордкиным для нее. Она его очень хорошо исполняла с Жуковым, потом танец кота и кошки из "Спящей красавицы" и другие. Одним из ее коронных номеров — был "Умиравший лебедь" Сен-Санса, который с легкой руки Павловой вошел в репертуар балетных артисток. В Москве Балашова заразилась сыпным тифом. За ней трогательно ухаживал Леонид Жуков, ничего не боялся, говорил, что никакой тиф его не возьмет, и даже на руках переносил Балашову, когда это нужно было, с кровати на диван. Как известно, Балашова с мужем в расцвете своего успеха уехала из России в 1921 году.

Из спектаклей в аудитории Политехнического Музея я помню лучше всего спектакль "Дядя Ваня". Был также спектакль "Сверчок на печи", поставленный артистами первой студии МХАТ. Спектакль "Дядя Ваня" прошел хорошо, и Станиславский присутствовал на репетиции, так как он сомневался, может ли эта пьеса идти в Большой аудитории Политехнического музея, так как требует интимной обстановки Художественного театра. Вопрос, который его очень смущал, это было то, что в Политехническом музее невозможно было установить занавес. Я ему предложил, чтобы по окончании каждого акта человек, заведующий освещением зала и сцены, выключал электричество и таким образом темнота давала бы представление о том, что это перерыв.

К моему удивлению и удовольствию, Станиславский внимательно выслушал, пристально посмотрел на меня и согласился с тем, что это будет действительно хорошо. Станиславский был вообще замечательный в этом отношении человек. Он

всегда умел выразить свое мнение — удовольствие или неудовольствие — одним взглядом. Я помню, когда однажды я с ним беседовал в его кабинете, я обратил внимание, что он пристально смотрит не на меня, а на мои руки. Он действительно заметил, что у меня была привычка при разговоре жестикулировать, но от его пристального взгляда я успокоился и руками больше не размахивал. Он без всяких слов сумел мне внушить, что это не годится.

В Политехническом музее я также несколько раз устраивал вечера чтения, где среди других выступали Ольга Книппер-Чехова, которая читала рассказы Чехова, и Германова, которая исполняла отрывки из "Каменного гостя" Пушкина и "Пира во время чумы". Эти артистки пользовались большой любовью и очень привлекали московскую публику.

К тому времени я как секретарь общества КООПЕРАЦИЯ был причислен к МПО — то есть к Московскому Потребительскому Обществу — которое переняло все функции общества КООПЕРАЦИЯ по снабжению Москвы товарами. И как секретарь этого нового общества я должен был продолжать ту же работу, которую делал в КООПЕРАЦИИ. Но культурно-просветительная деятельность в МПО не перешла, и продолжалась самостоятельно. Я заявил, что не могу совмещать работу в МПО и в Доме Союзов. На это вице-председатель общества Лев Хинчук, бывший меньшевик, который перекинулся к большевикам, сказал мне, что если я не соглашусь продолжать у них работать, мне угрожает концентрационный лагерь, и что он об этом позаботится. Я ему возразил, что не могу принять решения самостоятельно, что должен переговорить еще с управлением Дома Союзов и дам ему ответ на следующий день. После этого разговора я обратился к Мельничанскому с просьбой дать совет, как мне поступить. Мельничанский сказал: "Не волнуйтесь, не обращайтесь внимания на то, что вам сказал Хинчук, вы делаете работу, которая нам нравится, продолжайте работать у нас как прежде. Будьте совершенно спокойны". Я видел, что он уверен в том, что он говорит, и на следующий день уже в МПО не явился. Я продолжал работать, как и раньше, по устройству концертов Кусевицкого, по устройству разных театральных представлений и пр.

Летом 1919 года мы образовали своего рода театральный кооператив. В него вошли представители оперы — с Шаляпиным во главе, Малый театр с князем Сумбатовым-Южиным, театр "Синяя Птица", оркестр Кусевицкого, и в саду Эрмитажа в течение лета происходили разного рода представления. Ставились "Фауст", "Севильский цирюльник", "Русалка". Играл Шаляпин, тенор из Петрограда Петраскас. Тогда его называли Петровский, красивый лирический тенор.

Спектакли эти и концерты хорошо посещались, тогда летом 1919 г. это было единственное место, в котором еще московская публика могла получить культурное развлечение.

Не помню опять, по какому поводу у нас происходило совещание всех членов нашего кооператива, когда на нём появилась Каменева, которая в это время заведывала театрально-музыкальными делами Наркомпроса. Она выразила свое недовольство. Не помню сейчас точно, чем, но, кажется, это было в связи с тем, что все приходы по этим спектаклям входили в общую кассу и распределялись между участниками нашего кооператива. В то время как она находила более правильным, чтобы этим всем ведал Театрально-музыкальный отдел Наркомпроса. Опять-таки, я в этом случае обратился к Мельничанскому за советом, и он повторил, что я могу продолжать делать то, что я нахожу нужным не прислушиваясь к мнению Каменевой. Так мы и делали. Спектакли продолжались благополучно по схеме, установленной нами. Не знаю, продолжались ли они в 21 году, потому что в 20 году я уже не принимал в этом участия, ибо в июле 1920 года уже покинул Москву.

А. Р. Гурвич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. А. ТАНЕЕВА

О МОЁМ ИМЕНИИ БОГОДУХОВО ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Мой дед Илларион Толстой скончался в 1903 г. Его завешание, покрывающее обширные земельные владения, вошло в законную силу много позднее. Большую часть его имущества унаследовали моя бабушка, мать и сестра матери — Екатерина Всеволожская. Я унаследовал в мою полную собственность имение в Орловской губернии — Богодухово, в 1908 году. Отец мой был поглощён службой и музыкой и не мог уделить унаследованному имуществу ни времени, ни забот. Пришлось управление и надсмотр над всем имуществом мне взять на себя. Было решено мне не возвращаться в Институт путей сообщения для окончания курсов (после двух лет перебивания там я перешёл в университет на математический факультет, который закончил в полтора года с желанием вернуться и закончить инженерное образование). Теперь я должен был лично заняться моим имением в Орловской губернии и раз в месяц ездить в подмосковное имение "Рождествено", где проживала моя бабушка после смерти моего деда.

Мои познания в агрикультуре и экономике были весьма неудовлетворительны, но я был уверен, что внимательное наблюдение за деятельностью других помещиков и моих собственных рабочих постепенно помогут преодолеть неопытность. Затруднения помещиков в России после раскрепощения крестьян могут быть сравнены с положением в Америке после освобождения рабов. Традиционные методы обработки земли

Все права на печатание английского текста, а также переводов на другие языки Воспоминаний С. А. Танеева принадлежат исключительно Т. И. Танеевой. Copyright by T. Taneev, N. Y. 1977. РЕД.

манифестом Императора Александра II сразу же были поставлены под вопрос. Приблизительно две трети земли пошли в собственность крестьянам и одна треть её прежним владельцам.

Можно было сговориться с крестьянами и привлекать их работать на помещика какое-то число часов в неделю за плату. Зatrуднение было в стремлении крестьян обрабатывать именно собственную землю. Помещику было очень трудно получить рабочую силу. Зatrуднение это можно было преодолеть, если использовать машины. Но их было мало и обходились они дорого. Процесс индустриализации в те времена в России шёл медленно. Многие вынуждены были начать разводить более дорогие злаки: вместо овса пшеницу, бураки для сахарного производства и т. д., а также привлекать крестьян с севера, где они были меньше поглощены своей работой.

Имение "Богодухово" было в противоположность московскому "Рождествено" скромным и деловым. После смерти деда оно было запущено. Дом, окружённый яблонным садом и липами, состоял из семи комнат. Ещё было 1500 десятин (приблизительно 3500 акров) открытого поля. Кроме того отдельно было 30 десятин вокруг железнодорожной станции "Змеевка" (Московско-курская линия). На этой станции находился зерновой элеватор (для очистки зерна). Можно было здесь снять небольшой участок для хранения зерна.

Первой моей задачей было избавиться от всего устарелого и ненужного: от старых экипажей, заржавленных машин, перестарелых лошадей и скота. Я сдал в аренду две трети моей земли соседским деревням на шесть лет, с расчётом, что к 1917 году смогу управлять уже всем имением. Как я был в то время далёк от мысли, что всё уйдёт в руки коммунистов!

Моей идеей было создать молочное хозяйство, которое должно было оплачивать все расходы: жалованье служащим, налоги, амортизацию и т. д. Закупил новый скот, пригласил заведовать коровами учёную коровницу. Она установила индивидуальную кормёжку коров, и в результате коровы давали молоко в удвоенном количестве. Я подписал контракт с московской фирмой Бландова (он был одним из двух самых больших сыропроизводителей в Москве). Агент Бландова поселился в моём имении и принимал молока столько, сколько я мог ему

продать. Таким образом, доход с проданного молока к 1912 году осуществил мою идею покрывать все расходы по имению продавая молоко. Ликвидировав старых рысаков я поставил небольшой конный завод, закупив бельгийских рабочих лошадей. Они сильные, и не такие тяжёлые, как французские или английские. При этом очень выносливы. Самым интересным в моей деятельности было для меня общение с местными крестьянами. Некоторые были торговцами при станции Змеевка, деловые, успешные и достигшие большого благополучия усердным трудом и инициативностью. Другие жили общинным хозяйством в ближайших деревнях. Проявлять инициативу в обработке земли им было трудно. Общинная система, в которой жила масса крестьянства, зиждлась на трёхлетнем владении, т. е. каждые три года земля переходила к другому члену общины. Поэтому каждый очередной владелец, зная, что через три года он уже не будет владеть этой землёй, старался выжать из неё как можно больше, не заботясь о том, что земля истощается. Чтобы как-то бороться с этим появилась идея, что надо увеличивать посевные площади. Эту идею поддерживала интеллигенция.

Выйти из общины было не так просто. Государство хотело разрешить местные затруднения большинства крестьян и с 1899 по 1904 г. занималось этим вопросом. Однако, Японская война и беспорядки 1905 года задержали проведение новых реформ. Аграрная реформа Столыпина дала возможность всем желающим выйти из общины осуществить их желание. Большое количество земли было предоставлено Крестьянскому банку. Сюда входили земли помещиков, которые не имели возможности обрабатывать большие участки из-за нехватки рабочих сил и сокращали свои поместья, также участки удельные (собственность Романовых), которые были годны к обработке, кроме того участки в Западной Сибири (Алтай) — собственность царствующего Императора. Вторая и третья категории равнялись нескольким миллионам десятин.

Когда в 1909 г. я впервые посетил своё имение Богодухово, я увидел здесь и там ряд индивидуальных крестьянских ферм, растущих как грибы. Но некоторые из них не были успешны, и разочарованные их покидали, не смотря на финансовую

поддержку, оказываемую Крестьянским банком и бесплатную помощь агентов государственной аграрной организации. Это меня несколько подавляло. Но когда об этом делился с отцом он говорил, что сильные и здоровые крестьяне преодолеют привычную жизнь в общине и станут процветать. А более слабые создадут аграрную рабочую силу, в чём страна и нуждается.

Другой реформой, одновременно, было установление зерновых очистительных машин по всей стране. Они давали крестьянам возможность не только очищать зерно и делать его более ценным и годным для иностранного рынка, но держать зерно на складах в ожидании повышения цен, а не продавать его, как раньше, сейчас же после жатвы.

Во время моего пребывания в Богодухове я впервые вошёл в общение с Земством. Земство имело право таксации для постройки дорог, зданий, школ, госпиталей и т. д. Земство стремилось быть независимым и относилось весьма критически ко всему, что исходило из Петербурга. Школы были приходские и установленные Земством. В первых слишком много времени уделялось изучению Библии и Богослужения во всех деталях, что отвлекало детское внимание от Евангелия. Что же касается земских школ, то моё впечатление было таково, что учителя были проникнуты духом интеллигенции и мало понимали нужды и психологию крестьян.

С крестьянами соседних деревень, работавшими у меня или желающими арендовать часть моих земель, у меня установились деловые отношения. В противоположность моему деду, разговаривавшему с крестьянами со своего балкона, я принимал их в своём кабинете. Сидя с ними за письменным столом мы обсуждали взаимные дела как равные. Обращаясь ко мне они называли меня по имени-отчеству. Слово "барин" не употреблялось. Только за глаза, говоря обо мне они говорили "барин". Так например, им были непонятны мои ежедневные скрипичные упражнения. Они спрашивали моего управляющего: "Отчего барин так себя мучает?". Был в ближайшей деревне местный плотник. Я привлёк его построить некоторые хозяйственные здания. Пришёл он со своим топором за поясом и без всяких других инструментов начал строить быстро и хорошо. Я был поражён способностями и сметливостью многих из них. Два

брата из деревни арендовали мою землю близ станции "Змеевка". Построили лавочку и торговали настолько успешно, что если мне были срочно нужны деньги и не было времени ехать в город "Орёл" в банк, я занимал у этих двух братьев пять тысяч как ни в чём не бывало. Они открывали ящик стола и вынув пять тысяч без всякой расписки вручали мне.

Со временем я должен был стать владельцем имения под Москвой "Рождествено", расположенного в 30 верстах от Москвы. В детстве мы проводили в этом чудном имении по шесть месяцев в году (дом был построен в 18 веке). К тому времени многое из прошлой роскоши ушло: домашний театр, манеж для верховой езды, разные павильоны, фонтаны и т. п. Но чудесный дом, окружённый прекрасным огромным парком, сохранился в хорошем виде. Парк с вековыми деревьями спускался к реке Истра, на противоположном берегу виднелись купола церкви Монастыря "Аносино". Дом был настолько просторным, что вмещал не только всю прислугу бабушки и дедушки, но и нашу семью со всеми служащими и мою тётку с её служащими. И никому не было тесно, никто друг друга не беспокоил. Воспоминания, связанные с моим детством и временем, проведённым в этом имении, были воспоминаниями о днях, проведённых в раю. Со временем это имение должно было перейти в мою собственность. Пока же я был назначен руководителем дел и каждый месяц ездил для проверки. И думал пока привести моё имение Богодухово в полный порядок и, продав его, с деньгами, вырученными от продажи, заняться подмосковным Рождествено. Открывались большие возможности. Огромные пастбищные поля, свой кирпичный завод, красота природы вокруг, железная и шоссейная дороги и только 30 вёрст от Москвы — всё это предвещало огромные возможности. Я предвидел создать молочную ферму с сотнями коров, устроить пригородный посёлок со зданиями (пользуясь своим кирпичом), обеспечить возможность для людей ежедневно ездить в Москву и обратно по железной дороге.

Если бы не революция, возможно я был бы первым устройтелем таких удобных жилищ для рабочих людей России. В те времена Москва, не смотря на почти средневековые здания и

часто на окраинах похожая на деревню, была в высокой степени деловая. Многие гостиницы, рестораны, магазины были лучше, чем в Петербурге. В Москве, как почти нигде, можно было пить из крана совершенно чистую воду. Что касается общества в Москве, оно было более замкнутое, чем в Петербурге. Потребовалось некоторое время, прежде чем я смог установить дружеские отношения с некоторыми семьями. Моё родство с Голицыными очень помогло.

После водворения в России большевиков я получил письмо от крестьянина, назначенного новой властью заведовать моим имением Богодухово. Я был ещё в русской армии, стоящей в Румынии, и письмо было прислано туда. Прилагаю копию, думаю, что это неповторимо:

Декабря 21 дня

Зоевlenia

от Богодуховского Заведуишвива у вашомъ икономии Говрила Жарнихова здрастуитя Сергей Александровичъ асмелюсь васъ побиспокоить увидомляю васъ что ваше имя подвидено Земельнова Комитета и нашего богодуховского общества увидомляю васъ что увашимъ имений принято по описи отъ Ивана иванича Курочкина то уж хронича в целости до вашего распорихения когда ви приедитя в богодухово тогда ви убидитясь и узнатья кто виновать Курочкинъ или общество или можить прикажитя ивица мне или же кому изобщества тогда можно уж обиснить Авностоящая время я вамъ собшаю сколько есть скота рогового 56 головъ лошадей 16 шиснацать свиней 4 чители Заинвинтаръ какъ плуга и косарки я вамъ сичясь нимогу написать потому унасъ принято и запичатовано уж Нажитномъ Дворе хлеба мало авса есть 1333 пуд ржи 500 пять сотъ пудовъ Сергей Аликсандровичъ я васъ знаю систру вашу виробиву очинь харашо знаю и папу вашего харашо знаю когда я служилъ приихомъ Виличистви прошу васъ С. А. Атьветъ

Заведуший Говриль Жарникав

Второе письмо от крестьянина, ко мне раположенного, которое всё же даёт сведения о том, что делалось в те времена:

Отанохинова

Донисение что я виделъ и слышалъ что Делается увашемъ имению въ богодуховой я былъ 20 ноября 7 Декабря былъ я посланъ Вашими родителями вашимъ Папашимъ и мамашой что есть теперь увашемъ имению богодуховомъ что осталось всево Хозяйства очина малое часть всево № 1 часть Коназавотства уничтожено осталось толко 15 лошадей всево выездные все целы остальные есть рабочие лошади всехъ 15 штукъ заводъ уничтожен низвесно кемъ № 2 Скотовотство коровы стоищо сощиствуетсе молочной заводъ Продолжается скоть роговой сказать сколка всево скота роговова не могу № 3 енвентаръ плуги и фуры и тилеги и хомуты етова очина осталось мало нимогу тоже даказать № 4 — 1917 Снятие Посева разнова хлеба ржы Пшеницы овса всяких зерень снято толко низнаю что сколко есть весь зерень подувъ налицо низвесно № 5 1918 год толко Посеено рожью 5 десетинъ ето тоже низвесно почему мало Посеено Астолное сеели крестияние Почему мало посеено ето нимогу я решить задачу № 6 что Делается всреди хозяйства Въ имению описана членомъ орловскимъ Камисарамъ все что здано Управляющимъ Крестиянамъ. Подохрану спотписию крестиянами что они Принили ипоставят старшива исторожей есть Скотники искотницы и конюха Убирають скоть который есть все что Принито то и видется Поусмотрению № 7 но то плоха что почемута нетъ чиловека свашой староны въемению Вашу часть хозяйства Инекаму защитить ето Первымъ дольгамъ надо Поставеть чиловека скоторова хотябы можно было что спросить управляищей Почемута отказалси Иванъ Иванычъ какъ слухъ есть что ему крестияние Придлогали но онъ нисхотель но Ашась назмеськи держить Квартиру вдоме Кузнецовамъ открестиянъ некторой Погромиши кой что внисина толко его все ветхность брата крестиянами Ато все забыта сомимъ управитеямъ все ваши ценой вещи № 9 обьесняютъ крестияние Подозрение была упровляищему былъ заето Аристованъ была наношана вбалшой домъ навериней етать Салома скокой цели была там салома изачем низвесно Заето крестияние осердились Аонъ хотель домъ жечь тамъ салома но всередине дома я небылъ и нимогу сказать что тамъ есть толка я виделъ извашива дома кой что есть управляищева Курочкинова

Мой Адресъ орловской Губер/Станцые змеёвка Почта Село
Крытова Д. Каменка
Егору Констанкинову Анохину
Я отслужбы освобождень навсегда.

Третье письмо от управляющего И. И. Курочкина:

Милостивый Государь Глубокоуважаемый Сергей Александрович! Наконец-то собрался с силами написать Вам несколько слов по поводу оставления мною "Богодухово". Положение мое было самое критическое — оставаться было долъче невозможно — угрожали смертью, помощи не присылали, и в то же время до слез жалко было бросать "Богодухово" на произвол судьбы. Из хлеба мог продать только пшеницы 2476 пуд, насумму 18317 р 52к. Осталось ржи примерно 2000 пуд, овса столько же. Вырученные деньги отобрали у меня насильственным путем, как сообщала моя дочь в предыдущем письме. Это дело мною передано судебному следователю. Если силы не покинут меня окончательно, то к празднику вышлю отчет за последние месяцы. Не теряю надежды увидеть Вас лично, чтобы переговорить обо всем. На всякий случай сообщаю Вамъ адрес: г. Орель, Мало-Мешанская, дом 90.

Сглубокимъ уважениемъ готовый к услугамъ И. Курочкин.
12 дек. 17 г.

С. А. Танеев

ВОСКРЕШАЕМОСТЬ РЕНЕССАНСА

В истории русской культуры есть один, все еще спорный период, по крайней мере, отчасти. Это — так названный (кажется, Бердяевым) "Серебряный Век" русской литературы и сопутствовавший ему период "русского религиозно-философского Ренессанса". Причин этой спорности несколько: тот факт, что первые декаденты (ранний Брюсов, например) бросали вызов пушкинской традиции, где все было "просто и ясно", заменяя эту простоту и ясность нарочитой туманностью содержания, новизной формы и многими литературными излишествами, что вызывало протесты; далее — имморализм, которым щеголяли тот же Брюсов, Сологуб, и в котором был повинен отчасти и сам Блок; наконец, тот факт, что от первоначальной вызывающей аполитичности, большинство поэтов Серебряного Века ударились впоследствии в крайнюю левизну. Ведь перешел же поздний Брюсов прямо в лагерь большевиков, и написал же Блок свои "Двенадцать", а Белый — "Христос Воскрес". В своем мазохистическом пафосе, ждали же и жаждали многие 'серебряные' литераторы "очистительной грозы и бури".

Да, действительно, Серебряный Век был во грехе зачат, и атмосфера того времени была полна греховности, которая нередко воспевалась. Все это, в сознании многих, затмевало тот факт, что эстетическая культура того времени поднялась на невиданную прежде высоту, что необычайно расширился и обогатился культурный горизонт новых поэтов и писателей, что утончились их души и что Блок, а, отчасти, и Белый умели передавать в своей поэзии непередаваемое ощущение какого-то касания нездешним мирам.

Короче говоря, поэзия Серебряного Века соблазняла, но и возвышала душу. В этом, конечно, парадокс, но человеческая натура такова, что в ней часто низшее интимно связано с высшим.

Во всяком случае, с исторической перспективы, Серебряный Век представляется теперь (или должен представляться) как период одного из величайших взлетов русской поэзии. Это относится, хотя и в меньшей степени, к символистской прозе, где такие произведения как "Мелкий бес" Сологуба и, особенно, "Петербург" и "Серебряный голубь" Белого оставили яркий и плодотворный след в истории русского романа. Можно даже сказать, что те, кто не прошел через литературный искус Серебряного Века, — обрекают себя на культурный провинциализм. В таком провинциализме, кстати, повинна большая часть советской литературы, начиная с тридцатых годов.

Кроме самоочевидной причины — догматически-слепой, и жестокой советской цензуры, в провинциализме советской литературы повинен еще насильственный отрыв от Запада. Ведь только недавно советским писателям было дозволено, в микроскопической степени, "открыть" для себя Джойса и Кафку, не говоря о других. А Серебряный Век был характерен также своим чутким контактом с современными ему западными веяниями (французские символисты, Оскар Уайльд, Метерлинк, Герхард Гауптман и многие другие). Не нужно быть западником, чтобы признать, что контакты с Западом всегда оплодотворяли русскую Музу и русскую мысль.

Серебряный Век, в его целом, в Советском Союзе полузамолчан и, если подан, то в искажающей перспективе. Но история, как и природа, не терпит пустоты, и даже в Советском Союзе, за последние десять лет, были переизданы, наконец, и Бальмонт, и Андрей Белый и даже Марина Цветаева. Но поэзия Сологуба и Вячеслава Иванова — все еще за семью печатями. Важнее, что в Советском Союзе до сих пор не переизданы ни "Мелкий бес" Сологуба (несмотря на одобрительный отзыв самого Ильича Первого — дескать, Передонов, это — правдиво изображенный учитель-садист царского времени), ни романы Белого. Казалось бы, большевикам нечего было бы

идеологически бояться ни переиздания "Петербурга", где изображена духовная агония мозга императорской России, ни "Мелкого беса". Остается предположить, что их не устраивает очень уж не-соцреалистическая манера письма этих символических романов, что может оказаться заразительным.

Все же, если лет двадцать тому назад могло казаться, что советские цензоры так и замолчат символистскую поэзию и прозу, за понятным исключением Блока и Брюсова, то теперь образовавшаяся в прошлом литературная пустота оказалась в значительной степени заполненной, пусть с искажающими комментариями советских критиков. Если двадцать лет тому назад была насущная нужда в "Приглушенных голосах", изданных под редакцией В. Маркова, то теперь около половины этих, прежде подспудных голосов, уже слышны в России. Даже Гумилев (перед которым у них совесть нечиста) часто цитируется и о нем стали говорить и советские критики (только стихи его все еще не переиздаются).

Интересно в этой связи сравнить официальные советские отзывы об Андрее Белом пятидесятых и семидесятых годов. В Большой советской энциклопедии 1950 года о Белом говорится, что он "создавал надуманные, фантастические по содержанию произведения", и что его герои — "люди ущербной психологии, враги демократии и свободы", что, наконец, "наша передовая общественность всегда считала его (Белого) представителем реакционного мракобесия и ренегатства в политике и в искусстве". Однако, в БСЭ от 1970 года этих резких эпитетов почти нет, и в ней признается, что "в романе "Петербург", сквозь символическую образность, проступает резкая сатира на реакционно-бюрократический Петербург", хотя, конечно, добавляется, что "революционное движение в этом романе рисуется в искаженном свете". Разница между этими двумя отзывами довольно разительная.

Но есть в русской культуре важная область, которая, по-видимому, всегда будет замалчиваться или искажаться советскими комментаторами. Это — русская философия и, особенно, период религиозно-философского Ренессанса. — Там, где дело касается идеологии, да еще философской, никакие по-блажки недопустимы и да здравствует Единое Передовое учение!

Хотя причины этого замалчивания русской религиозной философии сами собой понятны, однако, анализа ради, перечислим их. Во-первых, помимо непримиримости всякого идеализма и всякой "поповщины" к пресловутому диамату, первая причина в том, что учения Лосского, Франка, Булгакова, Бердяева доказывают, что можно быть во всеоружии современной философской и научной культуры, — и все-таки верить в Бога. Мало того, что углубленное познание не только примиримо с религией, но и к ней приводит (в отличие от мнимого всезнайства философских недоручек, — той "полунауки", от которой так предостерегал Достоевский). Во-вторых потому, что вышеперечисленные мыслители почти все прошли через временное увлечение атеистическим марксизмом, имеют поэтому прививку против его заразы и, следовательно, знают своего противника изнутри. А с таким противником всегда трудно бороться. В-третьих потому, что после более чем полувекового беспримерного в истории гнета "активной несвободы" и удручающей ум тирании ядовитого, давно изжившего себя и гниющего в себе мировоззрения — ищущие умы в СССР стихийно устремляются в запретную область религиозной веры и философского осмысления ее (что почти прямо признается советскими "бдителями").

А о том, что в Советском Союзе, особенно среди молодежи, совершаются такие именно процессы религиозного пробуждения, — не столько возврата к вере, сколько новообретения ее, — свидетельствуют тысячи признаков. И наш Солженицын, из Савла ставший Павлом и выросший, параллельно этому, в литературного титана, и отец Дмитрий Дудко, сказавший, что "история не знает примеров такого возвращения к христианству, которое сейчас имеет место в Советском Союзе", и многое, многое другое. Так что "идеологическая опасность" для атеистов и иже с ними, сейчас особенно велика. И это — несмотря на то, что в СССР давно уже запрещена всякая "религиозная пропаганда", и всячески поощряется пропаганда антирелигиозная, и что простая церковная проповедь кажется уже покушением на "святая святых" тем, для кого нет ничего святого.

Сюда же относится и арест и разгром в конце шестидесятых годов группы "социал-христиан", во главе с Огурцовым и Садо.

А их вдохновителем был никто иной, как "белоземлигрантский мракобес и обскурант" Николай Бердяев!

Кстати, как известно многим, в Советском Союзе сейчас усиленный спрос на Бердяева, труды которого даже переиздаются Самиздатом. И, судя по доходящей информации философские интересы там вообще сейчас все более просыпаются, опять-таки у молодежи. Эти духовно-оздоровительные процессы происходят, конечно, у меньшинства. Но это меньшинство составляет, верится, нравственную элиту страны — ту "элику жертвенности", о которой писалось в сборнике "Из-под глыб". И они совершаются как здоровая духовностийная реакция на долгие десятилетия духовно мертвящего и нестерпимо скучного безбожия.

И вот, на фоне этого процесса духовного Ренессанса философы эпохи русского философского Ренессанса могут сыграть, и отчасти уже играют, важную роль духовного стимула. И тогда духовным диссидентам откроется не только Бердяев, но и духовно родственные ему, хотя и глубоко отличные от него, его современники. Им откроется тогда и ясная глубинность и трезвая честность мысли моего незабвенного учителя Н. О. Лосского, и прикованность духовного взора к тайне вечно-сущего Франка, и тяжело-мерная поступь мысли отца Сергия Булгакова, и блестящая и философски убедительная диалектика Вышеславцева (диалектика в платоно-гегелевском смысле этого слова), и вдохновенная высота прозрений отца Павла Флоренского и много других философских ценностей. Они поймут тогда, какие драгоценные клады зарыты в не слишком уж отдаленном прошлом интеллектуальной истории России.

Но займемся вкратце Бердяевым, который так духовно-актуален именно сейчас. В том, что именно Бердяев оказался особенно созвучным духовным исканиям современной России, есть своя закономерность. Ибо Бердяев как никто умел откликаться на самые жгучие проблемы современности (беря это слово в расширенном, не только злободневном смысле), освещая их светом своей пророческой интуиции. Именно этот философ свободы призывал к освобождению от духовного рабства и указывал путь к высшей свободе духа. Именно Бердяев был столь чуток к социальным проблемам, призывая ставить и

разрешать эти проблемы на духовном, а не материалистическом фундаменте. Это он изрек свой замечательный афоризм: "Хлеб для меня — материальный вопрос, но хлеб для моего ближнего — вопрос уже духовный". Ему же принадлежит другой убийственно-меткий афоризм: "Дух революции враждебен революции духа". Именно Бердяев призывал к творчеству, показывая в то же время, что без божественного вдохновения человеческое творчество легко вырождается в свою противоположность — в разрушение. Много есть чему поучиться у Бердяева!

Произведем теперь маленький экскурс в область официальных советских реакций на Бердяева. В БСЭ от 1950 года эти реакции были самые уничтожающие и, конечно, стандартные. Так, мы читаем, что Бердяев был "реакционный философ-идеалист и мистик", и что "после революции 1905 года Б. перешел от кантианства к открытому оголтелому мистицизму". Далее, Б. обвиняется в том, что он был одним из участников "Вех", — этой, по слову Ленина "энциклопедии либерального ренегатства", что он "ненавидел социалистический строй" и "в Берлине объединил беглых реакционеров-обскурантов".

Не будучи в состоянии отрицать огромного влияния Бердяева на западно-европейскую мысль, БСЭ от 1950 года дает этой популярности нашего философа такое истолкование: "Религиозно-мистический бред Бердяева пришелся по вкусу западно-европейским реакционерам и Б. сделался одним из признанных лидеров самой махровой формы идеологического обскурантизма — религиозного экзистенциализма. Его мистические бредни были приняты на вооружение наиболее реакционными философами империализма, врагами науки, прогресса и демократии".

Словом, как водится, Бердяева "покрыли идеологическим матом"!

Однако, в БСЭ от 1970 года я, к своему удивлению, нашел, что о Бердяеве теперь говорится совсем в иных, даже несколько "объективистских" тонах. Начать с того, что в то время как в БСЭ 1950 г. Бердяеву было отведено всего 36 строк, в новейшей БСЭ ему посвящено целых 125! Конечно, и в новом советском

тексте повторяются стереотипные эпитеты "реакционер" и "обскурант". Но новый отзыв о Бердяеве уже не исчерпывается обычной идеологической руганью, а в нем содержится довольно дельное изложение учения философа. Так, в новом тексте говорится: "Борьба и взаимодействие двух принципов: экзистенциалистского утверждения духовно-творческого начала личности, и христианского мотива сострадания, определяет философскую позицию и философские симпатии Бердяева". Дуализм учения Бердяева передан здесь, в общем, правильно. Изложено и контрверзальное учение Бердяева о свободе человека от Бога: "Б. учит о неподвластности человека божественной воле". Далее указывается на то, что Бердяев — один из первых критиков современной цивилизации как цивилизации по преимуществу технической, которая явилась, согласно Бердяеву, "торжеством буржуазного духа".

Далее, в то время как в старом издании БСЭ почти замалчивались эмигрантские труды философа, в новом издании приведены даже выдержки из его книги "О свободе и рабстве человека". (1938). Отмечается и его влияние на западноевропейских интеллектуалов. Заканчивается заметка констатированием, что Бердяев — "идеолог анти-коммунизма", против чего возразить нечего.

Интересно, какие мотивы вызвали это изменение тона в направлении к объективности (только в направлении, конечно). Есть ли это — дань послевоенному советскому патриотизму философа, или соображения, что лучше уж преподнести Бердяева в умеренной, но все же советской оправе, чем допустить, чтобы о нем узнавали из иных, не-советских источников. Возможно, что автор заметки сообразовался также с фактом, что благодаря Самиздату, многие читатели уже знают кое-что о философе. Важно также отметить, что в журнале "Коммунист" от 1955 года (не помню месяца) была напечатана новая идеологическая директива, согласно которой советским идеологам рекомендуется больше не отделяться "разоблачением" русских не-марксистов, а давать и какое-то изложение их учений. Но остается открытым вопрос о мотивах этой новой директивы, — ведь в БСЭ от 1970 года, равно как в "Философской Энциклопедии", при всем прежнем отрицательном отношении к

философам-идеалистам дано неплохое изложение учений Лосского, Франка и других русских философов-идеалистов.

Так или иначе, факт большей объективности нового советского отзыва является свидетельством посмертной победы Бердяева, которого замалчивать или отделываться руганью стало уже невозможным.

Но вернемся к русскому религиозно-философскому Ренессансу в его целом. Говоря об этом периоде сам Бердяев пишет в своем посмертном "Самопознании", что этот Ренессанс происходил в дореволюционной России в весьма тонком слое культурной элиты, и почти не затронул более широких масс интеллигенции. "Несчастье русского Ренессанса началось двадцатого века заключалось в изоляции его культурной элиты от более широких социальных движений того времени, — факт, который оказался фатальным для дальнейших судеб России".

Можно только добавить к этому (что Бердяев сам отмечает), что участники религиозного обновления прошли предварительно через влияние двух западных демонов, — Маркса и Ницше, но, конечно, преодолели их с помощью двух положительных влияний — Достоевского и Вл. Соловьева. Но марксистские и, еще — больше, ницшеанские нотки иногда чувствуются и в творчестве особенно Бердяева. Если Бердяев в свое время метко охарактеризовал учение одного из властителей дум того времени, Д. С. Мережковского, как "ницшеанизированное христианство", то и его собственная философия иногда не свободна от упреков в "христианизированном ницшеанстве". Зачатие русского религиозно-философского Ренессанса было, повторяю, греховным.

Вследствие этого, и плоды Ренессанса, кроме общепризнанных полноценных, оказывались иногда нездорово-опьяняющими. Говорю это не в осуждение, а потому, что из песни слова не выкинешь. В то время больше всего ценились экстаз, не всегда творческий, полнота одержимости. Духовные метания Блока и, особенно, Белого и, отчасти, Вячеслава Иванова в этом отношении характерны. (Я беру именно высший этаж этих искривлений, не касаясь дешевого эротизма а ля арцыбашевский Санин).

А Мережковский, Зинаида Гиппиус и Философов, объединившись под знаком "тайны трех", устраивали свои собственные бесцерковные таинства. В свою очередь, Вячеслав Иванов устраивал у себя "на башне" мистически-эротические радения, которые, хотя и не были, вопреки слухам, "мистическим блудом", но все же отзывались нездоровой примесью эротики к мистике. Появлялись новые "ереси", которые впоследствии так сурово обличал отец Георгий Флоровский в своем ценнейшем труде "Пути русского богословия". Особенно строго обличал он "софианство" отца Павла Флоренского и его ученика, отца Сергия Булгакова. В философских и литературных кулуарах часто можно было видеть в своих взлетах гениального и проникновенного, но все же в чем-то "гаденького" Розанова (говорил же он сам о себе: "Я — навозная жижица, в которой плавают золотые рыбки").

Я вовсе не хочу наводить увеличительное стекло на отрицательные стороны Ренессанса, но замалчивать их теперь, с более чем полувековой дистанции, тоже не приходится.

Главное все же заключалось в том, что духовные искривления и ереси постепенно изживались, а вечные ценности, к которым поднялся русский дух, и которые он с таким богатством воплотил, — до сих пор освещают своим светом перспективу русской духовной судьбы. И того же Мережковского будут вспоминать не как поклоняющегося божественной и сатанинской безднем бого- и чортоискателя, а прежде всего как автора пророческого романа "Леонардо да Винчи", как организатора религиозно-философских собраний, на которых начали находить общий язык церковные иерархи и творческие интеллигенты, ранее чуждавшиеся друг друга, и как автора одной из лучших религиозно-критических работ о Достоевском. Тема "Мережковский как литературный критик" еще ждет своего исследователя.

О Бердяеве будут помнить не как об авторе полумарксистского труда "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии Михайловского" и не как о мистическом анархисте, впадшем в молодости в соблазн "ставрогинщины", но как о великом русском религиозном философе, чья пророческая мысль покорила мыслящий Запад. И в духовных ушах его

читателей долго не умолкнут такие его слова: "У меня абсолютная, непоколебимая вера в Бога, так как я не верю в самодостаточность мира и человека. Ложь, зло и бессмысленность жизни не ослабляют, а укрепляют мою веру. Мировое зло является свидетельством о том, что этот мир несамодостаточен, что в мире есть высший смысл. Этот высший смысл мира и есть Бог".

На этих хотя бы примерах видно, что высокие ценности, созданные творцами Ренессанса, значительно перевешивают соблазны мысли, в которые они иногда впадали.

Проф. Ф. Степун в своей книге "Бывшее и несбывшееся" охарактеризовал Серебряный Век с присущей ему образной меткостью как "культурную весну в период глухой политической осени". Это — лучшее из известных мне афористических определений Серебряного Века. (Впрочем, Георгий Адамович выразился еще образнее: "Пир во время чумы"). Это был настоящий платоновский пир, не без вредных излишеств, но дававший, в основном, насущно нужную и вдохновительную духовную пищу.

Следует подчеркнуть, что большинство русской интеллигенции не принимало участия в этом пире, и что не только Ленин, но и вожди русского либерализма (напр., Милюков) отнеслись враждебно к социально-политическому аспекту русского религиозно-философского Ренессанса (просвещенный реформизм в противовес революции). Этот социальный аспект религиозного обновления нашел свое выражение, как известно, в знаменитом сборнике "Вехи" (1909). Молодые тогда русские религиозные философы, объединившиеся вокруг этого сборника, пытались как могли вернуть русскую интеллигенцию на пути духовного оздоровления, убедить ее отказаться от "обскурантистского обожествления народа" (Бердяев), "сектантского фанатизма" (Франк), "политической истерии" (Булгаков), "скудости правосознания" (Кистяковский) и "беспочвенного политического легкомыслия" (Струве). Но эти обоснованные обвинения оказались тщетны. К голосу "Вех" стали прислушиваться очень немногие, и слишком поздно!

Нужно подчеркнуть также необычайно высокий культурный уровень участников Ренессанса. Цитированный уже мною проф.

Ф. Степун, который в свои эмигрантские годы много вращался в кругу интеллектуальной элиты западной Европы, пишет в той же книге: "Не является ли богатство западно-европейской интеллектуальной культуры свидетельством о бедности русской духовной жизни? Можно ли сравнивать с этим богатством скромные Московские собрания? Мой ответ, — и да простят мне мои европейские, особенно немецкие, друзья — совершенно определен: Нет, о духовной бедности здесь не может быть и речи. Скажу даже больше: нигде не приходилось мне наблюдать более серьезной и более глубокой духовной жизни, как в тогдашней России". В таком же апологетическом тоне пишет о духовной жизни предреволюционной России и сам Бердяев (не хочу перегружать эту и без того загруженную статью новыми цитатами).

Тут невольно возникает вопрос: суждено ли всей этой бывшей культурной весне и высоким ценностям, созданным ею, снова возродиться, или ценности эти могут теперь интересовать только историков? Ответ может быть сформулирован в афоризме Гегеля: "Память Мирового Духа хранит в себе все, и не забывает ничего". Раз воплотившись, духовные ценности, даже если они временно забыты последующими эпохами, — снова когда-нибудь воскресают, хотя бы в ином воплощении. И, если правы лучшие сыны современной России, — такие как А. Солженицын, отец Дмитрий Дудко и им подобные, — то на нашей родине, "из-под глыб" начинают подниматься новые всходы ищущей мысли, снова возрождается религия. Этот, пока еще подпочвенный процесс происходит, конечно, помимо прямого влияния русского религиозно-философского Ренессанса. Ибо это есть прежде всего реакция на более чем полувековой гнет и засилие лжи и бескультурия. Но, в ходе этого процесса, посмертное влияние золотого века русской философии (совпавшее с Серебряным Веком русской литературы) — может оказаться и уже в значительной мере оказывается ценным стимулом. И хочется верить, что если этот процесс духовного оздоровления восторжествует, то будет восстановлена и великая правда русского религиозно-философского Ренессанса. Эта правда пребудет, а шлаки этого периода отпадут сами собой.

Хочется верить, что новый русский духовный Ренессанс, в отличие от прежнего, будет цвести не только на элитной "башне", но проникнет и в толщу мыслящей интеллигенции.

А нынешняя русская интеллигенция (говорю именно об интеллигенции, а не об "образованшине"), в отличие от прежней, при всех своих явных недостатках, уже не оторвана от народа. Между интеллигенцией и народом нет более прежней пропасти. Конечно, это уже область гипотетических пророчеств, в которые не стоит слишком вдаваться.

Но как говорил Платон: "Велика Истина и преодолагает!"

Сергей Левицкий

НАУКА, ТЕХНИКА, ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛИЗМ.

1. Вытеснение свободного рынка монополиями.

Даже не очень склонные к анализу жизни люди чувствуют, что общество Запада имеет тенденцию конвергировать к социализму СССР (не наоборот). Целый ряд сторон жизни на Западе становится все более и более похожими на то, что переживается в СССР. Я имею в виду огромное количество различных ограничений индивидуальной и вообще частной деятельности, а также стремительное ухудшение за прошедшие несколько лет потребительского обслуживания, включая такие "мелочи", как развивающаяся невежливость продавцов в супермаркетах или официантов в ресторанах, как непрерывные затруднения с общественным транспортом и т.д. и т. п. Конечно, все это еще на настолько плохо, как в СССР, но уже определенно напоминает его.

Всем хорошо известно, что общество Запада давным давно перестало быть обществом свободного рынка. Монопольные тредьюнионы, сверхмощная монополия государства и монопольные промышленно-банковские корпорации своим вмешательством в жизнь людей почти изгнали законы свободного рынка из употребления, заменив их законами силы, сведя все важнейшие для человека факты жизни к событиям непрерывно происходящей драки между тремя вышеуказанными монополиями-гигантами. Даже в ранее благополучной Швеции эти три гиганта перестают кооперировать между собой и, начиная драться, постепенно разрушают прежнее благополучие. Нечего удивляться, что отдельному человеку в этой драке

гигантов достаются только шишки и увечья, все чаще и чаще получаемые по самым неясным причинам. Особенно трагично положение молодежи, так как эти три гиганта в своей непрерывной драке не оставляют для молодого человека никакой возможности строить жизнь для себя по своему выбору. Ему либо приходится учиться "языку" и "законам" гигантов и пытаться втиснуться в редкие и узкие щели между всякими членами всяких мощных монопольных организаций, либо проклинать все и начинать жить антиобщественно, пополняя ряды хиппи, панк, просто преступников и т. д. и т. п.

Понятно, что люди начинают задавать себе вопрос, а чем же это может кончиться, в чем причина этого несчастья и даже по наивности начинают завидовать простоте и порядку скотской жизни в СССР.

2. Чем это может кончиться?

Если попытаться дать ответ на вопрос, а чем это может кончиться, то он сведется к следующему. Как междоусобица феодалов древней Руси или древнего Запада заканчивалась победой сильнейшего, объявлявшего себя царем или императором, так и борьба современных гигантов должна закончиться победой сильнейшего. Существенно, что кто бы из наших трех гигантов ни победил, для отдельного человека разницы большой не будет. Если государство съест остальных двух, будет тот же социализм, что в СССР со всеми его характеристиками. Если победителем окажутся монополии тредьюнионов, тем более будет социализм, как в СССР. Если победит и съест остальных гигантская банковскопромышленная корпорация (наименее вероятно), то и в этом случае социализм, как в СССР, обеспечен. Я имею в виду под социализмом общество, в котором средства производства обобществлены и хозяйство страны управляется с помощью разумного национального планирования. Все остальные признаки, как, скажем, диктатура пролетариата, революция и т. п. совсем не обязательны. В другой статье я показал, что именно вышеуказанное определение приводит логически и неизбежно ко всем остальным свойствам социализма.

Гиганты дерутся потому, что у них резко различные интересы и потому что каждый из них считает себя более подходящим хозяином страны для обеспечения ей благополучия. Как только любой один из них съест других, тотчас его интересы трансформируются в один и тот же интерес: сохранить власть над всей страной и ее хозяйством (обобществление средств производства) и организовать разумное, конечно, управление страной "в интересах народа". Управление же страной в этом случае не может быть ничем иным, как национальным планированием, как в СССР. Неизбежность социализма, как в СССР, определяется еще и следующим. Для того, чтобы поддерживать структуру власти и национального планирования в стране с населением в десятки и сотни миллионов, основоположники СССР должны были изучить и усвоить весь мировой опыт достижения и сохранения власти. Структура советской власти в прошлом, настоящем и будущем отражает самые эффективные средства сохранения власти из арсеналов римских цезарей, испанской инквизиции, французской революции, всевозможных диктатур, ну и, конечно, все "лучшее" из арсенала русской истории, включая очень популярного на Западе Ивана Грозного с его опричниной. Именно поэтому гиганту-победителю не удастся ни достигнуть, ни удержать власть, если он не усвоит единственного в мире по богатству опыта СССР.

3. Объяснение несчастья неизбежным усложнением общества.

На вопрос же, в чем причина такого положения, обычно следует чрезвычайно популярный ответ. Развитие человеческого общества привело к его невероятному усложнению. Это усложнение, в свою очередь, потребовало и соответствующего усложнения правил общей жизни и увеличения числа этих правил. Понятно, что эти многочисленные и сложные правила все больше и больше ограничивают свободу действий отдельного человека и, естественно, чрезвычайно усложняют его жизнь. Это усложнение жизни приводит и к целой серии всяческих эксцессов, которые мы наблюдаем в ежедневной жизни Запада.

4. Винаовато ли усложнение?

Как это ни покажется странным, я утверждаю, что если не говорить о простом росте населения, то нынешнее западное общество имеет тенденцию, как раз наоборот, не усложняться, а упрощаться. Сложность же жизни человека в нем есть, правильнее, не сложность, а трудность, вызванная совсем другими причинами, о которых позднее. Действительно, посмотрите на СССР. Жизнь в СССР чрезвычайно примитивна. Правила успешной (как и неуспешной) жизни в СССР очень просты и немногочисленны. Люди в СССР страдают совсем не от сложности, а от примитивности, при которой даже наименее даровитые не могут полностью использовать свои, Богом данные способности разума и духа. Да и вся доктрина марксизма и социализма, она же проста и примитивна, как репа. Именно в этом ее привлекательность для масс. Вспомните все старые и новые модели обществ, включая "социализм с человеческим лицом". Они все чрезвычайно примитивны. И, будьте уверены, это не только их выражение в словах примитивно, но и их будущая суть, если бы они воплотились в жизнь. Самого сложного общества и на Западе уже не существует. Самое сложное общество, это общество свободного рынка. Суть его чрезвычайной сложности в следующем.

Человеческий мозг содержит около 100 биллионов (по другому, миллиардов) мыслительных клеток. Число возможных вариантов загрузки этих клеток информацией, т. е. опыта, является умопомрачительным. По сравнению с ним даже число молекул во вселенной (оценивается, как единица с 80 нулями) является практически нулем. Поэтому вероятность существования во всем мире двух вполне одинаковых людей просто равна нулю. Сложность и организация человеческого организма превышает сложность всех моделей социализма вместе взятых. Конечно, человек, лишенный пищи—голодный, превращается, как правило, в жалкую примитивность, так как сильное чувство голода подавляет все остальное. При обращении с таким человеком часто можно забыть о всей уникальной сложности его организации. Поэтому все голодные или холодные люди чрезвычайно единодушны в их стремлении к пи-
и теплу, а сытые и теплые расползаются в разные стороны.

Кроме того не все люди используют в полной мере свои способности и возможности. Разница в уровне используемых возможностей не должна нас, однако, обманывать: человек исключительно сложная и непредсказуемая система. Этой непредсказуемостью он отличается от любой самой сложной машины или физического устройства, включая самые сложные компьютеры.

При такой уникальной сложности и непредсказуемости одного человека, что можно более сказать о сложности общества свободного рынка, состоящего из десятков и сотен миллионов таких вот людей? Именно в обществе свободного рынка (без нынешних монополий) свобода непредсказуемых действий всего множества людей создает то, что отдельному человеку кажется хаосом. Действует парадокс. Все взаимоотношения этого отдельного человека со всеми другими, такими же как он людьми, представляются ему вполне объяснимыми. Он с ними вполне способен справиться. Человек легко справляется с руководством фирмы из нескольких человек, с классом из трех десятков учеников-школьников, с торговцами на рынке, где он покупает разные вещи. Все его конкретные взаимодействия не представляют для него непреодолимой сложности или трудности. Однако поведение всего общества, вызывающее, скажем, инфляцию или безработицу, для него необъяснимо и он называет это хаосом. Между тем, поведение общества свободного рынка отнюдь не является хаосом. Это поведение статистически отражает совокупность поведения всех людей включая этого отдельного человека. Законы поведения этого общества существуют и действуют, имея свои корни в действиях отдельных людей. Причина же его неверного представления об обществе состоит в том, что он, как часть общества, принципиально и навсегда не может охватить своим разумом целое.

5. Возможности регулирования общества свободного рынка.

Так же, как реакция человека на примитивные возбудители, как голод или холод, все же довольно хорошо предсказуема, так и реакция общества свободного рынка на аналогичные "примитивные" возбудители может быть прослежена. И в этом

нет противоречия с предыдущим (невозможности для части познать целое), так как отдельные, наиболее простые законы поведения общества доступны его 100 миллиардам мыслительных клеток. В этом случае одна часть познает другую часть, а не целое. В этом факте заложена хоть и сильно ограниченная и не обязательно успешная, но определенная возможность для человека осуществлять небольшую степень регулирования поведением общества в своих интересах, скажем, для предотвращения инфляции, безработицы и т. п.

Легко заметить, что вопрос о таком регулировании общества — *вопрос меры* этого регулирования. Во первых, это регулирование должно быть основано на использовании наиболее примитивных и наиболее предсказуемых реакций человека. Во вторых, это регулирование должно осуществляться скорее с помощью соответствующих *вариаций* некоторых законов общежития, чем с помощью создания специальных организаций и силового воздействия. Специальная организация склонна рассматривать себя в качестве эталона и стремиться к расширению своей власти, что расходится с интересами общества свободного рынка. Силовое воздействие, скажем, с помощью изымания у людей значительной части их имущества (заработка) и обращение ее для стимулирования желаемого эффекта чревато искажением поведения как отдельных людей, так и общества в целом в сторону от тех, которые обусловлены в человеке и обществе самой природой. Вышеизложенное обосновывает опасность чрезмерных силовых и сложных воздействий, как воздействий, последствия которых могут быть опасными для всего будущего существования общества.

6. Насильственное упрощение сложных законов свободного общества.

Вера человека в мощь своего разума приводит к тому, что незыблемый закон природы о том, что часть не может охватить целое, просто даже и не рассматривается. Утверждается, что для человеческого познания и воздействия вообще *нет никаких границ*. Утверждается, что человек может трансформировать общество в такое, которое может полностью управляться самим человеком и служить его интересам. Следует сразу же поставить

вопрос, а кто и как сформулирует эти интересы? Не будут ли эти "интересы общества" фактически интересами некоторых групп общества? А также, каким же интересам служило общество с незапамятных времен, если не человеческим же?

Если присмотреться ко всем попыткам трансформации общества, то можно обнаружить следующее:

1. Фактически (вопреки заявлениям), преследуются интересы не всего общества, а только тех или иных групп.

2. Тем самым производится насильственное упрощение совокупности никому неизвестных законов общества в целом до более простых законов тех или иных групп (опять-таки вопреки заявлениям).

3. Со временем оказывается, что законы жизни и этих групп тоже не были учтены полностью (и не могли быть учтены) и система наносит вред и самой группе, не говоря уже об обществе в целом. Тем не менее, уверенные в мощи своего разума люди продолжают свою "реформирующую" деятельность, не чувствуя *никаких ограничений*. В результате, более однородное ранее свободное общество раскалывается на объединения людей, воюющих за свои фракционные интересы, пытающиеся силой заставить ввести законы, подходящие для них и, следовательно, заставить все общество жить не по своим, неизмеримо более сложным законам, а по более примитивным законам тех или иных групп.

Постепенно эта борьба приводит к выделению из современного общества трех вполне гигантских объединений: монополии трелльюнионов, банковско-промышленных корпораций и колоссального государства. Это не только не ослабляет борьбу, по неимоверно ее усиливает.

7. Не сложность, а трудность.

В конечном итоге, человек, передоверив этим своим организациям, т. е. их вождям, свой голос, лишается не только голоса, но и свободы действий. Его действия начинают диктоваться не его прежними взаимодействиями с другими людьми, а примитивными и поэтому жесткими правилами трех гигантов, да еще к тому же дерущихся между собой. Раньше

максимум всех способностей человека был ему нужен для ориентировки и преуспевания в сложной обстановке взаимодействия с множеством ему подобных. Он мог чувствовать свое достоинство, считать себя человеком, чувствовать справедливое удовлетворение при успехе и, не унывая при неуспехе, учитывать сделанные ошибки для будущего. Теперь ему максимум способностей не нужен. Для него теперь достаточно различать "свой" и "чужой" и следовать выработанным за него вождями правилам поведения.

Неприятность и трудность жизни в таких условиях заключается в том, что эти самые правила недостаточны для удовлетворения чрезвычайно широкого спектра не предусматриваемых этими правилами особенностей и потребностей человека, а свободно действовать он уже не может. Кроме того, передоверив свои права, человек чувствует себя, и вполне естественно, очень неуютно в такой опасной компании дерущихся гигантов, для которых что человек, что щепка — все равно.

В такой обстановке даже юридические законы не дают человеку защиты и гарантии. Эти юридические законы запросто нарушаются гигантами по простому праву силы. В такой обстановке у человека выпячиваются корпоративные свойства и подавляется широкий спектр индивидуальных эмоций. Все, кроме "своих" становятся для него смертельными врагами.

Примитивность и однобокость требующихся от него вождями эмоций приводит к резкому снижению уровня культуры, включая появление "антикультуры". Ощущаемое всеми несоответствие насильственно навязываемых вождями гигантов правил и идей многообразию реальной жизни приводит к расцвету двоедушия (думать одно, а говорить другое). Теряется чувство локтя и уважения друг к другу. Можно, например, легко неблюдать, как постепенно исчезает (как у бывших петербуржцев, а впоследствии ленинградцев) исконная вежливость англичан. Сложная самостоятельная жизнь превратилась в простую по правилам, но трудную, неприятную, разочаровывающую жизнь. Когда будет достигнута простота советской жизни, эти все неприятности достигнут невообразимо-

го сейчас западными жителями и все время нарастающего уровня.

8. "Виновата наука и техника"

Другое очень распространенное мнение, что непрерывно возрастающая сложность науки и техники вызывает сложность жизни и потерю людьми свободы. Утверждается, что наука и техника мистическим образом вырвались из под контроля людей, развиваются сами по себе и этим обрекают людей на некое научно-технологическое рабство, в котором поведение людей будет диктоваться законами технологии. Экстраполируя развитие отдельных областей науки и техники на будущее и распространяя эту экстраполяцию на все будущее, некоторые люди рисуют совершенно фантастическое и притом крайне неблагоприятное для отдельного человека будущее. Подчеркивается все время некий взрывной характер развития науки и техники и связанных с нею областей жизни.

9. Виновата ли наука и техника?

9. 1. Взрывы.

Давно ли весь мир был озабочен "взрывом информации", а теперь о нем никто и не думает. Взрыв оказался пшиком. Что же по существу было? Дело в потребителе информации, в человеке и в его способностях и в желании поглощать или пользоваться информацией. Истощение или способности или желания именно человека и привело к ограничению роста. Мистики здесь нет никакой.

Всего несколько десятков лет тому назад шел разговор о другом "взрыве" — взрыве населения некоторых стран *Запада*. Сейчас об этом никто не говорит и все заняты "взрывом населения" развивающихся стран. Если не говорить о сроке, то и этот взрыв закончится стабилизацией, как у стран Запада. Конкретная причина довольно тривиальна. Людские привычки деторождения рассчитываются, так сказать, самой природой на выживание рода и компенсацию смертности. Когда в результате успехов цивилизации смертность резко уменьшается, людские традиции и привычки деторождения не успевают к этому приспособиться, что и приводит к "взрыву", а постепенная или

ускоренная адаптация привычек — к ликвидации взрыва. Нетрудно, кстати, заметить, что усугубление "взрыва" было вызвано в первую очередь примитивным гуманизмом стран Запада по отношению к странам третьего мира, выразившемся в помощи западными средствами медицины для выживания населения, ранее просто в соответствии с природными балансами помиравшего. Это лишний раз подчеркивает примитивность мышления отдельных людей или их групп, пытающихся воздействовать "в интересах общества" на это общество.

В науке и технике "взрывы" в разных областях происходят непрерывно. Изобретение колеса многие тысячи лет тому назад тоже вызвало взрыв, но так ли уж неимоверно нынешнее колесо, скажем, автомобиля отличается от первозданного? Безусловно, наука и техника во всей их совокупности за последние одно-два века развились неимоверно. Однако экстраполировать это развитие на будущее является большой ошибкой. Имеется довольно много признаков, что суммарное развитие науки и техники теперь начнет все больше и больше тормозиться, достигая некоторого предельного уровня. Этот уровень будет связан с ограниченным числом не только активных мозгов населения земли, но и с ограниченным количеством труда, которое ограниченное население земли сможет вложить в науку и технику, не говоря уже об ограниченности земных ресурсов. В прошлые пару веков наука и техника развивались очень быстро вместе с очень быстрым ростом национальных продуктов стран Запада. Сейчас этот рост национальных продуктов затормозился и абсолютная величина средств, вкладываемых в науку и технику растет очень мало. Поэтому ожидать в будущем столетии столь же быстрого развития науки и техники, как в предыдущие два столетия, просто не приходится. Судите сами. Первые и важнейшие результаты по получению атомной энергии были получены двумя-тремя учеными буквально с помощью жестянок и веревочек. Сейчас для продолжения этого нужны сооружения вроде европейского ускорителя диаметром в несколько километров и стоимостью чуть ли не в весь бюджет среднего размера государства. Нет никаких оснований ожидать:

1. Дальнейшего развития науки и техники с помощью "жестянок и веревочек".

2. Существенного увеличения абсолютной величины средств и труда, выделяемых на науку и технику.

3. Следовательно, каких-нибудь новых и суперфантастических результатов.

Вместо этого будет скромное, но, скажем, достойное развитие. Пора выбросить "клише" взрывов и ужасающих экстраполяций на помойку, как пришлось выбросить и знаменитые "жестянки и веревочки".

9.2. "Сложность науки и техники".

Нетрудно понять, что при любой сложности науки и техники эта сложность не может превзойти уровень способностей человеческого мозга. Уже зарегистрированная в различных книгах, различных традициях и в произведениях культуры информация давно не вмещается не только в отдельный человеческий мозг, но и в совокупность мозгов всего человечества, существующего в настоящее время на земле (поэтому и "взрыв информации" прекратился). Не даром появилось много профессиональных людей, которые занимаются только тем, что копаются в старых источниках информации и извлекают на свет Божий забытые людьми сведения и изобретения. Сложность науки и техники никогда не превышала способности человека к мысли и труду. Все, что превосходит эти способности, просто остается за бортом и позабывается. Следует отметить, что и рассчитывать на значительное расширение способностей человека к мысли не приходится. Даже, если мозг увеличится по количеству клеток в десять раз, это мало что изменит в соотношении между способностями человека к усвоению информации и той информацией, которая уже существует и не используется. Пожалуй, больше результатов можно ожидать от увеличения степени использования большим количеством людей своих уже имеющихся способностей.

Пожалуй, главная причина представления о сложности науки и техники аналогична той, по которой специалист, скажем, историк считает, что сложность компьютера превосходит его способности, что, конечно, неверно. Дело в том, что в науке и технике в соответствии с их физическим содержанием может осуществляться иерархия областей знания и областей вещей:

самолет сложен из частей, части сложены из материалов, материалы сложены из молекул, а молекулы из атомов. Создавая самолет, нет никакой необходимости конструктору задумываться над свойствами молекул и атомов, как таковых, что может делать совсем другой человек. Если вы поговорите с человеком, который руководил полетом на луну, то сможете убедиться, что этот высококультурный и знающий человек тем не менее может ничего не знать ни о топливе ракеты, ни о ее деталях, ни, тем более, о всяких кварках или пи-мезонах.

Возможность такой иерархии в науке и технике определяется тем, что без существенной ошибки мы можем считать все молекулы, скажем, водорода одинаковыми и забыть о них, когда мы имеем дело с водой. Однако это совсем не так, если вы командуете даже только десятком человек. Каждый из этих десяти человек совершенно уникален в своих свойствах и никак не может быть приравнен к атомам, из которых ваша команда будто бы состоит. Даже в армии полки одного и того же назначения оказываются совершенно разными и в бою и в мирной обстановке, что совершенно невозможно допустить для однотипных ракет, ружей и т. п.

Эта возможность создания сложнейших машин из узлов, узлов из частей, частей из материалов, материалов из молекул на основе четко известных и предсказуемых законов их поведения отличает науку и технику от общества людей. Кажется при этом, что именно таким образом можно увеличивать сложность иерархии до бесконечности. Однако и сложность иерархии имеет границу усложнения, поставленную способностью все того же человеческого мозга. В данном случае руководителя: сможет ли его мозг охватить все необходимые для руководства факторы. Следует отметить также, что правила развития и жизни науки и техники являются физическими законами природы и они остаются неизменными и вечными. Человек о их существовании знал тысячи лет тому назад, как и сейчас. Поведение человека, как зависело раньше от законов природы, так оно зависит и сейчас. Любая же наука и техника в их реальном виде рассчитаны на руки и мозги людей таких, какие они есть.

9.3. Вышла ли наука и техника из повиновения?

Попробуйте, читатель, отыскать хоть какой-нибудь пример

технологии, которая действовала бы без наличия потребителя. Не найдете. То же касается и реализуемых достижений науки. Нет потребителя — нет новой реализованной технологии или науки. Другое дело: кто в человеческом обществе является потребителем. Сейчас такими потребителями являются три гиганта, о которых я говорил раньше. Именно они и часто примитивно диктуют и задачи науки и техники и их применение. Отдельный же человек, передоверив свои права гигантам, опять оказывается не у дел настолько, что не понимает: что к чему, и только ощущает, что его бывшая служанка наука и техника перестала ему служить. Ведь трудовые и материальные ресурсы общества ограничены, а гиганты имеют свои приоритеты и интересы, резко отличающиеся от интересов отдельного человека. В конечном итоге, в обществе гигантов человек начинает ощущать науку и технику уже не как служанку, а как хозяина, превращающего его самого в раба. Где уж ему теперь их контролировать!

10. Общество свободного рынка без гигантов.

Представьте себе, однако, общество, в котором уже нет гигантского хозяина — государства, гигантского хозяина — профсоюзной монополии, гигантских банковско-промышленных монополий. Размер государства ограничен лишь выполнением им функций, которые не могут выполняться частными лицами или предприятиями и, в частности, упоминавшимися функциями "мягкого" регулирования. Размер тредьюнионов ограничен размерами предприятий (одно предприятие — один тредьюнион), а размеры предприятий, в свою очередь, ограничены технической целесообразностью в смысле эффективности, а не устойчивостью. Представьте далее, что система законов (юридических) ограничивалась бы правилами общежития и не старалась бы определять каждый шаг людей и была бы одинаково обязательна для всех людей, для всех их организаций и для государства.

Можно видеть, что в такой системе (заметьте, не выдуманной: в том или ином виде и месте она уже существовала) человек автоматически превращается в главное и в

материальном и в духовном смысле. В такой системе есть место и для религии, и для обычной морали и для взаимной помощи и для любых идеалов. Исчезли бы трудности с налогами: аппараты и государства и другие организации резко бы сократились.

В таком обществе и наука и техника вновь становятся служанками человека, а не гигантов. Понятно, что этот очерк отнюдь не исчерпывает устройства государства. Нужна, конечно, тщательно отработанная конституция сначала в проекте, а затем в обсуждении и в действии. Однако, в таком государстве нет ничего утопического. По моему глубокому убеждению, к чему-то подобному люди рано или поздно придут, отведав, в особенности, социализма. Когда советская диктатура развалится (а это неизбежно), при согласии такого сорта государство можно было бы осуществить в Новой России. В сущности, для такого преобразования человеку нужно лишь выполнить христианскую заповедь о скромности и не пытаться, будучи частью, овладеть целым, т. е. обществом. Человек должен примириться с тем, что со всей своей наукой и техникой он не в состоянии познать свое общество во всей совокупности целого и деталей и что вся совокупность его нынешних и будущих знаний равна практически нулю по сравнению с бесконечностью вселенной.

А. П. Федосеев

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Установление в России большевицкой диктатуры в октябре 1917-го оказалось неожиданностью не только для внешнего мира, но и для большинства населения самой России. Как утверждают многие документы добольшевицкого государства специфической чертой русской политической оппозиционной жизни было то, что "даже революционно-социалистическое направление, которое не было анархическим, не представляло себе, после торжества революции, взятия власти в свои руки и организации нового государства". (Н. Бердяев, Русская идея, Имка-пресс, Париж, 1971, стр. 146).

Однако в октябре 1917 года властью стала партия — в количественном отношении сравнительно небольшая, но зато в тех условиях хорошо организованная. Руководили этой партией люди, охваченные страстью захватить власть. Это была партия профессиональных революционеров с четко определенными целями, вождь которой считал, что партия, которая не стремится к власти — не партия. Эта жажда власти обусловила то, что группа эта, захватив власть, превратила ее удержание в альфу и омегу всего своего существования. Ленин, вождь этой группы, сформулировал, как партия должна понимать свою связь с обществом. За два месяца до захвата власти Ленин писал:

"Прежде всего, возврат добровольно уступленного предполагает "добровольное согласие" того, кто уступку получил. Отсюда следует, что такое добровольное согласие имеется налицо. Кто получил "уступку"?... Может быть, в детской "добровольная уступка" указывает легкость возврата. Если Катя добровольно уступила Маше мячик, то, возможно, что "вернуть" его "вполне легко"... В политике добровольная уступка "влияния" доказывает такое бессилие уступающего,

такую дряблость, такую бесхарактерность, такую тряпичность, что выводить отсюда, вообще говоря, можно лишь одно: кто добровольно уступил влияние, тот "достоин", чтобы у него отняли не только влияние, но и право на существование. Или, другими словами, факт добровольной уступки влияния сам по себе "доказывает лишь неизбежность того, что получивший это добровольно уступленное влияние отнимает у уступившего даже его права". (В. И. Ленин, Сочинения, том 25, изд. 4, стр. 271).

Вряд ли можно лучше прокомментировать политическую доктрину Ленина, чем это сделал он сам. И эта природа ленинизма вошла и в мировую (внешнюю) политику государства, управляемого партией с такой "философией". Это был наказ Ленина его партии, и это был откровенный вызов всему миру. Если уступите нам — погибнете! И мы будем правы, потому что вы сами лишили себя права на существование.

В октябре 1917 года часть бывшей оппозиции стала властью имущими. Мы видим, как первоначально маленькая группа людей, выплывшая на поверхность из глубин неизвестности, сумела овладеть всем государством. В острейшем конфликте внутри общества эта группа сумела навязать обществу свою волю и превратить его в инструмент и объект своей доктринальной цели. И если Ткачева еще можно назвать историческим курьезом, то Ленин и его партия на деле олицетворили тоталитарную тенденцию XX века, тенденцию, на которую в то время никто не обратил должного внимания. А когда общество начало понимать характер новой власти, то его сопротивление было подавлено в жестокой гражданской войне. И состояние гражданской войны — меняющейся, правда, свои формы — стало константой правления партии Ленина. Средства же, при помощи которых партия большевиков захватила власть и при помощи которых упрочила свой "успех захвата власти", начали новую главу в истории *человечества*.

Составной частью "успеха" большевиков явилось и то, что воля и стремление к власти Ленина и его соратников были завуалированы терминами разработанной Марксом системы теоретического понимания мира, они прикрывались проповедями о полном политическом, экономическом и духовном переустройстве общества. Все это нашло свое конкретное отражение в партийных программах большевиков.

Большевизм и его политическая доктрина не представляли собой тайны уже до Октября. Но потенциальная возможность превращения большевизма в диктатуру почти что не осознавалась. Более того, в части общества, которая в соответствии с программой, доктриной и лозунгами большевиков была осуждена на гибель, большевикам часто симпатизировали, а иногда и финансировали их. Известно, насколько "успех захвата власти" удивил и самих большевиков. Известно и то, что Ленин и большевики сначала не очень верили в прочность своего успеха, формулируя "исторической памяти" ради декреты советской власти. Достаточно известно, что и Ленин и Троцкий полагались на то, что спасти их успех может только мировая революция. Но несмотря на это с первых дней прихода к власти большевики прибегли к таким террористическим мерам, которые дали им возможность эту власть удержать. Стремление "тащить и не пущать" достигло своего апогея при Ленине, когда большевики начали открыто подавлять и свою социально-политическую базу, то есть те социальные группы, которые помогли большевикам захватить власть в октябре 1917-го года. Кровавое подавление матросов Кронштадта и крестьян тамбовщины показало наглядно, что ни одна из существующих социальных прослоек не сможет повлиять на действия пришедшей к власти партии. Эта партия, в руках которой находился механизм подавления населения, стала всем, а граждане страны — ничем. Аппарат подавления поднялся над обществом и стал автономной деспотической силой.

Окружающий мир в то время был поглощен своими собственными проблемами. Конфликты между нациями, послевоенная усталость, истощение ресурсов и социальные конфликты внутри государств, участвовавших в войне, эгоизм победителей — характеризовали мир, который начал входить в новую эпоху, когда стало очевидно, что "опасность нашего времени не в социальных условиях, а в социальных доктринах" (Эрнст Бэкер). В октябре 1917 года западный мир был отрезан от России, и поглощенный сам собою Запад воспринял Октябрьскую революцию без особой тревоги. Так, результатом Октября стала и изоляция большевицкого государства от окружающего мира, и это позволило большевикам проложить дорогу "новому

социальному и политическому эксперименту". И как это ни парадоксально, те же самые ленинцы, которые изолировали подвластные им нации от окружающего мира, сами в этот мир вступили весьма и весьма энергично. Называя себя революционерами, носителями "исторической миссии" большевики потребовали их признания от мира, который — по их теории — неизбежно должен погибнуть. И осужденный большевиками на гибель мир не только признал их, но мало-по-малу начал относиться к ним как к партнерам.

Для этого окружающего мира вопрос в принципе заключался не в том, были ли большевики партией "социальной и человеческой справедливости" или не были. Главное для руководителей других государств заключалось в том, что большевики стали во главе государства. И в международной политике это государство и правящая им партия рассматривались отдельно. А в результате — один и тот же субъект, выступая от имени партии, говорил о неизбежной гибели других режимов, а выступая от имени государства, заключал с этими осужденными на гибель режимами союзы, договоры, торговал с ними, говорил им и выслушивал от них комплименты. Но разве можно отделять коммунистическую партию и ее политическую доктрину от государственной машины, которой она управляет? Ведь государство — это всего лишь инструмент в руках партии. "Успех" большевиков, сохранение ими власти — перекрыл все. Этот "успех" и определил отношение мира к ним. Более того, во многих странах возникли коммунистические партии, посредством их большевики стали частью мира.

Ленину удалось создать III Коммунистический интернационал, а обязанностью вошедших в интернационал партий стало защищать мировой центр коммунизма, добровольно подчиняясь большевицкой партии. Не разрешая на территории большевицкого государства работу ни одной организации, политический центр которой находился бы за границей, большевики на той же территории организовали разработку директив и инструкций, направленных на разрушение демократических институтов других стран. Ленинские условия приема в Коминтерн, которые определяли, кто может быть коммунистом и какой должна быть коммунистическая партия, поучительны и

представляют собой яркий пример "double standart". Условия приема в Коминтерн начали проводиться в жизнь в период большевизации всех компартий за пределами Советской России. Для этих компартий ленинские условия были своего рода Уставом. Приведем в качестве примера третье условие. В нем содержалась инструкция, что коммунистам не следует считаться с правительствами и законами, действующими в их странах. И что в государстве, где коммунисты не могут действовать легально, им необходимо проводить нелегальную работу, поэтому они обязаны "повсюду создавать параллельный нелегальный аппарат, который в решающую минуту мог бы помочь партии выполнить свой долг перед революцией". Многозначителен и следующий, четвертый пункт: создавать нелегальные коммунистические организации в каждой военной части. Оба пункта — третий и четвертый — говорят о деятельности коммунистов в некоммунистическом окружении. Но вот уже одиннадцатое условие определяет, каким должно быть внутреннее устройство компартии. В соответствии с этим условием компартии должны удалять из своих парламентских фракций все ненадежные элементы и подчинять депутатов Центральному Комитету партии. Тем самым провозглашалось полное отрицание политического плюрализма (голосует в парламенте только партия, а не избранный населением депутат) и демократических принципов не только в партии, но во всем обществе.

Не менее интересен и в наши дни и пункт двенадцатый, который просто вменяет в обязанность коммунистам всех государств отказаться от свободы мысли и слова. В этом пункте Ленин требовал от организованных интернационалистов всех стран полностью подчинить всю печать и издательства ЦК партии, независимо от того, является ли партия легальной или нелегальной. Ибо, говорил Ленин, "недопустимо, чтобы издательства злоупотребляли автономией и вели политику не вполне партийную".

Условия приема в Коммунистический интернационал (так, как их разработал Ленин, и так, как их воспринимали компартии разных государств) явились определением интернационализма в большевицком понимании, и III Интернационал стал органи-

зацией, воспитывающей коммунистические кадры в международном масштабе. Это была политика перенесения правил советского общества на другие страны и создания там действующих в пользу СССР групп. Большевизм посредством Коминтерна далал все для распространения своих "идей", но правда и то, что в секции Коминтерна, то есть в национальные компартии коммунисты отдельных наций вступали добровольно. И этот "добровольно-национальный" момент в коммунизме, добровольное подражание партии большевиков и добровольное признание "успеха" СССР неотделимо от понимания большевизма как международного явления. В странах, где компартия находится в оппозиции, люди могут вступать в нее добровольно и добровольно выйти из нее. Поэтому полное подчинение одной компартией компартий других стран начинает возникать одновременно с приходом к власти коммунистических партий — в странах, находящихся в сфере советского большевизма. Но корни этого подчинения уходят в добровольное согласие с "Условиями Коминтерна".

История Октября и распространения большевизма в международном масштабе ставит вопрос об универсальных элементах большевизма и об условиях, способствующих возникновению аналогичных большевистских партий, причем сейчас ставит этот вопрос еще более настойчиво. Потому что в настоящее время наряду с вопросами о корнях, питающих большевизм, ставится вопрос и о причинах разногласий внутри коммунизма; формулируется даже вопрос о том, не является ли выход большевизма за рамки одной страны началом разложения коммунизма и его "универсальности" (а, может быть, и мифа о его универсальности).

Большевики начали организовываться как партия "универсальной миссии", как марксистская партия. И как таковая воспринимались в обществе. И как таковая захватили власть. Следует отметить и то, что механизм их целеустремленной, диктаторской власти был создан и продолжает действовать в значительной степени благодаря использованию внешнестройной, целеустремленной политико-философской системы марксизма. Ведь именно идеология создает те рамки, в которых существует и реализуется "партийный прагматизм действия".

Именно идеологией оправдывается жестокость власти. Большевики, партия "успеха" монополизировали марксизм, создав "марксизм власти" — как это ни прискорбно для "анти-большевистских марксистов". История этого "марксизма власти", его изложение и политическое применение связано в первую очередь с именами Ленина и Сталина. Еще до захвата власти большевики были известны тем, что лозунги их призывали к коренной перестройке "несправедливого мира". И это должно было оправдать их действия, когда они пришли к власти, и средства, использованные ими по ходу этой "перестройки". История этой перестройки известна. Доктрина большевицкой партии формулировала цель. А когда жизнь сопротивлялась, это сопротивление ломали насилием.

Ленин уже в середине 1920 года сформулировал одно из основных положений государственной политики большевиков, заявив, что "пролетарский интернационализм требует: во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе; во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала" (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4, том 31, стр. 125-126). И после шестидесяти лет существования большевицкой власти ленинские "указания" продолжают оставаться в силе.

Национальные жертвы, "величайшие национальные жертвы" население государств с коммунистическими правительствами приносит постоянно. Что же касается "свержения буржуазии", ради которого, якобы, эти жертвы приносятся, то мы не имеем никаких сведений о том, что большевики отказались от этой цели. В настоящее время, когда в "борьбе за мир" коммунизм не перестает вооружаться, а его идеология продолжает утверждать неизбежность гибели Запада, люди Запада сами несут ответственность за то, будет ли "универсальность" большевизма сходиться на нет или она будет заражать новые и новые нации. И это будет самым важным уроком Октября 1917 года.

Ф. Силницкий

профессионального творчества не подвластны регламентации партийно-бюрократическим аппаратом в той степени, в какой они независимы от двух факторов: применения научных открытий и социального заказа (какие разработки "нужны родине"). В этих двух пунктах контроля властей не избежать, именно они знаменуют постоянную внешнюю несвободу технического профессионала в СССР. И стремясь отыскать хотя бы крохи автономии, на которых можно было бы утвердить и глотнуть хотя бы немного свободы, **СОВЕТСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЁНЫЕ-СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗВИВАЮТ КУЛЬТ ЧИСТОЙ НАУКИ, ЧИСТОГО ПОЗНАНИЯ, ЧИСТОЙ ИНЖЕНЕРИИ.**

Научно-технической интеллигенции не дано в советской стране (вкупе со всем населением) контролировать всё жизненное целое (его контролирует партийно-бюрократический аппарат), определять весь круг действительности, планировать жизнь и будущее страны. Она (как и любая другая группа) отрезана от полногранного участия в общественно-социальной жизни, лишь маленькой частью которой является наука и инженерия. Научно-техническая интеллигенция, как и весь народ, отрезана от того ощущения **МЫ-ВСЕ-ВМЕСТЕ**, которое является условием полноценной государственной и общественной жизни. И потому, в поиске смысла собственного существования и деятельности она в состоянии его найти только в чистой науке, в производстве — т. е. в изолированных от целого процессах, превращая их тем самым "в цель в себе". **ТАК В ТОТАЛИТАРНОЙ СТРАНЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ГИПЕРТРОФИРОВАННАЯ В СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ (приписанной ей людьми) ЧАСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ДЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СССР 70-х гг. ТАКОЙ ЧАСТЬЮ ВМЕСТО ЦЕЛОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.** Научно-техническая интеллигенция распознаёт возможность частичной внутренней (раз нельзя полной) свободы, свободы от мировоззренческого контроля властей, гарантированной самим существованием технического профессионализма и науки, и упивается этой полусвободой, ощущая смысл собственного существования на крохотном лоскутке бытия.

Заметим, что абсолютная несвобода, которая была присуща

тоталитаризму в сталинский период, может быть парадоксально была более "благоприятной" для созревания в душах людей протеста, чем современный тоталитаризм с наличием полусвободы. Дело в том, что при наличии этой частичной свободы (профессионально-творческих устремлений, устройства материального благосостояния, развлекательного досуга) потребность технократа в свободе хоть как-то удовлетворяется, хотя и искривлённым, уродливым путём. Но большинство людей, движимое логикой "лучше синица в руках, чем жар-птица в небе", с жадностью хватается за эту жалкую "синицу" маленьких "свободок", предпочитая частичное, но реальное удовлетворение рискованной борьбе с властями. При тоталитаризме сталинского типа абсолютное неудовлетворение потребности в свободе постепенно и неизбежно приводило к полной внутренней невозможности жить, и как бы человек ни старался привыкнуть и слиться с маской робота, его внутренний протест был всё сильнее и сильнее.

Говоря об СССР, нельзя не учитывать, что впервые в истории тоталитаризм сочетается с индустриализацией, со сложной техникой, требующей огромного количества высококвалифицированного персонала, со сложной системой управления научным и техническим развитием. Может ли в принципе тоталитаризм поглотить профессионалов и широкую систему отношений и связей, предполагаемую индустриализацией и развитием техники и технологии? Если это невозможно, вопрос решается просто: чтобы сохранить тоталитаризм советские лидеры должны томошить технический прогресс. Именно такого решения они придерживались в 30-40-50 гг. Но тормозить технический прогресс в 70е гг., это значило бы во всех отношениях обезоружить страну перед лицом технически высокоразвитых стран Запада. С одной стороны технический прогресс нельзя разрешить, с другой нельзя запретить. Вот страшная альтернатива для тоталитарной власти в СССР 70х гг. "Антагонизм тезиса и антитезиса". И советские лидеры пытаются конструировать "синтез". РАЗРЕШАЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ОНИ ПЫТАЮТСЯ ОБЕЗВРЕДИТЬ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ (БОЛЕЕ ТОГО — ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НЕГО ПОЛЬЗУ), ЛИШИТЬ ЕГО СМЕРТНОСНЫХ ДЛЯ СЕБЯ ПОСЛЕДСТВИЙ И УСИЛИТЬ ВЫГОДНЫЕ. Советская власть пытается выжить при условии

технического прогресса, **ТРАНСФОРМИРОВАВ** традиционный — **ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП ТОТАЛИТАРНОГО УСТРОЙСТВА В СССР В МОДЕРНИСТСКИЙ — ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТИП.**

Итак, сталкиваясь с контролем властей в пунктах применения и социального заказа и ощущая внутреннюю свободу познания и размышления о специальных материях, научно-технические профессионалы в СССР 70х гг. склонны упиваться этим куском автономии — автономией в узких границах специальных тем и интересов. Их свобода "отвлечённая", потому что отрезана от всякой общественной жизни, от широкого социального измерения, это именно полусвобода, а не свобода, полусвобода не в том смысле, что она количественно ещё не полная свобода, а в том, что она качественно иная — ущербная, анемичная, карикатурная свобода.

Тем не менее, "на безрыбье и рак рыба", и технократы внушают себе: "Нужно уметь пользоваться тем, что дано, а сейчас в СССР нам дано больше, чем раньше в смысле свободы. Не будем слишком распинаться по поводу социального заказа (спорить, отстаивая своё видение того, что плодотворно и эффективно, что перспективно исследовать) и по поводу применения открытий, от нас требуются серьёзные рекомендации, и наше дело их разрабатывать, шевелить мозгами (от чего мы сами получаем удовлетворение), а то, как наши рекомендации будут "ухудшены" и "испорчены" начальством, когда попадут к ним в руки, дело не наше. Если из-за глупости властей не удаётся отстоять свою точку зрения, то следует уступить и согласиться на компромисс. Скажем, нельзя исследовать проблему альфа, потому что начальство требует исследования проблемы гамма, так сойдёмся на проблеме бэта, даже если она ближе к гамма, чем к альфа. Но ведь и в проблеме бэта тоже много интересного и много побочных связей с проблемой альфа". Пусть то, что его интересует — неприменимо или малоприменимо, "сущность науки в познании, а не в применении познанного" — рассуждает технократ.

Став кумирами технократа жажда чистого познания, инженерной смекалки как таковой и самого по себе совершенного управления тем или иным техническим процессом

выражают собой существование нового измерения — измерения полусвободы в советском обществе. И за это новое пространство полусвободы стала цепляться техническая интеллигенция, чтобы выжить, чтобы не задохнуться без свободы, хотя это не целостная свобода, которая сливается со свободой внешнего выражения в широком социальном смысле. И потому эта свобода в рамках несвободы. Само существование этой "свободки" способствует гармонизации и упрочению статус кво несвободы.

Ко всё ширящейся армии технических учёных и инженеров присоединяется значительно превосходящая их по численности армия итр (инженерно-технических работников), "солдаты" которой хотя и дальше от интересной работы и менее квалифицированы, но не в меньшей степени проникнуты профессионально-карьеристскими чаяниями и научно-технической любознательностью. Сектор профессиональной информации (связанный с обучением профессионально-техническим умениям) и профессионального карьеризма вклинивается всё глубже в общество, в котором раньше (до научно-технической революции) СУЩЕСТВОВАЛИ ТОЛЬКО ТРИ МАСШТАБНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАСТИ, ПАРТИЙНЫЙ КАРЬЕРИЗМ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРЬЕРИЗМ (труд мыслился или необходимостью или вообще был презираем). СЕЙЧАС К ЭТИМ ТРЁМ ДОБАВЛЯЕТСЯ СФЕРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАРЬЕРИЗМА, ПРИЧЁМ ПОСЛЕДНЯЯ ПО МАССОВОСТИ УЖЕ ОБОГНАЛА ТРИ ПЕРВЫХ. Она для масс советских людей 70х гг. становится единственным неидеологическим, непартийным и неадминистративным путём "вверх".

Многие бросаются сюда из-за подспудного (или явного для них самих) отвращения к идеологии. Многие из-за сильно пробудившейся начиная со времени Хрущёвского правления любознательности, желания знать и понимать мир. Многие из-за усиливающейся с начала 60х гг. жажды материального благополучия и появившегося тогда же нового массового явления — ориентации на приобретение престижа профессио-

нала, связанного с новым в СССР чувством уважения и самоуважения — за дело, в отличие от тех, которые достигаются в идеологически-карьерной среде. И массы бросаются сюда будучи голодными по "реальному" делу, которое бы было чистым от советской власти и демагогии.

Сфера научно-технической ориентации и профессионального карьеризма в СССР 70х гг. стала легальной и лояльной формой отчуждения от тоталитарной идеологии марксизма-ленинизма. Конечно, это не идеологическое отступничество, что тоталитарная власть позволяет технократам такое отчуждение. Это стабилизирует жизнь в СССР, отвлекая человека от непосредственных взаимоотношений с тоталитарной властью, всегда чреватых протестом. Научно-технический прогресс в СССР целесообразно рассмотреть как некую новую гигантскую социальную смирительную рубашку, поглощающую народные силы и порывы. Но не только чисто управленческую выгоду имеет власть от научно-технического прогресса (от того, что может "занять" его проблемами души людей, отвлекая их от базисной задачи — преобразования тоталитарных отношений в обществе в демократические), она имеет и чисто материальные выгоды, потому что научно-технический прогресс даёт возможность получать в экономическом смысле от каждого человека больше, чем раньше, при господстве неквалифицированного труда.

Интересно, насколько приобретение профессиональных знаний, сама потребность в которых уже говорит о разочаровании в тоталитарной идеологии, приводит к дальнейшей и всё большей неудовлетворённости последней как мировоззренческим суррогатом. Система профессионально-технических знаний, включая философско-научные и методологические, не может, конечно, заменить полноценного мировоззрения, однако, прививая мышлению критическую функцию, давая представление о точности и относительности суждений, профессионально-техническая подготовка воспитывает отвращение к демагогической установке идеологического мышления. Человеку, приобщившемуся к науке или даже просто к популярным научным сведениям, ясна произвольность идеологических утверждений, которые должны "не обсуждаться, а выполняться", т. е. приниматься даже не просто на веру, как "догма, а как руко-

водство к действию". Конечно, тоталитарная идеология пытается модернизироваться, но этому мешают прокрустовы рамки марксистских представлений, и приходится современным советским марксологам выезжать на казуистических "модуляциях", которые только доказывают, что далеко на модернизации частностей не уедешь.

Итак, сам факт существования в СССР 70х гг. десятков миллионов людей, всецело погружённых в интересы, связанные с индустриализацией и научно-техническим прогрессом, свидетельствует о том, что тоталитарная идеология отступила. Она, как бы, уступила технократам их внутренний мир. Но значит ли это, что отступила советская власть? Она пытается создать впечатление, что в 70е гг. уже не противоречит сытой и благополучной в бытовом отношении жизни, что перестаёт быть столь нетерпимой и деспотической, как раньше. На самом же деле она, конечно же, сохраняет и свою нетерпимость и свой деспотизм, которые только проявляются несколько иначе, более изощрённо.

Советская власть действительно "отозвала" тоталитарную идеологию с "территории" внутренних миров технократов, однако, она сохранила контроль, и неусыпный, над самой границей между этими внутренними мирами и миром социально-общественных отношений. Советскую власть всегда интересовала именно социальная сфера, ей важно было добиться практического подчинения народа, того, чтобы люди делали то, что им говорят делать, шли туда, куда им говорят идти. Собственно, только одно это и важно для советской власти — социально-поведенческое рабство. Сталинская стратегия и классически тоталитарные представления о том, как это осуществить, были: чтобы добиться абсолютного социального подчинения и застраховаться от "вторжения" внутреннего мира человека в мир социальных отношений (по сути от протеста), необходимо контролировать этот внутренний мир как влияющий на его внешне (социально) направленные действия. Отсюда представлялась необходимой идеология, которая бы "связала" внутренний мир. Такой контроль над внутренним миром гарантировал от опасности "сюрпризов" протеста. Но в 70е гг. в СССР внутренние миры граждан "связываются" более эффективно, чем это могла гарантировать тоталитарная

идеология, а именно — профессиональными (в первую очередь научно-техническими) и частными интересами и целями, при сохранении жесточайшего контроля за границами между внутренним и внешним мирами и права репрессирования, если импульс "своеволия" переходит эту границу. И если раньше "брали" не только тех, кто был нелоялен в своём социальном поведении, а и тех, кто подозревался в нелояльности внутреннего мира (в анти- или даже а-идеологичности своих убеждений), хотя многих "брали" и просто "статистически", то теперь "берут" только тех, кто переходит границу между приоткрывшейся свободой внутреннего мира и оставшейся несвободой мира внешнего или подозревается в таком "переходе".

Таким образом, СЕЙЧАС В СССР ТЕХНОКРАТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМЕТЬ ЧАСТИЧНУЮ ВНУТРЕННЮЮ (ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ) СВОБОДУ, ПОЛУСВОБОДУ — ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНА НЕ ПЕРЕХОДИТ В СВОБОДУ СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. ТАКАЯ УЩЕРБНАЯ ПОЛУСВОБОДА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 70х гг. ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ ВЛАСТЯМ СОХРАНИТЬ ВНЕШНЮЮ (СОЦИАЛЬНУЮ) НЕСВОБОДУ, ДЕЙСТВУЯ ЗАОДНО С СОЦИАЛЬНОЙ РЕПРЕССИЕЙ (СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ).

Не опасно ли проигрывает советская власть, выпуская внутренний мир граждан из пут тоталитарной идеологии и защищая от свободы личности лишь мир внешний? Ведь все технократы — инакомыслящие явно или в глубине души, и власть "соглашается" иметь рядом с собой, в самой гуще жизни, потенциал чуждости, неизбежно накапливающийся (раз идеология не царствует в умах) во внутренних мирах граждан, тот потенциал, из которого в любой момент, как говорится, можно черпать социальный протест. Но значит ли, что вместе с накоплением потенциала чуждости марксизму-ленинизму накапливается потенциальная энергия протеста? И таким образом нависает угроза для советской власти? В том-то и дело, что нет. Советская власть именно — выигрывает от этого предоставления внутренним мирам технократов идеологической автономии. Человек может удовлетворять потребности, которые в сталинском мире совсем или почти совсем не удовлетворялись:

профессиональные, профессионально-творческие, материальные, возможность много сил и выдумки уделять всегда "эгоистическим" хобби. Особо отметим появившуюся возможность удовлетворения духовных потребностей человека: в свободе (хотя и ущербного), в творческой работе в специальных областях, в чтении разнообразных книг (среди которых огромное количество переводов разноязычной беллетристики), в частных размышлениях и философствованиях (в которых, правда, должно полностью отсутствовать политическое измерение). Для советской власти было важно найти такой способ удовлетворения духовных потребностей человека, который бы не был для неё опасен, т. е. не был бы чреват протестом. И она нашла: контакт с чуждыми идеологии понятиями и впечатлениями должен быть контактом или изолированным узкими социальными границами, или чисто культурным, абсолютно отъединённым от социального измерения, особенно от той его части, которая близка к политической постановке вопроса. **ЭТОТ НОВЫЙ В СССР СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ — В УСТАНОВЛЕНИИ ЭТОМУ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ИЛИ УЗКО СОЦИАЛЬНЫХ, ИЛИ ЧИСТО КУЛЬТУРНЫХ ГРАНИЦ (ИХ КУЛЬТУРНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ).** Таким двойным: социальным и культурным блоками советский технократ 70х гг. изолируется от общественной жизни и потому не опасен советской власти при всей своей чуждости последней. Эта его чуждость ей на руку в двух смыслах: во-первых, потому что она даёт технократу удовлетворение и, следовательно, делает удовлетворённым, и во-вторых, потому что именно в силу своей инородности царству власти — сфере общественных отношений, она не может выйти из границ собственной социальной и культурной изолированности, стать фактором социально-общественной жизни. Чем больше потребностей удовлетворено, тем более зависим человек от условий, дающих возможность их продолжающегося удовлетворения (особенно после периода, когда они совсем не удовлетворялись) и тем более теряет склонность к изменению статус кво.

Это что касается позитивного контроля над человеком в СССР 70х гг. Что же касается более привычного для СССР —

негативного контроля, то "все достижения" сталинской эпохи на этом поприще сохраняются. Право репрессирования со стороны власти применяется теперь более точно — к тем именно, кто не повинуется и протестует. Контраст между удовлетворением в сфере внутренней и частной жизни и наказанием при переходе заветной границы между нею и социальными отношениями, определяемыми, абсолютно как и раньше — идеологией и властью начальства, делает этот переход всё более трудным. Поэтому это более совершенный репрессивный механизм, чем в сталинские времена.

Повидимому, тоталитарная система может быть прочна только в том случае, если есть сбалансированность между удовлетворением населения и репрессиями. Если тоталитарной системе нечем привлечь людей и налицо лишь один элемент наказания как метод воздействия, это уже выражение краха тоталитарной системы, ибо не имея никаких позитивов, подвергаемое массовым репрессиям население начинает вырабатывать в себе энергию протеста. Разгул репрессий в сталинские времена говорил о недейственности тоталитарной идеологии и неэффективности социальной власти, был свидетельством краха системы и показателем её слабости, непрочности. Опираясь только на наказание тоталитарная система существовать не может. ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ КОНТРАСТА МЕЖДУ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ И ЛИШЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С НАКАЗАНИЕМ, ЧЕЛОВЕК С ГОТОВНОСТЬЮ ХВАТАЕТ БЛАГА, ЗАОДНО СПАСАЯСЬ И ОТ ВОЗМОЖНОГО НАКАЗАНИЯ. В этом случае страх наказания только "подправляет" дело, основную же роль в управлении поведением людей играет инстанция, дающая блага, а не накладывающая лишения, хотя именно в условиях опасности репрессии человек более безоговорочно эти блага принимает. В 70е гг. удовлетворяя технократа частично (профессионально, профессионально-творчески, материально, разнообразием досуга, а также возможностью потребления культурных благ), советская власть понижает сопротивляемость себе, сохраняя страх наказания на прежнем уровне интенсивности. Поддерживая контраст между благами жизни и муками

наказания советские верхи достигают своей цели более эффективно, чем в сталинские времена.

И вот в результате этой новой управленческой стратегии советской власти вместо тоталитарного человека прошлого появляется новое человеческое существо. Это с одной стороны — индивидуалист, который больше не хочет жертвовать собой молоху тоталитарной идеологии, с другой же он столь же фанатично предан своей новой — профессиональной системе взглядов, как классический тоталитарный человек своей идеологии. С одной стороны он понимает и видит, что в результате специализации профессионального образования и связанного с ней разнообразия интересов в сфере досуга существует много различных взглядов на мир, с другой же он нетерпим к чужим для него идеям и представлениям так же, как его классический предшественник к чужим идеологиям. У технократов место тоталитарной идеологии теперь занято совокупностью профессиональных и хобби-культур, которые часто совсем не соприкасаются друг с другом.

Если на Западе различные сегменты социальной жизни и культуры не только могут сосуществовать, но находятся в диалоге (а если нет, то по крайней мере все опираются на общий фундамент государственного и национального единства), то в СССР множественность профессиональных и хобби-культур, которые по внутренней, часто скрытой от поверхностного взгляда, психологии вовлечённых в них людей являются своеобразными экстремистскими культами — это множественность антагонистических тоталитарных идеологий. Так например, только в СССР мог иметь место знаменитый и обошедший даже провинциальные газеты "спор" между "физиками" и "лириками". В качестве "физиков" впервые в истории СССР "новый класс" технократов поднял свой "революционный" голос. Мишенью их революционного запала были не "капиталисты" и не "кулаки", а "лирики", т. е. гуманитарная культура и её носители (деятели искусства, писатели, поэты, преподаватели литературы) и любители. Под обстрел бралось искусство как доставшееся в наследство от прошлого и устаревшая форма познания мира. Лидер "физиков" — "генсек" их "партии" инженер Полетаев громил искусство, отказывая ему в праве существовать в

современном интеллектуализированно-технизированном мире и противопоставлял ему "трезвость", "здравость", "точность понимания" и "чёткость мышления", присущие техницистски ориентированной научной мысли. Эта "дискуссия", истинной целью которой было вовсе не выяснить истину и даже не доказать абсолютную справедливость одной из двух точек зрения, и даже не обезоружить противника и не разбить его наголову, а просто-напросто уничтожить его, стереть с лица земли, прогремела на всю страну, продемонстрировав западным корреспондентам, что в советской стране возможны "свободные дискуссии", в которые вовлечены массы народа. Дискуссии возможны, но только такие, которые выгодны властям, потому что отвлекают внимание людей от проблем подлинных в сторону мнимых.

Вся эта тотальная "бойня" на страницах газет и журналов, на молодёжных "диспутах" в залах многочисленных аудиторий, созданных для торжественных собраний или пропагандистских лекций показала, насколько мировоззрение техницистов агрессивно, нетерпимо к другим взглядам, высокомерно и мыслит себя единственной мировоззренческой ценностью, одним словом, насколько оно тоталитарно. Впрочем, лирики тоже "огрызались" довольно ядовито.

Очень интересна другая сторона этого демарша физиков против лириков. Это его антиидеологическая подспудная направленность. Многие аргументы против лириков подходят для критики тоталитарной идеологии, которая в восприятии технократов лишь одна из разновидностей "лирики". Но то, что вместо идеологии марксизма-ленинизма под обстрел бралась "лирика" — дало технократам возможность "спокойно" высказаться, осознать себя и вообще — родиться в общественном сознании как масштабная группа со своей техницистской идеологией.

Советский технократ 70х гг. — это существо, которое не может быть *Homo sapiens* из-за отсутствия подлинной гуманитарной культуры, но которому мало быть только *Homo Faber*. Он жаждет философского осмысления мира, но в своём багаже имеет только осколки марксизма-ленинизма и разрозненные позитивистские научные сведения о мире. И потому он пытается

свое ремесло, свою профессию использовать как основание для своей философии жизни. Многие из технократов чувствуют, что научно-технического мировоззрения недостаточно, чтобы объяснить гуманитарные стороны жизни, и ищут какую-нибудь другую идеологию взамен рассыпавшегося марксизма-ленинизма, находя её близко — в "чистом", "незапятнанном" марксизме. Это явление второго, интеллектуального открытия Маркса — довольно распространённое явление среди современных советских технократов. Его последствия могут быть очень печальны — смычка с еврокоммунизмом и подготовка нового красного шествия Маркса по планете.

Что же касается каждодневно-практической ориентации современных советских технократов, то большинство из них — это индивидуалисты, желающие делать карьеру, хорошо зарабатывать, жить в своё удовольствие. Эти люди обладают своеобразной позитивистской верой и представлением об идеале. Их идеал, или вернее их идол — это индустриально-технический прогресс.

Первым проблему современной советской технократии заметил А. И. Солженицын в романе "В круге первом". В образе ээка-учёного Нержина, предпочитающего благам в "круге первом" — технократическому процветанию — правду столкновения с тоталитарной властью, правоту отстаивать с риском для жизни человеческие ценности, Солженицын показал технократа, преодолевшего и отвергшего всякий технократизм и компромисс с советской властью. Решение Нержина уйти из шарашки-научно-исследовательского института в обычный страшный концлагерь — удивительно и заслуживает восхищения, ибо в этом решении человеческая свободная воля побеждает не только житейские соблазны (оставаться технократом, значит, лучше жить), эта воля не желает приспособливаться даже к факту научно-технического развития в стране, поскольку оно не сочетается с утверждением человеческих ценностей.

Нержин — это гуманистическое исключение из технократического правила. Такие исключения существуют и в жизни: Нержиными наших дней являются А. Сахаров, И. Шафаревич, Орлов, Александр Зиновьев, некоторые другие. Но как правило советский технократ является носителем не гуманистического, но

лишь технического прогресса. Он не несёт в себе генов гуманистического возрождения именно потому, что его технократическая ориентация в условиях СССР становится главным делом его жизни, не просто профессиональным, но жизненным самоутверждением, не просто занятием, но смыслом его бытия и средоточием его эскапизма. Для массового советского технократа 70х гг. наука, престиж индустриализации и ценности, связанные с потреблением доступной ему культуры, заняли место гуманистических ценностей.

Виктор Зубов

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863-1919) начал свою научную работу в конце восьмидесятых годов, когда наметились его исторические интересы — археография и археология. Именно тогда появилась его первая книга "Скифские древности" (1887). В это же время произошла его встреча с П.Н. Милюковым, который был уже доцентом Московского университета. Он приехал в Петербург, чтобы познакомиться с молодыми историками, приготавливавшимися к профессорской деятельности; из нескольких человек, с которыми он встретился, он нашел Лаппо-Данилевского особенно серьезным.

Его следующая книга "Русские промышленные и торговые кампании в первой половине XVIII в." (1889) свидетельствует об интересе автора к социально-экономическим вопросам, к которым он подходил, опираясь на указы и акты правительства. Его основным трудом была "Организация прямого облажения в Московском государстве со времён смуты" (1890), это было образцовое исследование государственного хозяйства и земледельческого и городского быта в этом государстве. При этом следует помнить, что в Петербургской исторической школе, со времен К. Н. Бестужева-Рюмина, прочно утвердилась традиция тщательно изучать исторические источники, при том многочисленные. Труд Лаппо-Данилевского был оценён Академией Наук; и он довольно рано был избран в её члены.

В конце XIX в. и начале XX в. европейские историки стали интересоваться вопросами о целях исторической науки и её мето-

дах, и появились книги на эту тему. При составлении учебных планов в Петербургском университете был введен курс "методологии" (Вып. I, II /1910-13/), и за него взялся Лаппо-Данилевский. Этот курс был задуман широко, охватывая теорию исторического знания, работу над источниками и построение истории (не изложение); курса такого масштаба не было ни в одном из наших университетов. Автор рассматривал теорию истории на основе философской логики, в духе распространенного тогда среди учёных нео-кантианства; по части методов он был под влиянием известной немецкой книги Г. Риккерта "Границы естественно-научного образования понятий", где проводилось четкое различие между науками естественными и гуманитарными, в частности историей.

Так как эту книгу Лаппо-Данилевского вряд ли можно достать сейчас за границей, как и в СССР, будет полезно кратко изложить её содержание. В первой части, после исторического введения, обсуждаются два направления в истории. обобщающее и идиографическое: одно стремится к определению объективных исторических законов, а другое к построению исторического целого. Кроме различия по целям, историческое изучение зависит от свойств исторического объекта. Во второй части даётся понятие об историческом источнике и говорится об его интерпретации и критике, чем выясняется подлинность и достоверность источника. В третьей части изучаются исторические факты, их группы и причинная связь, применение количественного и сравнительного метода, и изучается историческая периодизация.

Содержание курса было богатое, с примерами из европейской и русской истории, но в печати появились только первая и вторая части. По обширности и систематичности весь этот труд выделялся даже среди иноземных работ на эту тему. В русских же университетах читались только краткие и отрывочные курсы.

Книга Лаппо-Данилевского подверглась критике со стороны советских историков. Оставляя в стороне его нео-кантианскую философию, которая оказалась "недозволенной", сама критика носила политический характер. Заметим лишь некоторые более серьёзные возражения исторического характера. Во-первых, отрицалось основное разграничение естественных наук от

исторических. Предпочтение, которое отдавалось первым, мало помогло критикам; найти объективные законы истории на русском материале оказалось невозможным, о чем свидетельствует книга М. Н. Покровского "Русская история в самом сжатом очерке" (1933), а позже и ее автор был признан вульгаризатором марксизма. Во-вторых, возражения против "психики" исторического источника бьют мимо цели: в источнике важна не его материальная оболочка, а смысл, и сам Лаппо-Данилевский, обсуждая методы источниковедения, требовал изучения их на основе среды, в которой они возникли (политической и экономической). В третьих, общий упрек, что автор строил свои "безжизненные" схемы забывая о действительной жизни, тоже неоснователен; его методология тщательно изучала причинность событий, которая проверялась именно на реальной жизни.

Методология истории по существу должна была предшествовать другим курсам, но молодые студенты были к нему не подготовлены; они мало знали логику и совершенно не знали теории познания. Они внимательно слушали лекции Лаппо-Данилевского, но лишь редко задавали вопросы преподавателю. Талант нашего профессора, как педагога, проявился в его семинаре. Этот семинар стоял на высоком уровне и, видимо, интересовал студентов, потому что в нем участвовали не только наши историки, но также студенты-философы и экономисты, даже бывали люди, уже кончившие университет. Кроме названного курса, Лаппо-Данилевский читал лекции по истории XVIII в., чего я не застал, а позже, лекции по русской историографии, когда я еще был студентом. Оба курса не были напечатаны, но сохранились в архивах Академии Наук.

Следует отметить еще один интерес, который был присущ нашему профессору — история науки. Занимаясь XVIII в., он писал о Петре Великом как основателе Академии Наук, об просветительной деятельности Екатерины II и в своих лекциях по русской историографии он говорил об историках конца XVIII и начала XIX в.в. По его инициативе при Академии была основана секция по истории наук. Во время войны был выпущен английский сборник "Russian Ideas and Realities" (Cambridge, 1917), для которого он дал статью о развитии русской науки

Иногда высказывалось мнение, что Лаппо-Данилевский был замкнутым человеком, чуждым молодёжи. Это мнение несправедливо. Он не замыкался в своей научной работе, отходя от общественной жизни, которая была очень беспокойной в то время (1904- 17 гг.). Когда произошёл расстрел рабочей манифестации в 1905 г. он вместе с акад. А. А. Шахматовым явился в Петербургскую Городскую думу, единственный выборный орган, с протестом против таких действий власти. Когда в 1910 г. университет был сплошь занят полицией, он согласился по просьбе слушателей читать лекции на дому. Когда в 1915 г. я, уже будучи офицером, посетил своего учителя, он очень критически говорил о действиях властей.

Временное Правительство назначило его членом комиссии по разработке Положения о выборах в Учредительное Собрание — очень ответственное дело.

Несколько слов об отношении Лаппо-Данилевского к молодежи. Я уже сказал, что курс методологии истории был труден для студентов; происходило это из-за его преувеличенного мнения о способностях его слушателей. Но он не требовал от студентов, чтобы они обременяли свою память подробностями и удовлетворялся, если они понимали основные идеи его курса. Истинное отношение к ученикам проявилось в его семинаре по теории истории, где он вел себя не как профессор, а как руководитель, всегда любезный и доброжелательный, готовый прийти на помощь участнику семинара; свои замечания он делал спокойно и серьезно.

В 1918 г. я уже оставил Петроград, но знал от друзей, которые там оставались, что положение Лаппо-Данилевского стало очень тяжелым из-за жизни в холодном и голодном городе, что подорвало его здоровье. Долго он не выдержал и скончался в начале следующего года. О его смерти было так сообщено в официальной академической публикации: он заболел в результате недостаточного питания и умер в госпитале после операции 7 февраля 1919 г. Под недостатком питания подразумевался настоящий голод. Подобные же сообщения появлялись позже и о других учёных-академиках.

Лаппо-Данилевский оставил большое учёное наследство. Он написал более ста статей, напечатал несколько книг, замечатель-

ных по методической разработке, и издал два обширных труда, один о прямом обложении в Московии и другой по методологии истории. Эти труды были высоко оценены его научными коллегами, но критиковались его противниками. Будем надеяться, что они будут оценены в будущем.

И. Гапанович

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НАБОКОВА

Он был мало сказать мастер; такой был он колдун и чародей, что именно исчезновением хочется назвать его кончину. Исчез, пожелал нас покинуть; захочет, вернется к нам. Но нет, не вернется. Не ему мне приходится сказать, совсем откровенно, все главное, что я о нем думаю.

Четвертого июля, в Испании, включил радио, и парижский диктор сказал: "В Лозанне умер Владимир Набоков, знаменитый американский писатель русского происхождения, автор "Лолиты", "Ады" и других романов, имевших большой успех и переведенных на многие языки". Выключил. Ощутил печаль и пустоту; а также досаду. Следовало диктору сказать "русский писатель, во вторую половину жизни писавший по-английски". Но конечно в Москве с ним настолько согласятся, что не скажут о Набокове ровно ничего.

Молодым его вспомнил. Не видел тридцать восемь лет. В переписке с ним не был. Но никогда не переставал ощущать его присутствия где-то там, в Америке, потом в Монтрё; где-то там, в литературном сознании моем, в мыслях о нынешней, а не вчерашней, и о русской, прежде всего, литературе. Он был всего щедрей одаренным русским писателем своего поколения и самым выдающимся эмигрантским автором, из тех, что не успели прославиться еще в России. Не будь "Октября", он бы конечно не выселился из русского языка и стал бы, начиная с тридцатого года (когда печатался в "Современных Записках" его роман "Защита Лужина") главным обновителем

русской прозы. Но если б остался в СССР, ничего бы он не обновил, так как был бы до Бабеля выведен в расход, или приведен в негодность задолго до Олеси. В эмиграции ему точно также не дано было совершить того, что совершил бы он в безоктябрьской России, — сперва потому, что его книги только вне России и читались, а затем потому что перестал по-русски он писать. До этого, однако, успел написать целый ряд никогда не безразличных и уже самым своим "письмом" замечательных романов и рассказов, завершив все это полуавтобиографическим "Даром" и совсем автобиографическими "Другими берегами", а также повестью "Пнин", самой русской из его английских книг. "Жизнь Арсеньева" я люблю больше "Дара", но никакую другую эмигрантскую и не бунинскую книгу я бы не поставил рядом с ней.

Переход Набокова в английский язык, которым овладел он в своем младенчестве даже и раньше, чем русским, — не преступление, и ставить ему такое решение в вину никто не имеет права, ни в России, ни в эмиграции. Да и вовсе не случайно, что самый западный из всех русских писателей, любого века, так радикально на Запад и ушел. Но уход этот тем не менее большое несчастье, как для русской литературы, так и для него самого, — именно как писателя, а не в житейском смысле (тут обернулся уход большой удачей). Во-первых, его проза, и манерою письма, и характером вымысла, несравненно новей и обновительней в перспективе русской литературы, чем английской (или американской; но ничего собственно американского в его литературном искусстве нет). А во-вторых западный литературный обиход середины XX-го века прямо-таки подсказывал ему то расширение границ изобразимого, которому наш в то время все еще сопротивлялся и которое его искусству пошло в ущерб, а совсем не впрок. Лучшая иллюстрация первого из этих утверждений — "Бледный огонь", у Шекспира заимствованным словосочетанием озаглавленная книга, частью в прозе, частью в стихах — превосходных, очень находчивых стихах, немножко в духе поэтов XVII-го века, больше всего Марвелла — необыкновенно сложно построенная, необыкновенно виртуозная, но и расхолаживающая этим своим блеском, слишком блестящим, слишком показным. Лучшим свидетельством в пользу второго

служит не "Лолита", принесшая ее автору мировую славу и переведенная на множество языков, но более позднее, самое крупное по размеру произведение его, "Ада", которое вершиной его творчества не стало, хоть и похоже, что по замыслу предназначалось ею стать.

Невозможно усомниться в том, что слава, принесенная "Лолитой" автору, была бы менее широка, если б тема книги была другая и если б отсутствовали в ней те многочисленные описания, из-за которых, в еще не столь дальние времена, она продавалась бы только из-под полы или вовсе не была бы издана. Не может быть, чтоб и сам автор этого не создавал. Так я подумал, когда впервые прочел "Лолиту", и я немножко пожалел Набокова: прежде ведь он о ширпотребе никогда не помышлял, и его требованиям ни в чем не шел навстречу. Но это я его "по человечеству" жалел, а литературно сразу же оценил "Лолиту" весьма высоко. Набоков конечно, в силу самой уже "западности" своей только литературную оценку литературных произведений и признавал, всегда литературу в литературе запирал, всегда отвергал применение к ней каких-либо других критериев, кроме литературных. В этом я, однако, ни с ним, ни с теперешним Западом не согласен. Прежде всего потому, что этику от эстетики *до конца* отделить нельзя, а затем и потому, что чрезмерная автономность литературных критериев вредит самой литературе.

Пол — огромной мощи подчеловеческая стихая, а Любовь, хоть и движет (по Данту) "солнце и другие звезды" никакой *материальной* силой не наделена. В земной человеческой любви оба эти начала соединены — нераздельно, но и неслиянно. Выражение-изображение ее в искусстве не разрушает искусства — или по крайней мере человечности искусства — лишь покуда низкая стихая не подменяет в нем высокую, либо совсем зачеркивая ее, либо отрицая (пусть и молча) различие между низким и высоким. В "Лолите" — и то лишь местами — всего только намечается путь к игнорированью этой разницы, но в дальнейшем ее автор именно по этому пути и пошел и весьма далеко зашел, как о том свидетельствует "Ада". Не так уж важно, в какой мере художник обнажает физическую сторону любви, хоть

и есть мера, всякий разговор о ней отменяющая начисто. Гораздо важней, ради чего и в каком духе он это делает. "Лолита" остается музыкой, лишь по временам досадно заглушаемой чем-то вроде пиццикато скрипок, повторяющих: секси-секс, секси-секс, секси-секс. Это очень помогло тиражу, а искусству очень большого вреда не принесло. Зато в "Аде" почти вся музыка из одного этого пиццикато и состоит, так что начинается вскоре звучать совсем не музыкально, а все декорации, весь реквизит кровосмесительной этой оперы отличаются крайне меня у Набокова удивившей миллиардерской безвкусицей, бесстильного стиля "grand luxe", в котором нарисован и главный миллиардер, и его папаша, прозванный, в довершение всех роскошеств, "Демоном".

В недавней беседе с испанским журналистом (см. "Континент", 11, стр. 28 приложения) Солженицын назвал Набокова писателем гениальным, что делает честь Солженицыну и что, без сомнения, очень близко к истине. Набоков был гениально или почти гениально одарен, но наше время, при недостаточном сопротивлении ему, надломило его дар, полной зрелости не дало ему достигнуть. В русской литературе он бы этой зрелости достиг именно потому, что она от западной отстала.

Да и не мог он из нее выйти, и останется он *в ней*. Никогда он Россию не забывал. Просвечивает она во всех английских его книгах. И еще во второй половине жизни принес он ей два дара, о которых стыдно было бы русским забывать: свой комментарий к подстрочному переводу "Онегина" и русский перевод "Лолиты", несмотря на сказанное мной, самой зрелой его книги, и по которой лучше всего можно судить о его несравненном словесном мастерстве.

Над могилой его не солгу. Но жалею, очень жалею, что и недоброе кое-что пришлось мне о его творениях сказать. Желая им бессмертия. Я всегда его любил, всегда восхищался огромным его даром. Скорблю о его смерти и страстно хочу, чтоб о ней скорбела его и моя родина.

В. Вейдле

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Наш век отмечен для России сплошным планомерным уничтожением письменных свидетельств и живых свидетелей. Но и он же отличается от предыдущих сплошной грамотностью. Оттого люди многопережившие и в пожилые годы с досугом имеют возможность изложить на бумаге многое из своих воспоминаний, особенно то, что представляет общественный интерес или познавательный смысл для потомков. Самые "простые" жизни в наше бурное время прикоснулись к чему-то неповторимому, несут в себе важный осколок истории, иногда только этот один человек; но не записав пережитого, не сообщив одноземцам — унесут в беспамятность. Однако большая часть таких воспоминаний обычно не пишется — из неверия в свои силы, из неясности цели. Большая часть уже написанных не принимается в печать по своему обилию и потому что не достигает литературного уровня.

Русский Общественный Фонд, основанный мною три года назад, одной из целей своих ставит собирание всяких личных воспоминаний наших соотечественников с обязательством (от меня и моих наследников) — надёжного хранения, постепенной перепечатки и каталогизации их, а как только наступит благоприятное для того время — перевозки их всех в один из городов Центральной России, где они будут соединены с подобными же воспоминаниями людей, проживших всю жизнь в СССР, и составят вместе с ними Всероссийскую Мемуарную Библиотеку, сгусток народной памяти и опыта.

Эта Библиотека уже создаётся и принимает все присылаемые материалы — короткие (2-3 страницы) или пространные (до 1000 и больше

страниц), любым образом написанные, также и не на русском языке, при любом уровне грамотности — но содержащие материал из жизни нашего народа в XX веке. Воспоминания могут быть отрывочны; могут включать, и это ценно, собственные взгляды, выводы, объяснения авторов, а также (с пояснениями) фотографии упоминаемых лиц, мест и самого автора, в описываемое время или ныне. Среди принимаемых материалов — и письма частных лиц предреволюционного и послереволюционного времени.

Все принятые рукописи Библиотека ставит на учёт, аннотирует, составляет к ним указатели по описываемым годам, географическим местам, событиям, лицам — историческим и рядовым, сферам и направлениям жизни. Затем все эти указания размещаются по соответствующим каталогам, и таким образом каждая рукопись оставляет след в разных каталогах, а будущий исследователь новейшей русской истории сможет двигаться систематически по избранной области, как бы выслушивая авторов, уже и умерших, открывая неживую историю в этих неоценимых свидетельствах.

Все воспоминания о революциях и гражданской войне, присланные мне эмигрантами старшего поколения, я, после благодарного ознакомления, передал на хранение в Мемуарную Библиотеку. Но за пределами нашей родины ещё многочисленнее живёт эмиграция Вторая, с огромным опытом жизни в первое советское 25-летие (тёмные для истории 20-е и 30-е годы, коллективизация, преследования всех видов), с опытом советско-германской войны, так называемого "народного ополчения" (почти нигде не отражённая жестокая эпопея!), жизни на территории, занятой немцами, в ост'овских лагерях, в армейских частях, с горьким опытом беженства и послевоенного неустройства в западных зонах при угрозе выдачи НКВД. Весь этот опыт почти неизвестен остальному населению нашей страны и будет представлять величайший интерес — чем позже, тем больше.

Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их — чтобы горе наше не ушло вместе с нами бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая нас будущее.

По желанию авторов их истинные имена могут быть вовсе не названы (и сам автор может прислать рукопись под псевдонимом, лишь указав, что имя — не подлинное), либо сохранены в тайне до указанного ими срока.

Мемуары с наибольшей плотностью материала и самого общего интереса будут Всероссийской Мемуарной Библиотекой со временем публиковаться (разумеется, только с согласия автора).

Все рукописи приглашаю посылать по адресу:

Alexander Solzhenitsyn

В. М. Б.

Post Office Box 1446

Boston, Mass.

USA

Независимо от Библиотеки, но по этому же адресу (вместо В.М.Б. указать: "Русское Хранение"), Русский Общественный Фонд принимает в долгосрочное хранение любые материалы и архивы, относящиеся к русской истории XX века. При том же благоприятном времени, когда у нас на родине не будет более преследоваться память о нашей истории, — всё "Русское Хранение" будет передано в хранилища на территории нашей страны, соответственно теме каждого материала.

Сентябрь 1977

Александр Солженицын

О ПРЕСЛОВУТОМ АПОЛЛОНЕ-77

Недоумение вызывает прежде всего название — "Аполлон-77". Новый альманах никак не связан с петербургским "Аполлоном". Редакторы и издатели старого "Аполлона" привлекли внимание русского общества к лучшим образцам поэтического и художественного творчества, содействовали пробуждению интереса к древней иконописи и искусству XVIII ст., наконец, они знакомили читателя с художественной и литературной жизнью современного Запада.

Тревожный, предреволюционный Петербург, породивший русскую мечту о красоте и гармонии, подобно Атлантиде опустился на дно, скрыт потопными водами. Погибла высокая культура, "одно из трех чудес мировой истории" (Поль Валери, помимо России XX ст., называет

Мы перепечатываем из газеты "Русская мысль" N 3166 отзыв об альманахе "Аполлон-77". Этот чрезвычайно интересный отзыв, как сообщает редакция Р.М. прислан из Москвы. РЕД.

итальянский Ренессанс и Элладу), но жива еще память о ней. И в наши дни редкая встреча со старым и единственным "Аполлоном" неизмеримо обогащает, приводит к пониманию современной духовной нищеты, пробуждает тоску по настоящей культуре.

И непонятно, почему новому альманаху дано столь звучное и обязывающее название? В России перед революцией выходило множество журналов и альманахов разного направления и уровня, и каждый имел в виду своего читателя. "Мир Искусства", "Весы", "Северные Цветы", "Старые Годы", "Русский Библиофил" и явились как бы некоей вершиной и останутся памятником культуры Серебряного Века. Но были и другие журналы, расположившиеся в долине и в низинах российской словесности, например, "Синий Журнал" или "Сатирикон". И мы ничего не имели бы против, если бы издатели "Аполлона-77" назвали его "Новым Сатириконом", поскольку большинство авторов нового альманаха тяготеют к поверхностно-сатирическому изображению действительности.

"Аполлон-77". Звучит по-советски глупо и вспоминаются набившие оскомину пошлые советские названия: "Айболит-66", "Космос-75", "Мода-76", наконец, "Аполлон-77".

По при чем здесь Аполлон — солнечное божество, символ вечной красоты, гармонии и меры? Аполлон — бог строительства и архитектуры, и подлинное строительство всегда под знаком музыки. Само звучание музыки строит храм. Отсюда и "Камень" О. Мандельштама (поэт-архитектор). Архитектура была ближе всех искусств аполлоническому гению Мандельштама. Но самая идея строительства остается чуждой новому "Аполлону-77", не дыхание новой жизни, а распад и разложение косного советского бытия занимает воображение авторов... И вот почему даже церкви и бабочки художника неореалиста нас не успокаивают.

В "Аполлоне-77" находим заметное влияние немецкого экспрессионизма 20-х гг. и раннего советского конструктивизма. В русской зарубежной литературе проводником влияний немецкого экспрессионизма был Вл. Набоков, и в этом смысле можно сказать, что с его смертью окончилась эра. Но искусство Веймарской республики и его движущий нерв — экспрессионизм — оказалось не мало повинно в том, что Германия была духовно обезоружена накануне железной диктатуры Гитлера. И вот "Аполлон-77" во многом отражает этот

вчерашний веймарский день европейского искусства. Среди участников нового альманаха находится и американский профессор Мальмстед, и он мог бы сообщить своим новым сотоварищам, как меняется духовный климат Америки. Америка настойчиво ищет выход из морального кризиса, поразившего общество и народ, из той щели, в которую попал современный мир. Ведомая президентом Картером самая могущественная страна свободного содружества народов после мучительных блужданий возвращается к старинным и благородным заветам своих основателей. Снова и снова раздаются значительные слова в защиту традиций, семьи, порядочности, благоустройства этнических районов. И даже Нью-Йорк встревожился и старается прекратить страшное деторастление, проституцию детей, которая еще недавно считалась чем-то нормальным на 42 улице. Новое чувство жизни и новое понимание природы вызывает интерес к реалистическому искусству (например, художник Вайетт).

В этой связи "Аполлон-77" поражает своей особой провинциальной захолустностью. Поле зрения авторов предельно сужено, все они испытывают острую шемящую обиду на СССР, и хотя многие из них в свободном мире, личная обида не проходит и не переходит в сверхличное чувство и "сознание, возросшее до вселенской полноты, что всякая вина — моя вина, и всякий подвиг — мой подвиг" (Ф. Сологуб — "Творимая Легенда"). И этим мы хотим сказать, что еще не пробил для третьих час духовного освобождения (вне зависимости от того, находятся они на Западе или в СССР). Темы "Аполлона-77": мытарства на советских службах, пьянство, темный быт и дрязги коммунальных квартир, зловоние, мат и диамат, больная чувственность и патология (рисунки Шемякина и Янкилевского). Стихи, рассказы, пьесы, фельетоны — весь огромный материал, помещенный в "Аполлоне-77", — слабо обработан и плохо подготовлен к печати. Создается впечатление, что авторы предоставили в распоряжение редакции разные черновики и случайные заметки, но более детальное знакомство с их творчеством убеждает, что по-другому работать они не могут и сказать им сейчас по существу нечего. Перед нами те же советские писатели, писатели-неудачники, которым не хватило места на страницах "Мурзилки", "Юности", "Дружбы народов", "Литературной газеты", такие же наглые, нахальные, напористые, томимые звериной жаждой "опубликоваться", выйти из тени безвестности. Упали на них своевременно благосклонный взгляд начальства — были бы они верноподданными советскими

писателями, а Винокуров, Ошанин, Радзинский, обиженные советской действительностью — участниками "Аполлона-77" ... И ничего бы не изменилось, только враги высокой и глубокой человеческой культуры, захолустники поменялись бы ролями...

То, в чем признается И. Холин, могут повторить и другие участники альманаха. Вот его слова — "Товарищ Сталин, дорогой Иосиф Виссарионович, что вам стоило в свое время пригреть меня, приголубить под сенью вашего всемирного величия". К сожалению, это не пародия, а реальность.

Оставаясь советскими писателями, сохраняя весь строй советского тоталитарного мышления ("кто не с нами, тот против нас"), участники нового альманаха заняты в первую очередь собственной рекламой: авторы вступительных заметок В. Петров, А. Рабинович, В. Марамзин навязывают читателям свои вкусы и пристрастия. В. Петров исчерпал кажется, все мыслимые хвалебные эпитеты, характеризуя рассказы Мамлеева, и тревожит тень Достоевского. Совершенно напрасно: полупорнографические гротески Мамлеева написаны по шаблону: чудовишные персонажи, абсолютно бездуховные, обычно женщины, сходящие с ума от безделья, верящие только в совокупление, неожиданно начинают говорить фразами заимствованными из драм Метерлинка или теософских книг, изданных в начале XX ст. Все это слабо, фальшиво, беспомощно и везде видны белые нитки автора.

Столь же слабо и беспомощно выглядят и другие авторы: может быть, чувствуя изъяны и прорывы, они для "оживления" снабдили свои писания авангардным матом (новаторство!), но и заборные словечки не спасают: искусственный инфантилизм Бахчаняна, Гаврильчика, сухой рассудочный бред Мнацакановой, гениальничанье Хвостенко ("Христос, Хомяков, Херасков, Хемницер, Хлебников... Хвостенко"), самооплевывание Холина, проповедь еврейской исключительности Е. Герфа ("Бог поднимает избранный народ над временем, отсюда племенная одаренность евреев, Бог евреям дан непосредственно" и т.п.) вызывают только скуку и отвращение.

Глядя на все бессильные потуги и унылое крохоборство, нельзя не вспомнить В. В. Розанова: "Секрет писательства заключается в вечной и *невольной* (курсив В. В. Р.) музыке в душе. Если ее нет, человек может только "сделать из себя писателя". Но он не писатель... Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? — меньше всего автор". ("Уединенное", СПб, 1912, стр. 27).

Такими умышленными, сделанными писателями предстают участники "Аполлона-77", выходцы из "оглушенной зоны" (А. Солженицын), розановской музыки они не слышат, но это не их вина, а беда и горе России. Смущает скорее другое: неприятный гонор, дешевый снобизм, искусственная поза новоявленных пророков.

Отметим неудобный размер, тяжесть, непродуманное оформление, нелепые заголовки ("Солженицын в живописи" — о художнике Рабине, "гениальный танцовщик" — подпись под фотографией Барышникова, "художник-философ" (?) — Янкилевский). И здесь полное расхождение с простым и стильным петербургским «Аполлоном».

Между тем в эмиграции был опыт издания художественных сборников, напоминающий о петербургском "Аполлоне". Мы имеем в виду "Числа", сборники, выходившие в 1930-1934 гг. в Париже. Название "Числа" свидетельствует о внутренней связи с Н. Гумилевым, вождем петербургского акмеизма и сотрудником "Аполлона". Гумилев настаивал на высоком значении слова, потому что некогда "солнце останавливали словом, словом разрушали города". И в Евангелии от Иоанна сказано, что "Слово это Бог". И Гумилев продолжает: "А для низкой жизни были числа Как домашний, подъяремный скот Потому, что все оттенки смысла Умное число передает". Вот одно возможное объяснение названия сборников "Числа". Всего выпущено 10 номеров, и все номера изданы с большим вкусом: подобраны шрифты, прекрасная желтоватая бумага, тщательно воспроизведены рисунки в тексте и на отдельных листах (Ларионов, Гончарова, Шагал, Герешкович, Минчин, Милиотти и др. художники). В литературной части как откровение воспринимаются отрывки из больших трудов Д. С. Мережковского "Атлантида - Европа" и "Иисус Неизвестный", стихотворения, статьи и метафизический роман Бориса Поплавского "Аполлон Безобразов" (поиски новой искренности). Бесформенность часто мучила Поплавского, но характерно, что он все же стремился высказаться "с полной откровенностью и целомудренно" (запись в дневнике), стихотворения Г. Иванова, статьи Г. Федотова, З. Гиппиус, Г. Ландау. Но о "Числах" рассказали и могут еще рассказать поэты и писатели "незамеченного поколения". Сравнивать "Числа" и "Аполлон-77" трудно: сказывается различие в культуре, даровании, духовной углубленности людей 30-х гг. и наших современников, но есть и нечто общее для наших дней и эпохи 30-х гг. Таким общим знаменателем несомненно являются широко распространенные апокалиптические

настроения на Западе и на Востоке. Как тогда, так и теперь чувство конца мира в крови людей, угроза новой мировой войны приобретает зримые апокалиптические очертания, несмотря на разговоры о мире, безопасности и разрядке напряженности. (В тридцатые годы было найдено слово, адекватное теперешней разрядке: стабилизация. "Стабилизация над пропастью", — по пророческому слову Д. С. Мережковского). Но в "Аполлоне-77" апокалиптические настроения неожиданно оборачиваются тотальным нигилизмом. Например, В. Петров во вступлении объясняет (если это нужно объяснять) приверженность к заборной литературе наступлением Апокалипсиса. И вот В. Петрову "отвечает" со страниц "Чисел" парижский поэт А. Гингер: "Если спасения больше нет, нужно чистую рубашку надеть, чтобы Бог не сказал, что в предсмертный час позабыл человек чистоту". Не звучат ли в наши дни тихие строки А. Гингера в согласии с мощным призывом А. Солженицына к личному покаянию и национальному раскаянию на пути к спасению?

Вокруг "Аполлона-77" возникла полемика, появились статьи и заметки З. Шаховской, Рыбакова, Г. Струве, В. Максимова. В этой полемике безусловно правы З. Шаховская и Г. Струве, и нам кажется недопустимым окрик Максимова ("Зарубежная ждановщина") еще и потому, что он не может не знать все сделанное Г. Струве для спасения подлинных ценностей русской культуры (напр., книга Г. Струве "Русская литература в изгнании" — открытие для Запада и для читателя в России зарубежных русских писателей — заживо погребенных). Мы так же бесконечно благодарны Г. Струве за перевод "1984" и "Скотского хутора" Дж. Орвелла, и просим у него извинения за несдержанные суждения В. Максимова. Мы задаем себе вопрос: читал ли Максимов "Аполлон-77"? — и не находим ответа. Или, может быть, он вошел в роль и по примеру советских академиков подписывает предисловия, не знакомясь с текстом (напр., академик живописи Лактионов не читая подписал предисловие к роману И. Шевцова "Гля"). И если читал, то неужели В. Максимова не задела за живое пьеса Волохонского "Буденный" — пошлое зубоскальство и подлое издевательство над памятью участников святой Белой Борьбы. Над памятью безвестных героев и над памятью вождей и мучеников Белой России, "России Нового Завета, правды и справедливости" (И. Лукаш). Цветаева воспела Добровольческую армию в "Лебедином стане" и Врангеля в поэме "Перекоп", а Волохонский над ним глумится. По нашему мнению, им руководит

одно желание: хоть плевком приклеиться к истории России, к русской трагедии.

В романе В. Максимова "Карантин" есть страницы, посвященные А. В. Колчаку, теплые сочувственные страницы. Максимов видит Колчака непонятым идеалистом-мечтателем, героем национальной России. Мы полагали, что это сказано вполне серьезно и ответственно.

Вот почему мы хотели узнать о его отношении к пьесе Волохонского и к публикации омерзительного рисунка Тышлера (Белый офицер расстреливает женщину). Художник рисовал явно "страха ради иудейска", но почему рисунок привлёк внимание издателей "Аполлона-77"? Если это не ангажированное искусство, что же тогда называется коммунистической пропагандой?

В итоге "Аполлон-77" оставляет впечатление большого анахронизма — авангард, опоздавший на 50 лет и вместе с тем знамение надвигающейся на западный мир новой волны культур-большевизма.

Москва

А. Николаев

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Некоторые вопросы к В. Некрасову

Уважаемый Виктор Платонович!

Извините за правду, но единственное Ваше произведение, которое я не читала — это как раз "В окопах Сталинграда". Не читала потому, что не может быть ПРАВДЫ о войне в книге, прошедшей советскую цензуру.

Тем более не может быть по-настоящему интересной книга, удостоенная *любой* официальной премии в СССР. Раз дали премию и хвалят в прессе — читать не стоит. (И осмелюсь Вас уверить, что это весьма распространённая в СССР точка зрения.)

(А кстати, Виктор Платонович, может быть стоит сейчас переработать "В окопах Сталинграда", так сказать "без прикрас и умолчаний"? Ведь было же что то, чего не пропустила цензура, да и притом, наверняка, это были лучшие куски! Наконец, было что-то, о чём Вы даже не помышляли писать в тех условиях: например, а что, под Сталинградом не было заград-батальонов?!)

Я говорю об этой книге исключительно в связи с тем, что Вы и сейчас продолжаете расценивать как чрезвычайно важное обстоятельство то, что Вы вступили в КПСС именно в Сталинграде.

Только не надо убеждать (как Вы это делаете в Вашей статье "Самая поэтическая") НРСлово от 30 и 31 марта и 1, 2 апреля с. г.), что Вы не могли не вступать в КПСС. Могли, могли не вступать, но только от этого Ваша жизнь проходила бы менее гладко: возможно, Вы бы не смогли поехать в Америку и не было бы Вашей книги "По обе стороны океана" и т. д. и т. п.

Я покинула СССР всего два года назад, и как много я знаю в Союзе людей, которые имеют разные дипломы и работают кочегарами, гардеробщиками, швейцарами, живут при этом в коммунальных квартирах — только потому, что они твёрдо предпочитают быть среди тех, кто уходит, а не среди тех, кто остаётся на очередное партийное собрание.

Они предпочитают занимать должности значительно более скромные, чем могли бы по уровню своих знаний и деловых качеств только потому, что: — "Понимаешь, не могу я ... Как только посмотрю КТО там сидит, не могу и всё..."

А Вы пишете (НРСлово от 2 апреля с. г.):

"Эти два собрания я заношу в свой актив". "Актив" может быть только один — абсолютное игнорирование всех этих собраний, постановлений и т.п. Разумеется, при этом я понимаю Вашу логику: если бы после Постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" секретарём парторганизации были не Вы, а другой — было бы хуже. Охотно верю. Старая формула: — "Не я, так другой". А вот если: ни Вы, ни другой! Нужно просто суметь пренебречь материальными и моральными благами. Лишение партбилета — это отстранение от кормушки для избранных, а вернее от многих более или менее явных кормушек.

Этот же самый животный страх — лишения всех привилегий и кормушек заставлял в прошлом и заставляет сейчас всяких старых и

новых фединых беспардонно лгать во всех заграничных поездках обо всём в СССР, а вернувшись в Союз — лгать обо всём за рубежом.

Вы обращаетесь к членам западных компартий и призываете их, поняв сущность коммунизма — "ложь и демагогия" — сдать свой партийный билет. Очень своевременная мысль! К членам КПСС Вы не обращаетесь. А вот как было бы важно, если бы там, в СССР, Ваш "настоящий читатель", колеблющийся между чистой совестью и заманчивыми благами, услышал бы Ваш голос: актив — это не вступать!

Мы ждём Ваших новых книг, Виктор Платонович. Только здесь, вне тисков советской цензуры, на страницах свободной русской прессы, хочу верить, будут созданы Ваши лучшие произведения.

Д. Бровкина

СООТРУДНИКИ НОВОГО ЖУРНАЛА

(по последним книгам)

Старая эмиграция: Л. Алексеева, Н. Андреев, К. Аренский, А. Бахрах, В. Варшавский, В. Вейдле, А. Величковский, С. Войцеховский, М. Волин, И. Гапанович, Я. Горбов, М. Грин, Р. Гуль, А. Гурвич, С. Зеньковский, Ю. Иваск, Б. Ижболдин, А. Кашина-Евреина, Е. Климов, С. Крыжицкий, С. Кульдинов, П. Лапикен, С. Левицкий, М. Ледковская, Г. Майдачевский, П. Муравьев, Б. Нарциссов, А. Небольсин, И. Новосильцев, И. Одоевцева, А. Павчинский, Н. Первушин, В. Перелешин, Р. Плетнев, Н. Полторацкий, Б. Прянишников, С. Пушкарёв, А. Седых, В. Сечкарев, Г. Струве, Е. Таубер, В. Филип, О. Чернова, И. Чиннов, З. Юрева.

Вторая эмиграция: А. Авторханов, Г. Андреев, О. Анстей, Б. Бровцын, Игумен Геннадий, Г. Глинка, С. Голлербах, И. Елагин, В. Завалишин, А. Иванов, Н. Ильинская, О. Ильинский, протоиерей А. Киселев, Г. Кочевицкий, К. Кромиади, Н. Моршен, Н. Натова, Г. Петровская, В. Пирожкова, Л. Ржевский, В. Рудинский, С. Санинян, Н. Ульянов, Г. Фесенко.

Третья эмиграция: В. Бровкин, Е. Вагин, Л. Владимирова, А. Волохонский, В. Енютин, В. Zubov, Ю. Иофе, А. Коротюков, Н. Крамова, М. Крепс, Ю. Лурьи, В. Максимов, Ю. Мальцев, А. Нелюбов, А. Плотницкий, И. Синявин, А. Суконик, Г. Табачник, В. Тетерятников, В. Тупицын, А. Хвостенко, Г. Худяков, Д. Шпиллер, Е. Эткинд, Н. Коржавин.

Нерусские авторы: Дж. Болт, К. Вадот, Х. Гамбург, Р. Герра, А. Зверс, И. Б. Зингер, Р. Кийз, И. Маркадэ, И. Мацкевич, А. Раннит, А. Сенн, Ф. Силницкий.

Беглецы из СССР: А. Федосеев, Ю. Кротков, Ю. Зорин, А. Кузнецов.

Авторы, живущие в СССР: М. Архангельский, А. Герц, прот. Дм. Дудко, Н. Мандельштам, В. Нестеровский, Л. Чуковская, В. Шаламов.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЮРИЙ ИВАСК. КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. Peter Lang, Frankfurt/Main, 1974.

Книга Иваска — обогащение и украшение не столь уж богатой литературы о Леонтьеве. Она составлена с большой любовью, тщательностью и, главное, с истым проникновением в мир леонтьевских идей и его личности.

Нужно, действительно, очень любить Леонтьева, чтобы разыскивать в скудных, сравнительно, в Зарубежье архивах письма Леонтьева и к нему, отзывы о нем в старинных уже журналах и даже газетах. И из всего этого материала Иваск выбирает самое важное и нужное. Образ Леонтьева под пером Иваска встает как живой и все же до конца не разгаданный, имманентно-загадочный.

Наряду с известной книгой Бердяева, опубликованной еще до первой мировой войны, книга Иваска самое ценное и исчерпывающее, что появилось до сих пор о Леонтьеве.

Основную концепцию Иваска, — что Леонтьев был по природным склонностям Нарцисс, сугубый эстет, который впоследствии, под влиянием религиозного страха, обратился к православию, — нужно признать правильной и объясняющей многие противоречия Леонтьевского мировоззрения.

Детские и юношеские годы Леонтьева прослежены менее тщательно, чем его зрелый и пожилой периоды. Но это — вина бедности материалов о молодом Леонтьеве, а не автора. Зато балканские годы Леонтьева, когда он состоял на дипломатической службе, обрисованы очень красочно. Особенно запоминается Леонтьев, дающий советы своему коллеге по службе обзавестись болгарской или, лучше, турецкой любовницей и устраивать на лужайке борьбу молодых турок.

Хорошо переданы и любовные увлечения Леонтьева, хотя нужно добавить, что их было не так уж много, и что Нарцисс-Леонтьев никогда не мог никем увлечься беззаветно.

О религиозном кризисе Леонтьева, об его чудесном исцелении после "дерзновенной" молитвы Богоматери, сказано все, что об этом известно, ибо сам Леонтьев не любил распространяться об этом предмете.

Теория "триединого процесса исторического развития", к которой Леонтьев пришел в 70-ые годы и которая легла в основу его главной книги "Византизм, Россия и Славянство", — изложена не без влияния Бердяева, но это и хорошо. Трудно лучше Бердяева изложить мировоззрение Леонтьева. Собственные комментарии Иваска на эту тему, — напр., указание на бедность исторических материалов, которыми пользовался Леонтьев, и на решающее влияние его интуитивных прозрений, — вполне уместны.

Особенно глубоко показана борьба потенциально аморального эстета, — и верующего православного христианина, в душе Леонтьева. Ведь даже само православие, на котором он твердокаменно стоял, он воспринимал отчасти и эстетически: ему нравилась строгая монашеская аскетика православия, хотя ему было нелегко смирять свою грешную плоть и еще труднее бороться со своим врожденным самолюбованием.

Предсказания Леонтьевым русской революции, превосходящие по точности предсказания Достоевского, — переданы также с должной драматичностью.

Может быть, можно было бы более сказать по поводу полемики Леонтьева против "розового", как ему казалось, христианства Достоевского, и вскрыть причины органического непонимания Достоевского Леонтьевым.

Зато двойственное отношение Леонтьева к Вл. Соловьеву и вся история его первоначального увлечения последним и последующего разочарования, — рассказана очень убедительно.

Очень хороши также параллели и контрасты между Леонтьевым и Розановым, к которому автор питает не меньшее пристрастие, чем к Леонтьеву. Достаточно освещена и переписка Леонтьева, особенно с Губастовым. Кстати сказано и о полонофобстве-полонофильстве Леонтьева.

Параллели между Леонтьевым и немногими духовно-родственными

ему западными критиками европейской цивилизации (с Леоном Блуа, Фаллермейером и др.) — служат уместным обрамлением теорий этого разочарованного славянофила.

Чрезвычайно уместен поставленный Иваском вопрос, — одобрил бы Леонтьев Сталина и сталинщину, живи он в наше время. (Я не раз задавал себе этот вопрос задолго до знакомства с книгой Иваска). И ответ Иваска представляется мне вполне приемлемым: эстетически Леонтьев мог бы даже одобрить деспотизм Сталина, и миллионные кровавые жертвы его бы эстетически не ужаснули, — не он ли говорил, что мировая история замешана на крови? Но эгалитарный идеал марксизма и сталинский замысел создать духовных рабов—роботов, безусловно, оттолкнул бы Леонтьева и внушил бы ему отвращение.

Разбор повестей и рассказов Леонтьева, данный в книге Иваска, сделан мастерски, и он особенно уместен ввиду того, что художественное творчество Леонтьева известно лишь единицам, и что современная ему критика замолчала эти повести, написанные местами очень красочно. Но, сам тонкий критик, Иваск, несмотря на всю свою любовь к Леонтьеву, отлично видит художественную недоволошенность большинства его произведений. Живут в них, и то неполностью, лишь главные герои, — различные проекции леонтьевского Нарциссского нутра. Эпизодическим же героям не хватает живой художественной плоти.

Мне кажется, что книга Иваска много выиграла бы в объективности, если бы автор обратил внимание на основной порок Леонтьевского мироощущения — органическое непонимание им идеи свободы, мистерии свободы. Именно поэтому он был неспособен понять идей Достоевского, именно поэтому западный пафос личной свободы находился вне круга его понимания. Но это принудило бы Иваска вступить на путь философского обличения Леонтьева, в то время как основной тон его книги — апологетический. Поэтому Иваск и ограничился лишь несколькими исправительными комментариями к идеям Леонтьева. Вообще, книга Иваска сугубо субъективна, и это хорошо, так как дало ему возможность глубоко вчувствоваться в Леонтьева. Даже то, что Иваск при этом невольно приоткрывает и свое собственное кредо, нужно поставить книге в плюс. Но объективность не обязательно должна быть академической — она может быть и обличающей. И по отношению к такому яркому еретику, каким был

Леонтьев элемент обличающей критики был бы вполне оправдан (этот элемент имеется в книга Бердяева).

Хорошо, что Иваск посвящает большое и особое внимание личности Леонтьева. Ибо, если многие идеи Леонтьева спорны, то он был одной из самых интересных и красочно-противоречивых личностей во всей истории русской духовной культуры.

Высказанное к концу замечание Иваска, что православное христианство Леонтьева — религия скорее Бога-Отца, чем Бога-Сына, и что ему не хватало христолубия, представляется мне также глубоко верным и попадающим в больной нерв Леонтьевского мировоззрения.

В общем, и по отбору материала, и, главное, композиционно, книга Иваска представляется мне редкой удачей автора, который вложил в свое детище много любви и труда.

Я не сомневаюсь, что все будущие исследователи и читатели будут обращаться к книге Иваска о Леонтьеве с чувством глубокой признательности.

Сергей Левицкий

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. МОСКВА-ПЕТУШКИ. ИМКА-пресс, 1977 г. 79 стр.

Руси есть веселие пити! Но в этой пьяной эпопее веселия нет. Есть горе-злосчастье, прикрытое гротескной иронией хотя бы в перечислении фантастических напитков, включающих духи Белая сирень, средство от потения ног, спиртовой лак. Главного героя зовут так же, как и автора, но из этого не следует, что они идентичны. Венедикт-Веничка цитирует Канта и Сартра, Пушкина и Блока. Бродит по Москве, где он только в конце повести увидел Кремль. С вокзала он едет на станцию Петушки. Там будто бы райская жизнь: всегда поют птицы и никогда не отцветает жасмин. Там же живет "любимейшая из потаскух". Здесь, конечно, ирония. Он ведь не верит, что в Петушках "сожуются в поцелуе мучитель и жертва" и зло исчезнет. Иногда он кошунствует, иногда молится, и об этом Ерофеев говорит иронически. Саможалости нет. Но есть жалость к другим — к пьяной и не очень старой бабоньке, которая на все готова за "ррупь". И здесь ирония почти отсутствует. Веничка живет в пьяном аду, как и все его собеседники в

Москве и поезде. Трезвых он не встречает. Глядят на него пустые выпуклые глаза "моего народа". В эпилоге появляются четверо хулиганов-пошляков, не прощающих Веничке его отличие от других безмозглых пьяниц: он ведь образован, осмеливается мыслить. Они вонзили шило в самое горло Венички: "И с тех пор я никогда не приходил в сознание, и никогда не приду".

Всякие замысловатые гротески теперь в моде у некоторых писателей и художников, как "внутренней", так и "внешней" эмиграции. Они претендуют на авангардность, но явно не замечают, что их модернизм — залежалый товар почти столетней давности. У Ерофеева таких претензий нет. За его гротесками: острая жалость, невымышленный ужас, жгучая боль и едкая ненависть к советскому казенному лицемерию и советской обывательской пошлятине. Ерофеев остроумен, меток, но всё же его можно упрекнуть в многоглаголии. Зошенко сократил бы повесть вдвое или втрое. Все же, нельзя сомневаться в том, что ему есть что сказать о пьяном горе-злосчастье в Сов. Союзе.

На обложке снимок с картины В. Калинина *Жаждающий человек* — в давно уже знакомом нам стиле раннего голубого Пикассо. Повесть Ерофеева была впервые опубликована в Израиле и переведена на польский язык Шехером и на английский — Тьялзмой.

Юрий Иваск

М. КАРАТЕЕВ. БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ НА БАЛКАНАХ.

Воспоминания белого офицера. Буэнос Айрес, 1977. 230 стр.

М. Каратеев хорошо известен русскому читателю, как увлекательный рассказчик. Его очередная книга "Белогвардейцы на Балканах" также написана в виде увлекательного рассказа об, увы! очень тяжелых временах и для писателя, и для его современников: кадетов корпусов, сначала в возрасте 14-17 лет сражавшихся в рядах Белых армий (к примеру из книги: кадет Вячеслав Вержицкий получил 12 ранений — добивали на улице — чудом выжил), а затем эвакуированных на утлой посудине из Ялты в Константинополь. Из Константинополя кадет отправляют в Балканские страны — Югославию и Болгарию проходить курс юнкерского училища, пока

доставало средств у Главнокомандующего. После прохождения курса и производства в офицеры начинается трудовая жизнь русского офицера-чернорабочего.

Здесь приходится удивляться способностям, настойчивости, выдержке и жизнеспособности этого офицера: всему тому, что пропало для России "во имя торжества коммунизма".

Сам автор говорит в предисловии, что мало существует документов о судьбе военных учебных заведений периода Белого движения, написанных рядовыми участниками и свидетелями того времени. В этом смысле книга, написанная образцовым художественным языком, является также ценным источником для будущего историка.

Автор дает эпиграфом к книге свое заявление: "В этой книге нет никаких преувеличений, она, если можно так выразиться, почти фотографична. Особо рекомендую её вниманию "третьей эмиграции". М. Каратеев (князь Карачевский)."

Борис Нарциссов

ALEKSIS RANNIT. DONUM ESTONICUM. Poems in Translation. The Elizabeth Press, New Rochelle, New York, 1976.

Любителям поэзии, владеющим английским языком, представляется возможность ознакомиться с некоторыми стихотворениями выдающегося эстонского поэта Алексиса Раннита в английском переводе. В недавно вышедшей в свет отчетной книге переведены Х. В. Чальзма и Сидом Корманом стихотворения из сборников поэта: "Из замкнутого пространства" (1956), "Сухое сияние" (1963), "Кольцо" (1972), и "Ступень звука" (1976). Здесь и в дальнейшем все заглавия и цитаты даны в русском переводе.

Более подробная характеристика А. Раннита как поэта была дана автором этой рецензии в "Новом Журнале", No 113, стр. 295-298 по поводу выхода двух сборников: "Кольцо" и "Скалы" (1969).

Здесь же надо отметить по поводу выхода в свет переведенного материала высокую интеллектуальность этих стихотворений. Эти стихотворения представляют ту сторону творчества А. Раннита, которая не была затронута в переводах Лидии Алексеевой и Бориса Нарциссова, выбиравших для перевода более сродный им эмоциональный и картинный материал.

В стихах подотчетной книги А. Раннит выступает, как поэт чистой и отвлеченной мысли, даже когда он говорит о вполне зримом или слышимом, как, например, картины художников, средиземноморские ландшафты или музыкальные произведения. Эти стихотворения коротки из-за предельной концентрации мысли. В то же время они насыщены своеобразной образностью: метафорами, сравнениями и антитезами. Кстати, именно последние характерны для образной выразительности Раннита; например, - в стихотворении "Поэзия" — поэзия—это "растроганная грудь немоты", "беспламенный цвет мелодии мысли".

Основная идея Раннита, очень полно отраженная в книге переводов, — оценка искусства, т.е. способности души создавать, воспринимать и оценивать искусство, как "молнийно-холодный свет без теней, который прошел сквозь алмаз". Именно этот высокий пафос искусства воодушевляет эти стихи.

Всё вышесказанное позволяет сравнить Алексиса Раннита с Полем Валери. Глубокий психологический анализ творчества А. Раннита был сделан проф. Гэррасом в вышедшей на эстонском языке монографии: "Алексис Раннит". Подробный отчет об этой монографии был дан автором этой рецензии в "Новом Журнале". №123, стр. 249-251.

Читатель английского текста переводов может сравнить звучание оригинала: на правой странице напечатаны переводы, на левой — эстонский оригинал. Для удобства читателя этого оригинала заметим здесь, что эстонское правописание — фонетическое: пишется так, как произносится.

Для современной многонациональной эмиграции эта книга переводов может явиться ценным вкладом для обмена культурными ценностями. — шаг, пусть и малый, но всё же шаг ко взаимному пониманию и сближению.

Несколько слов о поэте и о переводах на другие языки: Алексис Раннит родился в 1914-ом году. В настоящее время он заведует славянским отделом библиотеки Йельского университета. На немецкий язык А. Орас перевел его "Стихи о Вийральте" — замечательном эстонском художнике-графике. Первые два сборника А. Раннита были переведены на русский Игорем Северяниным: "В оконном переплете" (1937) и "Via Dolorosa" (1940). Отдельные стихотворения были переведены Г. Адамовичем, Л. Алексеевой и Б. Нарциссовым. Эти переводы печатались в "Новом Журнале".

Борис Нарциссов

JOHANN VON GARDNER, SYSTEM UND WESEN DES
RUSSISCHEN KIRCHENGESANGES, Otto Harrassowitz.
Wiesbaden 1976.

STEPAN VASIL'EVIC SMOLENSKIJ. PALAOGRAFISCHER
ATLAS DER ALTRUSSISCHEN Linienlosen Gesangsnotationen.
Unveränderter Offsetnachdruck mit Einleitung und Kommentar von Johann
von Gardner, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
München 1976.

Конец прошлого года был ознаменован двумя большими событиями для ценителей русского православного богослужебного пения: вышла в свет на немецком языке книга о *Системе и Сущности Богослужебного Пения*.^{*} Ее автор, известный в научных и богословских кругах профессор-музыковед Иван Алексеевич Гарднер, дипломированный богослов Православного Богословского факультета Белградского университета и доктор философских наук (отделы: Музыковедение, Славистика, Византология) Мюнхенского университета.

Почти одновременно Баварская Академия Наук издала офсетным способом *Палеографический Атлас Древнерусских Безлинейных (крюковых) Певчих Рукописей* Степана Васильевича Смоленского с введением и подробными комментариями того же И. А. Гарднера.^{**}

Рецензируемая книга Гарднера^{*} является первой частью капитального труда — *Истории Русского Богослужебного Пения*; эта первая часть — необходимое введение как для не русского и не православного, так и для русского читателя в эту мало исследованную отрасль музыковедения и подготовка к следующим, еще неопубликованным частям. В первом разделе книги толкуется церковно-певческая терминология и вводится ясность в эту область, так часто искажаемую или превратно понятую. Далее, даются важнейшие разъяснения об имеющейся литературе по данному вопросу. В длинном списке библиографии читатель найдет труды на русском и на всех основных западно-европейских и славянских языках. Каждый указанный труд комментируется биографическим сведением о его авторе, обстоятельным описанием его особенного направления и освещением поднятого в нем специфического вопроса, палеографического или музыкально-структурного характера.

Следующие разделы посвящены объяснению сущности церковного пения, его значению и основным видам его исполнения в богослужении православной церкви, и описанию источников русских церковно-певческих нотаций. Объяснения и описания снабжены таблицами нотаций, схемами и обильными примечаниями. Автор уязвлен печальное обстоятельство, что до сих пор нет полного каталога древнерусских рукописей с крюковой нотацией и рукописных памятников линейной нотации, ни в библиотеках СССР, ни в книгохранилищах Запада. Молодые музыковеды призываются к выполнению огромной задачи составить каталог с точными данными и описанием древнерусских певчих рукописей, хранимых в библиотеках всего мира.

Эта первая часть единого объёмистого труда предшествует двум частям подробного описания исторического развития русского богослужебного пения, от начала русской Церкви до настоящего времени. Весь труд, первоначально написанный на русском языке, будет издан по-русски в типографии Преподобного Иова Почаевского при Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, Н.Й.; а кроме того, ввиду исключительной важности и ценности этой книги, предполагаются переводы всего труда на английский и немецкий языки.

Рассматриваемую работу И. А. Гарднера, как и комментируемый им *Палеографический Атлас* Ст. В. Смоленского, нужно считать необходимейшим пособием для подлинного изучения русского богослужебного пения. Совершенно ясно, что подобный труд, на таком высоком научно-богословском уровне, не может быть издан в СССР. Именно поэтому для русских людей и для ценителей русской культуры в широком смысле это большое событие; а настоящие и будущие поколения музыковедов, регентов и пастырей будут особенно благодарны И. А. Гарднеру за его бесценный вклад в сокровищницу русской церковной культуры.

Марина Ледковская

Доктор философских наук Колумбийского
Университета в Нью-Йорке

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Архиепископ Андрей.* Единое на потребу. Свято-Ильинское изд. 1977 (133 стр.).
- Виктор Франк.* По сути дела. Лондон. 1977 (222 стр.).
- Вадим Андреев.* На рубеже. Стихи. Имка-Пресс. Париж. 1977 (105 стр.).
- "Глагол".* Изд. "Ардис". Анн Арбор. 1977 (198 стр.).
- "Перекрестки".* Альманах. Изд. "Перекрестки". Филадельфия. 1977 (64 стр.).
- "Русская идея или КГБ? Кто — Глазунов?"* На правах рукописи. Изд. "Часовой". 1977. (82 стр.).
- Страницки.* Поэма о русской любви. Париж. 1977. (99 стр.).
- Б. Камянов.* Птица-Правда. Стихи. Иерусалим. 1977 (119 стр.).
- Л. Иоффе.* Косые падежи. Стихи. Иерусалим. 1977 (51 стр.).
- Л. Иоффе.* Путь зари. Стихи. Иерусалим. 1977 (63 стр.).
- Г. Шахнович.* Слово на барабане. Тель-Авив. 1977 (261 стр.).
- М. Добужинский.* Воспоминания. Изд. "Путь жизни". Нью-Йорк. 1976 (стр. 408).
- Г. Солодатов.* Митрополит Филофей, просветитель Сибири. Minneapolis. Minnesota. 1977 (147 p.).
- Reuven Michael.* Heinrich Graetz. Tagebuch und Briefe. Y. C. B. Mohr. Tübingen. 1977. (469 S.).
- From Our Immigrants with Love.* Created and compiled by Y. S. Follendore. Pacz Publishing Company. 1977. (323 p.).
- Soviet Art in Exile.* By I. Golomshtok and A. Glezer. Random House. New York. 1977. (172 p.).
- Adam Mickiewicz.* I sonetti di Crimea. A cura di E. Croce e E. Cywiak. Adelphi Edizioni. Milano. 1977. (183 p.).
- E. H. Lehrman.* A "Handbook" to the Russian Text of "Crime and Punishment". Mouton. The Hague — Paris. 1977. (123 p.).
- Soviet Prison Camp Speech.* Compiled by M. Galler. Hayward. California. 1977. (102 p.).
- V. Rozanov.* The Apocalypse of Our Time. Praeger Publishers. New York. 1977. (301 p.).
- Slavica Hierosolymitana.* Vol. I. At the Magnes Press. The Hebrew University. Jerusalem. 1977. (335 p.).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1978 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная ц на на 1977 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня